ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

3(47)'2023

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Дмитрий Бураго (Киев), Евгений Голубовский (Одесса),
Владимир Гутковский (Киев), Олег Дрямин (Одесса),
Алёна Жукова (Торонто), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Интернет-версия журнала: ursp.org/index.php/yuzhnoe-siyanie

Ariella Publishing
Philadelphia
2023

Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» (№3, 2023)
Literary magazine «South-lights»
ISSN 2226-647X

Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»
Founder – Public organization «South-Russian Writers Union»

Published by Ariella Publishing | Philadelphia, Pennsylvania
First printing September 2023

© «Южное Сияние», 2023

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Валерий Сухарев. **Город, улица, адрес, кровать.** *Стихотворения* 6
Одесса: Сергей Главацкий. **Моя подвенечная память.** *Стихотворения* 12
Одесса: Владислав Китик. **Часовщикам отмерен срок.** *Стихотворения* 18

ПРОЗА

Одесса: Виктория Колтунова. **Азамаха.** *Рассказ* 23
Одесса – Иерусалим: Евгений Кузьмин. **Краткое жизнеописание, или Сокровенный дневник Цахеса Циннобера Великого, произведение, составленное им самим.** *Рассказ* 29

ПОЭЗИЯ

Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. **По ком гудят суда…** *Стихотворения* 33
Одесса – Германия: Лев Либолев. **Ключи от всех домов, которые оставил.** *Стихотворения* 38
Одесса – Нью-Йорк: Галина Ицкович. **На ладони верховного таможенника**. *Стихотворения* 44

ПЕРЕВОДЫ

Красноярск: Эльдар Ахадов. **Сказание о Грузии.** *С переводом Иванэ Ментешашвили на грузинский язык* 49

ПРОЗА

Симферополь: Вячеслав Килеса. **Из автобиографического романа «СИД»** 58
Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. **В разломе (1972-1984 гг.)** 76

ДРАМАТУРГИЯ

Москва: Станислав Айдинян. **Тройное счастье.** *Пьеса в двух действиях по рассказу Аркадия Аверченко «Здание на песке»* 85

ПОЭЗИЯ

Кишинёв: Олеся Рудягина. **В трюме затонувшего июня.** *Стихотворения* 87
Кишинёв: Татьяна Некрасова. **Если одуванчик мимолётный…** *Стихотворения* 93
Кишинёв: Наталья Новохатняя. **Из города К.** *Стихотворения* 99
Единцы: Сергей Пагын. **Даль стоит за веществом.** *Стихотворения* 104

‹ФОНОГРАФ›

Одесса: Вероника Коваль. **Красный конверт.** *Рассказ* 107
Кишинёв: Александра Юнко. **Останется строка.** *Стихотворения* 114
Ростов-на-Дону: Александр Соболев. **По праву говорящего.** *Стихотворения* 120

ПРОЗА

Москва: Игорь Михайлов. **Девушка с причудой.** *Рассказы* 127
Киев: Дмитрий Бураго. **Повседневность.** *Рассказы* 133
Москва: Наталья Стеркина. **Троллейбус дальнего следования.** *Рассказы* 136

ПОЭЗИЯ

Евпатория: Елена Коро, Оксана Денисова. **Сано Чара. Песнь степного зайца** 142
Москва: Андрей Ивонин. **Белые лодки на чёрной воде.** *Стихотворения* 146
Будапешт: Ян Кунтур. **Из сот цветущих лип.** *Стихотворения* 151
Электросталь: Роман Смирнов. **Качели вместо карусели.** *Стихотворения* 155

‹ОКОЕМ›

Нижний Новгород: Эдди Крок. **Где-то на крайнем севере.** *Рассказ* 159
Москва: Елена Пальванова. **Гадкий чертёнок.** *Рассказ* 161
Псков: Елена Южакова. **Душа моя.** *Рассказ* 163

‹ГОРИЗОНТ›

Нью-Йорк: Юрий Бердан. **Стихотворения** 166
Дортмунд: Соэль Карцев. **Стихотворения** 167
Рига: Алексей Жуков. **Тень ангела.** *Рассказ* 169
Москва: Ольга Баракаева. **Аршалуйс и Верочка.** *Рассказ* 171
Клявлино Самарской обл.: Наталья Холмогорова. **Немтырь.** *Рассказ* 173

‹ЛИТМУЗЕЙ›

Вологда: Елена Титова. **Концепция детской литературы в эмигрантском творчестве М. Цветаевой** 177
Вологда: Людмила Егорова. **Книга о Б. Пастернаке и сёстрах Цветаевых** 181

‹СЕТЧАТКА›

Москва: Антонина Белова. **Образ Бога в поэзии Николая Гумилёва** 184

‹КАМЕРА-ОБСКУРА›

Москва: Станислав Айдинян. **О поздних повестях Валентина Катаева и мовизме** 189

‹КОНКРЕТИКА ОТ КРИТИКА›

Ереван – Москва: Нарине Эйрамджянц. **Роман «Шатуны» в творчестве Ю. Мамлеева** 195

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

«И жизнь вдруг распахнулась так крылато…». *Размышляя о двух книгах Нины Баландиной* 199
Птица в темноте. *О книге Софии Максимычевой «Эхолот»* 202
Взгляд с высоты дна. *О книге Юлии Гайнановой «Бутылка»* 204
Песня тихая общей любви. *О книге Никиты Пирогова «Дом света»* 206
Любовь в пределах зоны комфорта. *О книге Ольги Гуляевой «Солнце, луна и оборотная сторона»* 208
Близкое небо. *О книге Элины Суховой «Одна большая любовь»* 211

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Гармония рождается из хаоса…». *О книге Германа Гецевича «Геометрия судьбы»* 213
Сонеты как сонаты. *О книге Германа Гецевича «Двойная игра»* 214
«Душа перекодируется в слово…». *О книге Константина Кедрова «На дружеской ноге»* 215
«Где от мира скрывается дух…». *О книге Никиты Брагина «Сансара»* 217
Ненастоящая любовь. *О книге Станислава Айдиняна и Андрея Краевского «Тройное счастье»* 219
«Ничто человеческое, или Паганини русской поэзии». *О книге Людмилы Осокиной «Причуды Влодова»* 220
«Такая жажда в каждом дне…». *О книге Антонины Беловой «Время не виновник»* 222
Живое прошлое. *О книге Эльдара Ахадова «След»* 224
Эстетическое новаторство Александра Лазарева. *О книге «Такие пироги»* 225
«Я люблю тревогу и трепет…». *О поэзии Софьи Паперной* 226
«Сквозь меня протекают стихи…». *О книге Ирины Ковалёвой «Вечный город»* 228
«Жизнь умнее нас». *О повести Фреды Калин «Три жизни доктора Сигала»* 229
Две души, два языка, две родины. *О поэзии Андрея Грицмана* 231

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА РУДНЕВА

«Вы помните, вы всё, конечно, помните…». *О книге Александра Раткевича «Женщины Есенина»* 234
Возвращение Виктора Гроссмана. *О книге Виктора Гроссмана «Избранные сочинения в двух частях»* 236
На круги своя. *О книге Григора Апояна «Плоть и кровь»* 238

‹ШКАФ›

Москва: Марина Чиркова. **Единство восприятия и внутренний конфликт в поэзии Елены Севрюгиной.** *О книге «Раздетый свет»* 240

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

ГОРОД, УЛИЦА, АДРЕС, КРОВАТЬ

ИЗ «БЫЛОГО»

Всё вспоминается, при фразе – «Пора в Ильичёвск»,
в организме жужжало что-то параличёвское…
Тороватые «восьмидесятые», в длинной толпе за «московской»,
никакой не Тарковский был на устах, а мат стариковский,
прогорклый и жёлтый, как «сливочное» в сугубой бумаге,
серой от горя – вмещать эту дрянь, и в пятнах, поди, от отваги.

Троллейбусы подвывали, у людей были нехорошие лица,
как у комсомольцев по убеждениям; всё время душе напиться
хотелось, причём, как-то с вывертом, в обществе жён моряков,
которым тоже ведь не легко, когда их буи столь далеко;
была популярна консерва «горох в свином жире», сорок коп.,
патлы морской капусты, самогон из носков – забуреть нам чтоб.

Женщин разумнее было не оголять, бо об исподнее их подчас
резали пальцы, складки были жестки, как устав, но девы нас
и себя не спросясь, всё это брали у турок на страшных рынках,
напоминавших содом и вирус беды; и Шнитке тогда, а не Глинку
воспроизводило тело, ещё молодое и оттого бодро нахальное,
и время уже считалось вполне историческим, даже эпохальным.

Всё быстро сползло в загаражный гоп-стоп, в бандитизм без
фантазии, вторичное накопление, в б.у. авто, унылый ликбез
ночных ларьков, с суррогатами и спитыми бабами до тридцати,
ночью за выпить и закусить просто некуда было люду пойти.
И народ разложился вконец – посмотри на автора этих строк:
он как-то выполз и выжил, заматерел, иначе он просто не мог.

THE LETTER

Пишу Вам в Лондон со всею русско-еврейско-польской тоской,
с лицом, похожим на смайлик, рукой, как коряга в лесу, пишу
расхлябанным дольником, и в окне, точно на водопой, толпой
к набрякшему перед грозой исподу неба, кроны идут, создавая шум.

У Вас там, в отдалённости островной, над Темзой, заплывшей
жиром от отражений и фотосъёмок, как знать, в то время, пока
я это пишу, – гудит и пучит губы безглагольное небо, как бывшая,
что ушла, сумкою дверь притворив, – в замке с ключом застряла рука.

Я пишу Вам в Биг-Бен и в «даббл-деку», тенью, за вашей амбреллой,
кривляясь и перелетая с асфальта на стекло бутиков; и майский
лак авто, крылатым призраком, став вашими ни душою и ни телом,
и слыша через чужие уши вялое «регги» с Ямайки.

Не расстояния и не развязки чумных мегаполисов, и не дресс-код тоски
когда-то прерванных медленных танцев на кухне, где ваш,
в кураж рок-н-ролла, зад, словно пинг-понг, отскакивал от доски,
и было радостно и тяжело дышать, и пили, и щипали лаваш.

У Вас барбекю на выселках, с музыкой и пузырём
сала, и танцы – твист или сальса; и Темзы всея берега орошая
«Harvest moon» восходит; и мы, в далёком прошлом, вдвоём…
И лампочка, если резко выключить, как монета большая.

ВИДЕОКАМЕРА

Над моей седеющей, как полынь в степи, головой,
как какая-то редкая гадость углов и пространств,
нависает и ширится точка о восьми лучах – существо
подвижнее воздуха и по нему же незаметно странствуя.

Глянь, как они нависают, дорогая, пришедшая здесь
жить и шуршать, нет, ты посмотри, как за ночь они,
в легаты связуя лонжи, расселись или зависли днесь:
за окном июньские нюни небес, вид на навсегда, как ни взгляни.

Это бессмысленная трата троп и времени дня для тех,
кто из яда моей изумрудницы пытается сделать вытяжку, не
Голема и не прочих Франкенштейнов ума, а в читательской темноте,
под той, никогда не забвенной лампой, в трещащей и злой тишине,

кому-то и куда-то буквы рисует и кошку гладит, седую, как
я, у анонимного из всех ручьёв, например – например я забыл, а
то волокна народов, просравших себя на корню, враскоряк
пойдут куда-нибудь умирать с мечом и с падшей кобылой.

***

В «старом городе», правее от ратуши и
вблизи фонтана, похожего на кальян,
под выцветшими «маркизами», на уши
тень натянув, поживало кафе; и трезв, и пьян,

и немец, и местный легко привыкали к его
старинной угрюмости и к столешницам, где
в центре плескал букетик под сквозняком, и твоего
духа ничто не касалось – запах «арабики», близость к воде.

В чужих городах, но не сразу, постепенно, потом,
человек находит то место, где думать и тосковать ему
много лучше, чем дома, даже в охапке с любимым котом,
который зудит и томится с вами, но это полезно уму.

И здесь не чужбина какая, с набором мыслей и книг, –
просто иное пространство, пусть не всегда по вкусу и по цене,
но и отдалённость тела от центра былого, откуда ты и возник
именно здесь и сейчас – никогда не случайна, сколько бы ты не

воротил носа и не изнурял чувство прекрасного, что дано
в тактильных малых открытиях: брусчатка площади, жар
чашки с рельефным рисунком, комочки ткани, хотя давно
вы всё это знали, но при другом освещении; вспышка ножа

на закате, блик закрываемой форточки, обманки мира вокруг –
от колокольни «земля-земля» и до мнимого перламутра грачей
и голубей разного тона; незнакомая местность бодрит, ни друг,
и ни враг тебя не настигнут, и сидишь у столика, такой же ничей,

как кашне в прихожей или трамвай вдалеке; и ум, не торопясь,
продумывает маршруты грядущего, пытаясь с души срисовать
её представленья о жизни – теперь и вообще; и осязается связь
их именно здесь и сейчас. Дальше: город, улица, адрес, кровать.

ГОТИКА

Бывает, что в голове одна холодная звонкость храма,
паутинная кантилена, хтонический зверь органа,
пол в синих и серых ромбах, витраж и рама
лежат вдоль и наискось, и «розы» зияет дымящая рана.

Бывает, что жизнь улизнула, как верхние беглые ноты,
под стрельчатые своды, повисла и счёты сводит со мною,
гудит, перебирая регистры – мол, зачем ты вообще и кто ты,
но отвечать не надо, где-нибудь встань в стороне, под стеною.

Служба идёт, точно длинный – в огнях – пароход из прошлого века,
дымя, выползает из порта, басами чужой небосвод выгибая
до контура арки; путешественник трубку зажёг на баке, и человека
в нём – ровно тусклый глазок табака; смерклось; теперь любая

деталь – только идея и абрис; на палубах людно и неторопливо;
душа где-то меж ними тоже ищет себе укромный и пятый угол,
повторяя – «куда ж нам плыть?»; куда хватит угля, прилива, отлива,
жизни, в конце концов, но и она выгорает, как трубка и как уголь

в топках; а здесь под ногами ромбы цветных бубён, свистящие и
ревущие остинаты, григорианский ужас одинокого голоса в хоре;
ничего не должно случиться плохого, бо было уже; и концом шлеи
звуковой и прощальной хлещет орган, тоже один, как всякое горе.

КИТАЙСКИЙ КАРАНДАШ. БУМАГА

Дерева по пояс в тумане стоят, точно они
в длинных юбках, среди фонарей, то есть наоборот;
монохром небес размывает все последние дни,
такая себе lacrimosa для пьющих соло в арках ворот.

Расширим местность присутствия нашего здесь и сейчас:
где-то, на верхотуре дома, дева без сна и жуя губу,
узнаёт про диагональ жилища, мелко ступая, но не мечась
в самодельной тоске, с бордовым овалом вина и на лбу

с некрасивой веной – портрет всех покинутых походя;
на подоконнике силуэты кота и вазы, на столе спаржа и сыр,
дёготь остывшего кофе, «житана» синий квадрат, и глядят
в окна друг другу дома напротив; таков ежевечерний мир.

Или же парк, где герой лирически шляется туда-сюда,
в поисках скамьи под кроной и без подсветки сбоку теперь
уже через одного горящих шаров – виски идёт под безлюдье, да
в окружении мокрой листвы; и что-то шуршит, точно зверь.

И лирически же преисполнившись градусом, в капюшоне, один
из миллионов таких же стоических горемык, мужчина за
пятый десяток махнув, разрушаясь и распадаясь на «впереди»
и «позади», размышляет – чьи бы хотел перед собой глаза

сейчас увидать, и попадает в кладовку времени, в сусек,
где мыши событий свихнули хвосты и паук повесился на
своих же ажурных хитросплетениях дат и годовщин; имярек
без этого не представим; а внутри меж тем громкая тишина,

и мерное и неотвратимое, как грядущий инфаркт, сердце там
опять свой набат начинает – мучительная соразмерность: удар –
пауза, с приостановками (словно шнурок завязать); и темнота
парка прострелена телеграфом собак, и утки озера в никуда

плывут и плывут, точь-в-точь как по ночной трассе авто;
и герой как матрёшка, где много других героев внутри,
и они поочерёдно выглядывают, чтоб убедиться: вот никто,
под именем некто, сидит, размышляет и пьёт, хорош, как ни смотри.

№№

Погружайся быстрее, вызволи воздух из
лёгких, как перед прыжком, покидая карниз;
когда распластаешься – олицетворишь положение риз.

Отвыкай ото всего, даже если привязанности велики,
новые наживёшь, нагуляешь, как простуду у зимней реки,
где, на скамейке сидя, не извлечь из кармана руки.

Позабудь эту женщину, схожую с далёкими звуками сна,
ту, что – твоё представленье о женщине: в лесу или у окна,
в машине или в гробу; позабудь и погружайся быстрее… Она

нигде не найдёт, не настигнет тебя, не будет с чужими рыдать,
со своими плясать, – она просто не будет, как не придут поезда,
которых вместе ждали когда-то, считая галок и вислые провода.

На другие кулички ты перебрался, новых чертей завёл,
так и не полюбив на свежих подушках ни студня и ни футбол,
кто-то обнимет голову, не смешно пошутит, употребит глагол,

выпьет с тобою, скорее от скуки слушать, что ты ей говоришь;
перестань хрупких ланей грузить кирпичами своими; тишь
взаимосуществования – лучшее из невозможного; и мышь

оживляет тёмный закут, дуется на крупу, кошка всегда придаёт
рельеф и осязаемость плоскости, вокруг тишина, и лишь идиот
таракан паркуром с утра увлечён; и виски внутрь течёт, как компот.

***

Пришёл Первомай, а коммунистов как раз нет,
и профсоюзов нет, нет ничего вообще, одне
оригами свистают на ветках; в парке, радуясь, туалет
заработал, закусив био-губу; и всё, что по весне
должно происходить – вот оно, рдеет и зреет вокруг,
обло, озорно, стозевно, не покладая ни ног, ни рук.

Перечислим, сердце скрепя: розница няшных или хмурых
мам, на скамьях или в изрядных позах возле песочниц, где
цветные кули включили сирены так, что вместо дронов амуры
сверглись с небес, и вьются от боли, одиноки в своей беде;
и в ротонде прошлого века, сырой и бессмысленной,
старушка танцует твист с Паркинсоном; и всё же пахнет войной.

Муниципальных кошек не видно, где-то сидят и ждут; зато
в ненужном зрачку преизбытке звонкое, молчаливое, юркое,
тянущее задние лапы псовое, на поводах и запросто, налито
лаем и воздухом, прёт, как «Время, вперёд»; пакостные придурки
мороженое запивают пивом, преодолевая в себе пубертат,
у дев повышена влажность, все ржут, и никто никому не рад.

Вот и весь праздник трудящихся: ни бухих, ни шашлычного вам
дымка, ни женщин в соку томатном, с гранатой шампанского
наперевес, в бикини гасающих, ни ментов, чтобы по головам
накостылять и забрать «кассетник», и ни здоровья цыганского, –
аллеи прибрали юннаты и волонтеры из неполных семей…
Может, люди стали другие, а может – из-за войны, иди разумей.

ПОГОСТ

Грибы надгробий, папоротники, и небо над ними,
как сплошной кенотаф, гекатомба без имени;
с тобою случится то же, что и с другими.

Гаргульи и прочие прощальные аллегории; небесных
ангелов сдали в химчистку, как на вакации войско; без них
тоже можно полёживать с миром, свисая над бездной.

Погост – всегда симулякр, папье-маше для пьющих
в память об отошедших, в высотах или глубинах гниющих,
ни разложением, ни вознесением живущих не достающих.

Помянем и мы свою младость наглую, она хотя бы
помнит ещё о нас, но уже мерзка, как гадкий Хоттабыч,
дрожа над волосом из бороды; на «муравье» трёхколёсном прорабыч

мчит аллеей, нетрезв и смело ужасен; надежды питают
всякого племени вьюношей, отроковицы-девицы, запятая,
закидываются «седативным»; литая ограда стоит, как влитая.

Отеческие гроба, папоротники и бузина, пластик бутылок, –
Баухаус весёлых бомжей с остатками лиц, – сплошной затылок
ко всему терпеливой жизни, всё пожирающей без ножей и вилок.

ГРЯДУЩЕЕ

Ночами ясноочитые отроки, числом более двух,
будут стоять в изголовье и переводить мой дух
из мира живых в мир идей, в пространство знаков, и
именно там будет невыносимо; Господи, останови

эту необратимость действия, непоправимость шага
не по собственным умыслам – тут не нужна отвага;
это рубеж невозврата и рубикон распада; там ни ада,
ни рая, там пустота Лейденской банки, там от шоколада

на столешнице сквозняком шевелимая оболочка,
в комнатной тишине гремящая, что старая радиоточка,
и средь ламповых помех, среди прорех звуковых,
слух понимает, что вокруг никого не осталось в живых.

Это – персональное грядущее, как пенсия или бонус, или
комплимент от ресторана, где в последний раз всё пропили,
прилепив на прощанье метрдотелю на лоб купюру,
изобразив физкультуру надеванья пальто и уронив скульптуру.

Пересказать это просто, зато пережить невозможно: в нишах
холла статуи и портреты призраков, от Трисмигиста до Ницше,
мышастый Кант, и булочный Бах, и Сократ, стократ повторённый
эхом в зиянии атриума, его зевком; и по бокам нагие колонны.

Собственная будущность, недвижимость небытия; и мышца
сердечная вяло толкает по венам плазму, и оттого не дышится,
вместо голоса посвисты вьюги, вокруг полумрак; и ясноочитые
сущности – точнее, твари – стоят по сторонам, словно прибитые,

схожие с деревянными католическими болванами из времён
средневековых, крашены ярко на фоне мертвого мрамора; из окон,
вместо хотя бы лунной воды, сочатся схемы созвездий, пунктиры, –
как когда-то электро-план ГОЭЛРО; и это в пределах квартиры.

К будущности подготовиться невозможно, как и к инфаркту,
оргиазму или авиакатастрофе, разлуке и смерти; ставишь на карту
или на кон себя, жизнь, коня – и зря, бо остаёшься в итоге
перепуганным мнительным кем-то, в чужих краях, у дороги.

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

МОЯ ПОДВЕНЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

***

Какая юность сумасшедшая
Дана мне, помнится, была!
Она была – как птиц сольфеджио!
А нынче смерть со мной легла

И, птицам противоположная,
Лежит, лежит и не встаёт,
А мне по нраву: осторожная,
И чувство такта у неё.

Её зеницы ледовитые,
Как и у той, кто навсегда, –
Цветов арктических софиты и
Внутри – аквариумы льда.

Её дыханье акапельное
Свежо, как первый поцелуй,
И вся, как юность, неподдельная,
Она – компост из аллилуй.

Она легла со мной заранее,
Чтоб притулиться в тишине –
Не пламенем, но выгоранием,
И разузнать, нужна ли мне.

Она меня не хочет, загодя
Лишь примеряется, учась,
Её глаза – оттенка слякоти…
Но я хочу её, сейчас.

Так и лежим, беззвучно, вкрадчиво,
Глаза друг другу обнажив…
И жизнь со мной была, как мачеха,
И смерть обняться не спешит.

***

Среди безглавых белых статуй
Спокойный, мягкий свет дневной…
С тобой мы были тем богаты,
Что ты хотела быть со мной…

В тех дымчатых волнах предчувствий,
Неясных, непонятных нам,
Мы говорили об искусстве,
Созвучном чудным тем волнам,

Мечтая о грядущих встречах,
Которым быть не суждено…
Был день глубок и пересвечен,
И свет не мог нащупать дно…

Ты помнишь, как ты растерялась,
Когда из этой мастерской
Меня, как будто рыбным тралом,
Наружу выкрал гул морской?

Уже потом запахло тризной,
И эти статуи вокруг
Смотрели в спину с укоризной,
И меркли канделябры рук.

Уже потом судьба крошилась,
Как лишний хлеб, уже потом
Надежды жухли, словно жилы,
И осыпался в воздух дом.

Ну а тогда, в той пантомиме,
Казался счастьем миг любой,
Мы были там, внутри, своими
И точно были там собой,

И я запомнил: в том богатстве
Надежд мы верили мечте,
И кроме нас самих препятствий
Для счастья не было нигде.

***

Я помню ночи Коктебеля
И послевкусия от ссор,
И как рассветы низко пели,
Сужая падкий кругозор,

Была твоя природа – зонтик,
Подобный пёстрым витражам,
Хроматоскоп на горизонте,
Цветной химический пожар.

Была твоя натура – купол
От настоящего всего,
Души дырявая халупа
Качала в люльке колдовство.

А я любил твоё смятенье,
Как вечность любит небеса,
И неподвижное виденье
Остановило мне глаза,

Вселилось в них слепящим бликом
И прописалось навсегда,
И ты живая, поелику
Мои глаза – как невода.

Как жаль, что только упокоясь
В моих глазных колоколах,
Ты настоящая, какою
Ни разу в жизни не была.

И жаль, что невода однажды
Тебя отпустят, исхудав,
И будет видеть олух каждый
Исконный, едкий твой состав.

***

В тумане, где спутник не виден,
А может быть, нет и его,
Хожу сотни лет, самобытен,
Сам-призрак, верней, существо.

Зелёные росные травы
Как будто постригли вчера,
Но только безмолвию – браво,
Одна тишина – на ура:

Ни звука в туманах зелёных,
Подсвеченных белой травой,
Но изредка белые клёны
Встречает фантом кочевой,

И нет ни следов пешеходов,
Ни ночи, ни сумерек нет,
Единственным временем года
Является сжиженный снег.

Ни птичьих следов, ни звериных,
Ни тайных пештаков сюда.
Туман, как вуаль балерины,
И словно пуанты – вода.

Охота – по полю – ногами,
Неймётся – глазами – сквозь тьмы
В одной из развенчанных камер
Бескрайней и вечной тюрьмы.

Но нет перспективы побега,
Туман – паука волокно.
Моё неподвижное эго
Не помнит, откуда оно…

И вот, меж тумана клубами,
От белых цветов без ума,
Моя подвенечная память
Забыла, откуда сама…

***

Не учи меня жить,
Я живу, как умею:
Безобидны ужи,
Но они тоже змеи.

Не тревожь этот скит,
Не раскапывай храмы.
Там, где ширь у других,
У меня только яма.

У одних есть «кино»,
У других только правда.
Не делись же со мной
Своим взглядом на завтра.

У меня в голове
Много собственной боли:
Слишком чужд этот свет,
Да и тот – пересолен.

У меня на душе
Язвы неисцелимы.
Не помогут уже
Ни молитвы, ни климат.

Разреши мне дожить,
Что отмерено свыше –
На свои рубежи
Я почти уже вышел…

Так не пей эту нефть:
Я на фатум помножен,
К сожаленью ли, нет –
Мне уже не поможет

Вера в тысячи вольт,
И живые – не ровня мне,
И затихнуть позволь,
Как положено – вовремя.

ПАНОПТИКУМ

Мы жили в прошлом. Там, спросонья,
Чужое царство не приемля,
Горя вулканами в озоне,
Морями застилая земли,

Мы наши догмы и законы
Вселенной этой диктовали,
Богов учили лексикону,
Стихии в губы целовали.

О, сколько нас тогда, весёлых,
Величиною с Мирозданье,
Размером с космос новосёлов
С Судьбой ходили на свиданья!

Теперь, засушенные маги,
На нервной почве вырастая,
Внутри похожие на маки,
Мы – лишь рассеянная стая.

Что россыпь желудей бесплодных
В яйцекладущие темницы,
Снаряд с личинками бесплотных,
Взрывающийся роженицей,

Мы – заповедники немые,
Спасающие друг от друга,
Навылет блудные прямые
Из расколдованного круга,

Друг другу ноющие боли,
Друг другу квантовые слёзы,
В космические вакуоли
Хтоническая целлюлоза,

Гробы с останками, бесхозной
Консервной вакуума снедью,
В бескрайнем холоде межзвёздном
Летящие тысячелетья,

Входящий в колокол церковный
От абонента-анонима…
Но тот звонок беззвучен, словно
И жизнь, и смерть проходят мимо…

Нам не найти друг друга, пленных,
От света звёзд происходящих,
В раздувшемся мешке Вселенной,
Не умещающейся в ящик.

Что ядра звёзд без электронов,
Что распадающийся сон, мы
Друг другу даже не Хароны,
А только Вояджеров сонмы,

На все четыреста четыре
Безвестных стороны летящих
В мертворождённом чёрном мире,
Казавшемся живородящим.

***

Ещё не научившись жить,
Я понимаю: время вышло.
Живя по прихоти души,
Я, как и встарь, остался пришлым,

Себя по крохам раздарив,
Для всех вокруг остался чуждым,
Но неудач тройной тариф
Оплачивал согласно нуждам.

Я создавал и воевал
За право мир лечить от боли,
И был широк мой ареал,
Лучась в межзвёздном ореоле…

Я созидал и потому,
Летя сквозь пузыри слепые,
Ни разу к миру моему
Не прикасалась энтропия.

Я был как шторм, и в домино
Любви играл я беззаветно,
Но стала жизнь моя давно
Уже не серой, а бесцветной…

Судьба сопротивлялась мне,
Пространство всюду было против,
И потому для всех втройне
Я слыл изумчив и юродив.

Но, избежав монастырей,
Я знаю, что, подвластно тленью,
Добро забудется быстрей,
Чем обнулится поколенье,

Забвенье вечно и едва
Юнее, чем Вселенной автор,
И только верные слова
Помогут нам смириться с правдой:

В контексте реющих пустот
Страшно забвение Вселенной,
Но и Её забвенье ждёт,
Ведь Мирозданье тоже тленно.

Закрылись тысячи дверей
В миры, что были лучше сгнившей
Цивилизации зверей,
Себя царями возомнивших…

Забыты напрочь имена
Венедов, антов и склавинов,
Ушли в чертоги вечной тьмы
Их неизвестные поэты…

И нас забудут племена,
На нас летящие лавиной…
Ну что ж, забудемся и мы,
И ничего такого в этом.

ВЛАДИСЛАВ КИТИК

ЧАСОВЩИКАМ ОТМЕРЕН СРОК

***

Чем ты в этот вечер дорожишь?
Ветром давней памятью подувшим,
Задушевной грустью, днем грядущим?
Он всё переменит завтра лишь,

Но не раньше. Знаешь ведь сама,
Что в игре и правда, – понарошку.
Масло льёт луна из медной плошки,
Наполняет лета закрома.

Штиль зеркальный. Вышитая гладь
Медленной воды. И взгляд пространный.
Мне куриный бог на дне кармана
Не даёт в иллюзию сбежать.

Новым днём вчерашний заменить
Надо бы, как на причале доски,
Но закономерность парадокса
Этим всё равно не объяснить.

Как нерасторжимы «здесь» и «там»?
Годы расстоянья волны смыли.
Я твои дочитываю мысли
Перед сном. Пока что по слогам.

ЛИРИКА

Влечёт столетья, как вагоны,
Как расстоянья, ждёт письма.
Сама себе творит законы
И нарушает их сама.

А после заклинанья шепчет
Внимая, словно птицелов,
Мгновеньям и словам ушедших
В стихи.
И слушает щеглов.

То дали, сбившиеся в точку,
Им вслед с рассеянным: «Да-да!..»,
Махнув узорчатым платочком,
Вернуться просит навсегда.

То властно жаждет обещанья,
Лишь ей быть верным до креста,
То запечатает молчанье
Игривым пальчиком у рта.

Любви непрошенная гостья,
Ревнивица благих кровей.
Не хватит ни порыва злости,
Ни мудрости расстаться с ней.

Она же, вспыхнув спичкой серной,
Непризнанной виной горда,
В дверях стоит женой неверной
И не уходит никуда.

***

Пойми, что значит женское: «Быть может».
Гадателя грядущее тревожит,
Что в настоящем – он переживёт.
Искатель истины её кроссворд не сложит
Историк вспять её искать идёт.
Часовщикам, как всем, отмерен срок.
Захочешь чаю – будет *five o'clock*.

Чертёжник строгий пишет вензеля
И учатся учить учителя,
Чтоб не остаться без учеников,
Мудрец в толпе не выше дураков,
Картёжный шулер в шахматы играет.
За первой рюмкой следует вторая,
Синдром похмелья лечится бузой.

Так и живём, с усмешкой и слезой,
И ходят маловерам в назиданье
Башмачник – необутый и босой,
Несытый – булочник, художник – без признанья.

***

Что допустить не мог, – пришло.
До боли напрягая зренье,
Я в небе разглядел крыло
С прозрачно-синим опереньем.
Я ключевой поил водой
Посланницу завидной доли.
Пусть не дала она покой.
Но я ей дал простор и волю,
Когда с ладони отпускал
В любые лётные пределы.
И унеслась. Но я-то знал,
Как расставаться не хотела.

***

Бледнеет даже тень перед жарой.
Пусть размалёван август петухами,
Ушастыми прослушан лопухами,
Просверлен, словно сито, мошкарой,
А на душе – весна,
её игра
Прохлады моря с таинством зелёным,
Душистый флёр цветочного ковра,
Полёт фантазий в небесах бездонных,
Синицы, облака и купидоны
Беспечные, как детские качели.
Благодаренье Сандро Боттичелли
За то, что пять столетий с полотна
Глядит его Венера, хоть она
В альбоме тесном с типографской краской,
Его любви, всемирно преданной огласке,
Той женщине, что из-под слёзных век
Узрел ловец прекрасного мгновенья,
Тем обнадёжив, что во дни творенья
Их создал Бог достаточно для всех.

***

Ни вселенской печали, ни плахи
Не грядёт, будто с детством невинным
В лес ушли мои детские страхи,
Что их в зеркале даже не видно.

Жить по правилам – верное дело,
Только к истине шаг был неверным.
Или поздно вода просветлела,
Или рано оборваны вербы.

Пятернёй растопырено устье,
Но потока неведомо имя.
Я однажды родился в капусте:
С дальней грядки, не схожей с другими.

***

…Но послышался из дальнего угла
Тихий шорох – легче шёпота признанья.
Упреждая сон, бессонница пришла,
Повернула совесть ключ воспоминанья.

Так ли это? Ведь не мучила, не жгла.
Без нужды не лезла в душу самовольно?
Просто молча расставляла зеркала.
Просто ты в них отражаешься невольно.

Просто маешься, по комнате пустой
Вдоль от зеркала до зеркала тыняясь.
И нельзя сплошной их ряд, пока живой,
Ни разбить, ни занавесить простынями,

Ни прорвать их беспристрастное кольцо.
Не казнят, не угрожают, но – тревожат:
Вдруг откроется внезапное лицо,
До того себя забывшее, быть может.

***

Не спешите к вечности на постой.
Будет дом пустой, да не мир пустой,
Даль его чиста, да грешны уста,
И глупа мечта дотянуть до ста.
И хорош тот свет, только счастья нет,
И опять захочешь на этот свет,
Где крестил свой лоб, хоть и не был свят,
Где, как самоучка-гомеопат,
Исцелял беду росной трын-травой,
А печали – дудочкой плясовой,
Где себя терял и себя искал,
И где мой удел ни велик, ни мал,
Не чужой, не чей-нибудь, только мой.
Уходил я и вновь приходил домой,
Путь куда б ни вёл, а приходишь сам:
Храм на дом похож – дом такой же храм.
Вот бы тело сдать, как ручную кладь!
Но звенит будильник – пора вставать.
Вновь гордится улица мостовой,
И от ветки кривой будет тень кривой,
И купаются воробьи в пыли,
Где сошлись край неба и край земли.
Я люблю, мой свет, только этот свет.
А другой: он – есть? Может, вовсе нет?

***

Хоть худой будет мир, хоть залатанный,
Хоть не всё в нём случится пристойно,
Уходя по дороге заплаканной,
Превращаются в хронику войны.

И когда нелюбовью пресытятся,
И когда настреляются вдоволь,
И во храмах, пеплом присыпанных,
Выйдут замуж вчерашние вдовы,

Встанет памятник, в небо впаянный,
Не попасть бы, как в окруженье,
В сухопарый ущерб злопамятства
И незрячесть опустошенья.

ТИР

Пляжно-летний период закрыт,
Парк обрёл тишину запустенья.
Лишь пронзительный ветер свистит
Сквозь колючие дыры в мишени.

Скуки ради, а то – на пари:
Как-то странно мы душу отводим.
На запретной земле снегири,
И предзимняя свежесть в природе.

Мусор. Изгородь. И – никого.
И пробитых досок заусенцы.
И щемящая мысль: каково
Подставлять под прицел своё сердце.

***

Спустилась ласточка, мне став сестрой небесной.
Ей о родстве по дням творенья не известно.
Я тоже дую в свой рожок неповторимый.
Чуть не задев крылом, она промчалась мимо.
Черпну ковшом, налью ей звонкую водицу,
Всегда воздушна и легка её цевница
Для тех, кто слышит, и для тех, кто глух с рожденья,
Для тех, кто так же любит это пенье,
Для всех нелюбящих и тех, кто с ними иже.
Не станет мир добрей, но станет ближе.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

АЗАМАХА
рассказ

Солнце, поднявшееся над Иудейской пустыней, осветило бронзовое зеркало, прислонённое к парапету, ограждавшему край обрыва, извлекло из его глубины золотистое сияние. Зеркало принесли и поставили здесь вчера два чёрных нубийца, слуги военачальника Элиэзера Бен Яира, для его жены Наамы. Наама примеряла новое платье из зелёного шелка, но оно слишком обтянуло её живот, всего три новолуния оставалось до рождения ребёнка. Азамаха помогала ей одеться. Платье, недавно сшитое, не годилось уже, и вряд ли сгодится после родов, когда увеличится налитая молоком грудь. Подумав, Наама протянула платье Азамахе, своей юной рабыне. У девушки заблестели глаза: какой нежный шёлк, какая роскошь, она и мечтать не смела о таком. Правда, Наама обещала дать ей вольную, когда Азамахе исполнится семнадцать лет, а это будет очень скоро, примерно тогда, когда родится шёстой ребенок Элиэзера. В честь его рождения Наама дала обет сделать богоугодное дело, отпустить на волю рабыню Азамаху и даже пообещала выдать её замуж за свободного иудея, с хорошим приданым. Мало кто из свободных евреев согласится взять в жены бывшую рабыню, но она родилась в доме уважаемого всеми знатного человека, Элиэзера Бен Яира, а это много значит. И большое приданое тоже сыграет свою роль.

Азамаха не могла пожаловаться на свою госпожу, Наама всегда обращалась с ней хорошо, девушка не было обижена ни едой, ни одеждой, ни отношением. У евреев рабы находились в положении младших членов семьи, и даже когда хозяева предлагали им волю, а это по иудейским законам происходило каждые шесть лет нахождения раба в доме, некоторые отказывались, давая проколоть себе ухо на пороге дома в знак того, что данный раб принадлежит этому семейству и остаётся в нём добровольно.

Но Азамаха уйдёт обязательно. Она мечтает о свободе, о своём собственном хозяйстве, муже, детях. Ранним утром она прибежала к зеркалу, оставшемуся у парапета, чтобы примерить перед ним новое платье. Лёгкий шёлк охватил её фигуру, оттенил зелёные глаза и ярко рыжие волосы. У Азамахи захватило дух, когда она увидела в зеркале своё тонкое гибкое тело, по которому струился зелёный шёлк, своё лицо, которое было так красиво. Она прибережёт это платье до свадьбы, выйдет в нём замуж за свободного человека!

Снизу потянуло дымком, защекотало ноздри. Это развели утренние костры римляне, осадившие крепость, чтобы готовить на них себе завтрак. Дым от костров отрезвил Азамаху, напомнил, что римляне осаждают Масаду уже три года, и конца и края этой войне не видно. Хоть бы всё окончилось до её семнадцатилетия, тогда они спустятся с горы в Иерусалим, снова будут жить в своём богатом доме, всё потечет по-прежнему, гости, застолья, отъезды Элиэзера по своим делам и приезды, когда начинается весёлая суматоха, радостный визг детей, беготня служанок с подносами, полными инжира, фиников, винограда, орехов…

Как Азамаха любила эти дни, когда возвращался из поездок господин, и вся огромная семья, свободные слуги и рабы выбегали навстречу, кроме Наамы, которой не приличествовало бегать и суетиться. Она ждала мужа в своих покоях.

Азамаха загрустила, вспомнив свою мать, рабыню Нимейру, белокожую берберку с такими же рыжими волосами, как у Азамахи. Нимейра умерла два года назад от сильной простуды, не помогли ни горячее питье с шафраном, ни разогретые на очаге и уложенные на грудь и спину глиняные таблички, ни даже заговоры старой повитухи Шулы.

Именно Шула рассказала Ахамахе историю её появления на свет.

А было так.

В тот день в доме Элиэзера принимали гостя, финикийского купца из Берита, приехавшего в Иерусалим по своим торговым делам. После ужина гость отправился в свою комнату и вскоре прислал к Элиэзеру слугу, который передал, что гость жалуется на холод и просит затопить камин: зима в Иерусалиме бывает и холодной. Хозяин распорядился затопить камин, отнести гостю покрывало из верблюжьей шерсти и заодно для развлечения и большего тепла отослал ему на ночь рабыню Нимейру, в знак своего гостеприимства, словно кусок халвы на подносе.

Утром гость попрощался с хозяевами, а рабыне Нимейре кинул дешёвенький медный браслет с изображением льва и львицы.

От заезжего финикийского гостя понесла Нимейра свою будущую дочь, свою будущую копию, с рыжими волосами и зелёными глазами, Азамаху, и родила её без единого стона, легко и быстро. А лёгкими родами она обошлась потому, считала Нимейра, что тот медный браслет со львами стал её амулетом, от львицы, считала она, обрела силу женскую, а ото льва – силу духа. И перед тем, как отойти в вечность, Нимейра сняла со своей руки и надела на запястье Азамахи браслет, который должен был придать её дочери женскую силу львицы и силу духа льва.

Теперь Азамаха заметила, как красив медно-красный браслет на фоне зелёного блестящего шёлка платья, не могла отвести глаз от своего изображения в зеркале, и думала, что когда окончится война, она выйдет замуж и никогда-никогда не снимет амулет, который приблизит её ко львам.

Азамаха и мысли не допускала, что война может не кончиться или кончиться плохо для иудеев. Да, три года назад пал Иерусалим под ударами войска императора Тита, в Иудее окончательно и полностью воцарилось римское владычество, тысячи евреев, попавших в плен, были вывезены в Рим и позорно проведены в цепях под триумфальной аркой. А тем, кто не пожелал такой участи, пришлось бежать в горы, горстке канаимов[1] – еврейских воинов, их жён, детей и пожелавших бежать с ними слуг, а всего воинов было 1000 человек. Они обосновались в древней крепости царя Ирода и держали оборону, поливая сверху римлян кипящей смолой и забрасывая их камнями. Римляне насыпали с западной стороны гору, доходившую почти до самого верха Масады, и за день успевали пробить в крепостной стене брешь, но за ночь евреи восстанавливали стену, и утром римлян снова встречал поток смолы и камней.

Пятнадцати тысячам хорошо вооружённых и обученных легионеров противостояла всего тысяча евреев, но в крепости было достаточно запасов продовольствия и воды благодаря хитроумным акведукам, подававшим воду из двух ближайших ручьёв.

Азамахе было всё равно, кто правит Иудеей, еврейские цари или римляне, она всегда считала, что её положение в доме Элиэзера Бен Яира не зависело от высшей власти. Если победят римляне, значит, их станет ещё больше на улицах Иерусалима, вот и всё, что она понимала в войне.

Мимо пробежало несколько канаимов – еврейских воинов, они спешили в сторону главной площади крепости, а со стороны лагеря римлян донёсся ровный гул от шагающих во множестве ног и скрип телеги, на которой воины тащили наверх по насыпи таран.

Со всех сторон гора Масада неприступна, высота её – тридцать метров от земли, по восточному склону вьётся узенькая почти отвесная «змеиная тропа», отсюда крепость взять невозможно, но римляне расположились лагерем с западной стороны, более пологой, и с той стороны соорудили насыпь до самой вершины Масады.

Подул сильный ветер и в воздухе закружились тонкие, почти невесомые частички гари. «Что-то произошло» – тревожно подумала Азамаха и поспешила домой. У дверей её встретила старая Шула, которая, раскачиваясь от горя и плача, рассказала, что римляне тараном пробили внешнюю каменную стену и подожгли внутреннюю деревянную. Стена пылает, и вскоре враг будет здесь. Всё кончено, причитала Шула. «Элиэзер собрал на площади воинов и держит речь», – сообщила она, – «лишь три десятка храбрецов отбивают пока вход в крепость, им помогает огонь горящей стены, но скоро она прогорит и…».

Внезапно Шула перестала плакать и поманила к себе Азамаху корявым иссохшим пальцем.

– Послушай, девочка! Там, в развалинах дворца царя Ирода, есть тайный вход в его сокровищницу, о которой говорила мне мать. Я сказала Элиэзеру, что мы можем все сдаться в плен римлянам, а потом за эти сокровища выкупить себя из рабства, так позволяет римский закон.

– И что?

– Он ответил, что убьёт меня, если я кому-нибудь скажу об этом.

Шула вновь зарыдала.

Азамаха, оставив плачущую старуху, бросилась на площадь.

Там скопилось много народа, в центре мужчины, а женщины, державшие на руках детей, позади. Элиэзер стоял на возвышении и, протянув правую руку в направлении людей, говорил громко и внятно, так, чтобы каждое слово было понятным и доходило до собравшихся.

– Евреи, мы свободный народ, – говорил он, – ибо нет над нами иного господина, нежели Всевышний. Нет и не должно быть никого, кто мог бы управлять нами, нежели наши цари и сам Господь Бог над ними. Римляне пришли на нашу землю в числе многих легионов, пять месяцев воевали за наш Святой Город и взяли его, когда там окончилась еда и люди стали умирать от голода, и разрушили Храм наш и глумились над нашими святынями. И тысячи тысяч наших собратьев и жён иудейских увели в плен и подвергли глумлению и продали их в позорное рабство язычникам. Разве вы хотите такой участи, евреи?

И толпа загудела: «Нет!»

И Элиэзер продолжил.

– Нас только тысяча воинов собралось здесь, и пятнадцать тысяч вооружённых и закалённых в боях римских воинов, два легиона, за которыми стоит мощный Рим, а нас только горстка. Но мы выстояли

тысячу дней, столько же, сколько нас всего, по дню на воина. Три года мы держались тогда, когда к римлянам подходили все новые силы, а наши только таяли. И вот настал день, когда сопротивляться стало бессмысленно. Но разве мы покрыли себя позором, разве не показали пример мужества и стойкости, разве нам стыдно за себя, евреи?

И толпа загудела: «Нет!».

И Элиэзер продолжил.

– Через два часа враг будет здесь, будет насиловать и бесчестить наших жен, а детей уведёт с собой и продаст на базаре язычникам, и они будут рабами, и забудут свою кровь и святую веру. Но я знаю, как спасти нашу честь и не дать врагам торжествовать над нами. Идя сюда, мы были готовы к смерти, примем же её сейчас, ибо лучше смерть, чем позорное рабство. Римляне не проведут нас в цепях под триумфальной аркой, войдя в Масаду, они застанут только мёртвых её защитников и женщин. Готовы ли вы, евреи, умереть, но не достаться в виде добычи врагу?

И толпа загудела: «Нет!».

И Элиэзер продолжил.

– Наша вера запрещает нам самоубийство. Потому я решил так. Каждый воин своим мечом заколет свою жену, детей и слуг. Потом десять воинов, отобранных по жребию, заколют всех остальных, а один из них, выбранный по жребию, убьёт девятерых, а сам покончит с собой. Мы сожжём все наши одежды и утварь, чтоб она не досталась врагу как добыча, но оставим запасы продовольствия и воды, чтобы враг знал, мы умерли не потому, что у нас кончилось продовольствие, а потому что не хотим дать им насладиться победой. Мы умрём сейчас, не рабами, а свободными людьми. Вы согласны, евреи?

И толпа загудела: «Нет!».

– Несите глиняные таблички для жребия, – крикнул Элиэзер.

Азамаха стояла поражённая. Вот как, значит, окончится её жизнь, не будет ни свадьбы, ни возвращения в родной Иерусалим, о котором она так мечтала. Ещё полчаса и её поразит меч, разорвет её одежду, а потом кожу, проникнет в сердце. Это больно? Будет очень больно?

Но ведь она не еврейка! Почему она должна умирать? Это их, еврейская война, это они хотят лишить римлян законной добычи, а она берберка. Какое ей дело до их чести? Через три новолуния ей исполнится семнадцать лет. Разве это возраст для смерти? Римляне лично ей ничего не сделали, они захватили столицу Иудеи, но она не иудейка, не еврейка, ей всё равно, кто правит в Риме, кто в Иудее. Она просто хочет получить вольную, обещанную ей госпожой, и выйти замуж за свободного человека, как обещала Наама. А теперь из-за принципа чести евреев она должна умереть? Как это несправедливо!

Элиэзер руководил сожжением имущества обитателей крепости, велел засыпать камнями ход в сокровищницу царя Ирода, золотые и серебряные слитки, драгоценные камни не должны достаться врагу. Засыпать так, чтобы не было видно, что там был вход. Запасы еды снесли на площадь: смотрите, римляне, мы здесь ни в чём не нуждались, кроме нашей свободы!

Затем он отправился в свой дом, где ждали его беременная жена и дети.

Наама встала при его приближении.

Он посмотрел ей в лицо, опухшее от беременности.

– Прости меня, Наама.

– Мне не за что прощать… старшие дети, они…

– Да.

– Коли меня прямо в живот, чтобы одним ударом… Иначе, я умру, а ребёнок ещё будет мучиться внутри меня…

– Да. Так будет правильно.

Они обнялись, и Элиэзер нежно поцеловал жену.

Она прижалась к нему всем телом, потом отстранилась, выпрямилась и закрыла глаза…

Азамаха сбежала с площади и забилась в угол между стеной заброшенного дома и каменным парапетом, ограничивающим обрыв плато Масады. Её тошнило от страха, от запаха крови, доносившегося изо всех дверей, от стонов умирающих женщин и пронзительных криков детей. Она вся тряслась и повторяла, словно уговаривая себя: «Я не еврейка, я не должна умирать с ними, это не моё дело, не моя война».

Внезапно она сообразила, что находится в ненадёжном укрытии, римляне легко найдут её тут. Надо спрятаться в доме Элиэзера, в дальней части есть маленькая кладовка, куда сбрасывали ненужные старые вещи. Может быть, солдаты не заметят неприметную дверь.

Азамаха пробежала через двор, стараясь не глядеть на мёртвые тела, распростёртые на залитых кровью плитах, и вбежала в дом. Вот эта низенькая тёмная дверца, её почти не видно. Азамаха влетела внутрь, закрыла за собой дверь и села на опрокинутый вниз горлышком кувшин, обхватив голову руками.

Когда всё кончится, она выйдет ночью, сейчас светит полная луна, и она легко найдёт выход на змеиную тропу, спустится вниз и пойдёт искать людей, а что будет дальше, не важно. Лишь бы остаться в живых.

Когда римские солдаты, извергая рёв из тысяч глоток, в восторге и упоении победы, ворвались на плато Масады, их встретила гробовая тишина. Лишь налетавший порывами ветер из Иудейской пустыни метался между тридцатью семью сторожевыми башнями крепости, издевательски завывая и хохоча. Двери всех домов были открыты, но дома были пусты. На главной площади лежали тела иудейских воинов, но следов борьбы не было видно, то, что гибель их была добровольной, не оставляло сомнений. Во дворах лежали тела женщин и детей.

Открыто и насмешливо на главной площади высилась гора сушёного мяса коз, фрукты и глиняные кувшины с зерном. В каменных цистернах была вода.

Более никакой добычи – ни будущих рабов, ни красивой одежды, ни золотых украшений, ни дорогой утвари. Лишь на восточной стороне огромное пожарище, где слились в единый запёкшийся, чёрный от копоти ком бронзовые блюда, покорёженные меноры, медные застёжки сгоревшей одежды, источавшие дурной запах обгорелые остатки кожаных сандалий и даже женские щипчики для удаления лишних волосков.

Потрясённые и растерянные, солдаты разбрелись по Масаде в надежде отыскать хоть какую-нибудь мелочь, чтоб принести её в качестве законной добычи своему полководцу Флавиусу Сильва, но её не было.

Азамаха напряжённо прислушивалась к тому, что происходило снаружи, вне её маленького убежища. Она слышала топот ног римских солдат, обыскивающих дом, их недовольные возгласы и грубую речь. Рождённая уже в эпоху римского владычества в Иудее, она хорошо понимала латинское наречие, столь отличное от иврита. Вот уже уходят, подумала было она, когда дверца в кладовку распахнулась. Солдат заглянул внутрь. Азамаха почувствовала крепкий отвратительный запах мужского пота.

– Здесь ничего нет, – крикнул он.

Второй солдат заглянул тоже.

– А вон там куча тряпья, гляди, – сказал он.

Он подцепил копьём старые вещи, под которые забилась Азамаха, и стащил их с неё.

– Гляди, девка!

От ужаса Азамаха не могла даже вскрикнуть.

– Вот это да! Хоть что-то нашли. Наша добыча. Наверно, служанка. Сейчас мы её…

– Погоди, – сказал первый солдат. – Тут что-то не то. Видишь, как она роскошно одета? Платье из настоящего шёлка, так слуг не одевают. Ворот расшит жемчугом. На руке браслет с красивым рисунком. Не простая девка. Наверное, она любимая дочь военачальника, и он спрятал её здесь. Ведь это дом самого Элиэзера Бен Яира. Её надо отдать Флавиусу. Дочь побеждённого полководца принадлежит полководцу-победителю.

«Какое счастье, – подумала Азамаха, – какое счастье, что Наама подарила мне это платье утром, а я не успела его снять». Это платье спасло ей жизнь. Она прекрасно знала, что было бы с ней, если б не дорогой наряд. Солдаты изнасиловали бы её, а потом закололи копьём. Но сейчас они отведут её к своему начальнику и скажут, что она дочь Элиэзера. Это шанс спасти свою жизнь. Дочь побеждённого полководца не может быть отдана солдатам, её отвезут в Рим, закуют в цепи и снова продадут в рабство, но дорого, как знатную женщину, а это шанс на жизнь. И купит меня не простой гражданин, а человек богатый, у простого не хватит на меня денег. А дальше будет то, что подарит мне судьба. С её красотой возможно ещё получить вольную, выйти замуж за свободного человека. Придётся пройти через это жуткое унижение, когда её будут провозить под аркой, но она вытерпит его, всё вынесет, главное – остаться в живых. Да, сегодня утром моя госпожа своим подарком спасла меня.

Азамаха выпрямилась и дерзко взглянула на солдат.

– Я Азамаха Бат Элиэзер, – сказала она.

Три года, три года, тысячу дней, два отборных легиона, закалённых в боях, осаждали эту крепость, теряли своих людей, а в результате пшик, ноль. Кого протащить в цепях под Триумфальной аркой, трупы на повозке? Смешно, весь Рим будет потешаться над ним, думал Флавиус. Ни рабов, ни золота, ни еврейских менор, как символов побеждённого народа. Когда пал Иерусалим, император Тит провёз на повозке огромную двухметровую менору из чистого золота, и ещё четыре повозки, доверху гружённые золотыми изделиями, серебряной посудой, шёлковыми тканями и специями, награбленными в Иерусалиме, народ просто ревел от восторга. А что провезёт он?

Нет, ему даже нельзя садиться на белого коня и возглавлять триумфальную процессию, это стыдно. Вся добыча – дочь побеждённого полководца. Хорошо, хоть это нашлось. Но не сам полководец, как надо было бы для нормального триумфа. Ни его приближённых, ни его войска.

А народ требует зрелища, народ требует добычи, граждане Рима хотят знать, на что тратились их налоги в течение трёх лет.

Что делать? На коня нельзя садиться, начальник двух легионов на белом коне с плюмажем ведёт за собой всего лишь девку. Позор! Какой позор.

Правда, результат есть: Иудея пала окончательно, взятие Масады завершило Иудейскую войну. Война длилась семь лет, расходы, потери в живой силе, а он её закончил. Да, вот это его заслуга, нельзя было оставлять в сердце Иудеи этот непокорённый клочок горы. Оттуда снова распространилась бы зараза неповиновения. Но если учесть, что вся Иудея по сравнению с могучим Римом тоже крохотный клочок земли, чем гордиться? И без трофеев что за триумф? Какой стыд!

Можно, конечно, вообще отказаться от триумфа, это его законное право, но тогда не будет поставлена законная точка в Иудейской войне, война не получит традиционного завершения, будет считаться как бы продолжающейся, то есть римляне не будут признаны победителями. А этого нельзя допустить. Нет другого способа объявить свою победу. Проклятые евреи, как они подвели его! В какой угол они его загнали! Единственный выход – не садиться на коня, установить около Триумфальной арки высокий помост, на котором он будет восседать в кресле, принимая почести и провезти под аркой эту… как её… такое варварское имя, он никогда не мог запомнить имен этих дикарей.

С утра на улицах, ведущих к Триумфальной арке, начал собираться народ. Рабы тащили кресла и опахала, устанавливали поудобнее, грызлись между собой за места, ведь потом, когда придут их господа, они могут наказать за малейшую провинность. Граждане попроще располагались на ступенях домов, мальчишки висли на деревьях. Между рядами людей сновали водоносы с кувшинами воды, бедняки на подносах разносили сладости в надежде заработать на дневное пропитание для своих детей.

Для Флавиуса Сильвы был установлен отдельный помост, покрытый красными коврами, по четырём углам украшенный золотыми кистями, на нём резное кресло из ливанского кедра.

Солнце вздымалось всё выше, стало припекать, показались носилки, на которых слуги несли важных римских матрон, богатые граждане разыскивали свои кресла, установленные с утра рабами, толпа радостно гудела в предвкушения развлечения и удовольствия.

Флавиус со вчера раздумывал, стоит ли пустить впереди повозки со своей жалкой добычей ликторов со связками лавровых прутьев и трубачей, но всё-таки решил, что толпа может не одобрить отступление от традиций.

Сейчас они сидел в своём роскошном кресле, мрачно глядя перед собой, ожидая, когда закончится этот праздник для толпы и мучение для него.

В конце концов за прошедшими ликторами и трубачами, возвещавшими о победе, показались быки, влекущие за собой позорную повозку поражения. Азамаха стояла в ней, прикованная цепями к двум копьям, которые держали по сторонам от неё солдаты. Её зелёное шёлковое платье разорвалось на плече и сползало вниз, но она не могла его поправить. Грубая цепь на правой руке прижимала к запястью её амулет, браслет со львами, который, как она верила, спас ей жизнь, привлёк счастливую долю, не дав снять дорогое платье, благодаря чему она приобрела новый статус дочери знатного человека. Недаром мать сказала ей перед смертью, что этот браслет посвятит её львам.

При виде дочери поверженного врага толпа возбуждённо загудела. Вот символ покорённой Иудеи, мелкой, ничтожной страны, посмевшей сопротивляться! Крупные государства покорялись великому Риму и жили под ним. Разве Рим плохо ими управлял? Разве угнетал их, запрещал исповедовать свою религию, навязывал свой язык, свои традиции? Такое гуманное правление в их же, варваров, интересах только поискать. Неблагодарные!

Но вот она, юная, красивая еврейка, здесь, на повозке поражения, символ покорности, в разорванном платье, а её отец убит. Правда, по Риму ходят гнусные слухи, что он убит не славными солдатами легионов, а покончил с собой, и все остальные тоже умерли не от римских копий и мечей, а убили друг друга, и своих жён, и сожгли свои ценности, лишь бы не дать Риму вкусить сладость победы. Как же ненавистны им эти евреи!

Толпа возбуждалась всё больше и больше.

Простолюдины, проталкиваясь через передние ряды почтенных граждан, старались подойти поближе к повозке, чтобы разглядеть Азамаху и крикнуть ей в лицо что-нибудь обидное. Пожилых матрон поразила и разозлила её красота, вместо мускулистых обнажённых воинов с цепями на руках и шее, они должны лицезреть эту девку, такую стройную, словно зелёное деревце весной.

– Дочь шакала, смерть тебе! – крикнул кто-то.

– Твой отец Элиэзер валяется сейчас дохлый, твоя мать Наама лежит со вспоротым животом, всем вам пришёл конец, подлые евреи, – кричали в лицо Азамахе со всех сторон.

Мальчишки принялись швырять в неё огрызки яблок и мелкие камни. Прикованная к копьям, Азамаха не могла прикрыться руками, в неё полетели плевки, и кусок пережёванной чесночной лепёшки ударил её по лицу.

Поднялся всеобщий громкий смех.

– Так будет со всеми евреями, мы уничтожим вас, ненавистное племя! – доносилось до неё.

– Твой отец шакал, твоя мать еврейская шлюха!

– А где твои братья и сестры, ведь у твоего отца была куча детей, тоже валяются дохлые? Хорошо, хоть тебя доставили к нам, чтобы позабавить честных граждан Рима.

Грязные ругательства, оскорбления, сыпались на Азамаху со всех сторон.

Невольно она выпрямилась, чтобы противостоять крикам, не показать своего страха и обиды.

– Вы только посмотрите на эту гордую еврейку, дочь полководца, её везут в кандалах, на потеху и утешение Риму! Слава великому Риму, смерть подлым евреям, – слышалось из толпы.

И тут Азамаха вскинула голову и закричала так громко, как могла:

– Нет, я не дочь полководца, я не дочь храброго Элиэзера, я рабыня, незаконнорождённая, дочь одной ночи, вот и вся ваша добыча, гордые римляне! Вы торжествуете победу над жалкой рабыней! Я не еврейка, посмотрите на мои рыжие волосы и светлую кожу! Разве такие бывают у евреек, смуглых и темноволосых? Я берберка, рождённая вне брака, плод похоти, моя мать была взята без её согласия проезжим чужеземцем! Славная добыча для вашего триумфа! Ни одного пленённого еврейского воина вам не досталось, ни одной честной еврейской жены, только бесплеменная рабыня. Я смеюсь над вами!

Солдаты, державшие копья, к которым была прикована Азамаха, растерялись. Толпа ошеломлённо и грозно загудела. Один из ликторов бросился к Флавиусу сообщить о происходящем.

Азамаха продолжала кричать.

– Два легиона лучших воинов осадили иудейскую крепость, чтобы захватить в плен одну незаконнорождённую рабыню. Три года осады, чтобы получить такой жалкий плод победы, как я. Позор вам, римляне! Позор! Ваша победа ничтожнее поражения! Победители не вы! Победители там, мёртвые, на своей родной земле, в несдавшейся Масаде!

Флавиус, багровый от гнева, наливался злобой, слушая ликтора, и вскочил на ноги:

– Смерть ей, этой девке! В клетку её киньте, ко львам! Мои домашние львы давно не ели свежего мяса. Ко львам её!

Солдаты подняли копья, и Азамаха повисла на них, на цепях, но продолжала кричать и ругать римлян, и смеяться над ними.

Её так и понесли на копьях, а она изгибала спину, чтобы не выглядеть склонённой, и зелёный шёлк струился по её телу и развевался, как знамя, и сверкал на солнце, а солдаты поднимали её всё выше и выше, и она плыла над толпой туда, в конец колонны, где везли на другой повозке клетку со львом и львицей, купленными Флавиусом у марокканского торговца по дороге из Иудеи на потеху своим домочадцам и приглашённым на празднование победы гостям.

---

[1] *Зелоты (греч. Ζηλωτές, «ревнители, приверженцы» – перевод слова ивр.* קנאים, *канаим).*

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ, ИЛИ СОКРОВЕННЫЙ ДНЕВНИК ЦАХЕСА ЦИННОБЕРА ВЕЛИКОГО, ПРОИЗВЕДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ ИМ САМИМ

Вводное слово переписчика

Случайно обнаруженная тетрадка, содержащей незначительное по объёму (но не по значению!) сочинение, озаглавленное «Краткое жизнеописание, или сокровенный дневник Цахеса Циннобера Великого, произведение, составленное им самим» имеет большое значение. Это важный источник для изучения жизни и деяний заметного государственного деятеля. Однако проверка подлинности документа, к сожалению, не представляется возможной. Так до настоящего времени не сохранилось образцов почерка Цахеса. Да и, если бы мы ими располагали, их нельзя считать однозначным мерилом истинности, поскольку нет способа установить, заполнена ли тетрадка рукой самого Цахеса или автобиография переписывалась. Анализ стиля, сопоставление лексики также не представляются реализуемым ввиду отсутствия образцов для сравнения. Однако, как уже отмечалось, ценность находки очевидна. Ведь, к сожалению, наука не располагает другими достоверными свидетельствами о биографии господина Циннобера. По этой причине любой текст, имеющий отношение к теме, представляет огромное значение и обогащает интеллектуальную дискуссию по данной проблематике.

Имеются некоторые обрывочные свидетельства, проливающие хоть какой-то свет на Цахеса и его время. Но их немного, а их информативность ограничена. Считается, что источниковедческую базу в значительной степени подорвали противостоящие просветителям романтики. Они ходили по лесам, мечтали, а потом выдували фантастический вздор вместо составления внятных свидетельств. Некоторое реальное представление об эпохе и месте, а также нравах людей дают письма известного учёного Полемея Филадельфуса, адресованные Руфину. Многое также можно почерпнуть из документов княжеского архива от времён правления Пафнутия до правления Барсануфа включительно. Архив, как известно, остаётся неразобранным до сего дня. Предположу, что документы многое сообщает о глубоком государственном уме господина Циннобера. Но, разумеется, за пределами радения о благе страны и населяющего её народа там окажется совсем немного материалов биографического характера. Следует также иметь в виду, что Цахес никогда не осквернял своих рук писанием, он диктовал и давал исключительно устные распоряжения, часто для экономии времени пользуясь условными звуковыми сигналами, как то, например, мяуканье и мычание. Тем самым он предпочитал возвышенное теоретическое, столь изящно воспетое Аристотелем в начале его «Метафизики», грубому практическому. Разумеется, в большинстве случаев мы уже не сможем узнать, какие идеи принадлежат исключительно Циннобер, а какие коллегиальны.

До настоящего момента, именно биография Цахеса широко известна лишь по одному источнику, никогда не претендовавшему на точность и достоверность. Это повесть Эрнста Теодора Амадея Гофмана, носящая название «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». Автор никоим образом не заявлял о правдивости своего повествования, но, напротив, обозначил текст как сказку. Кажется, Гофман не стремился поделиться истиной о жизни примечательной личности, но предпочёл поучать читателя, давая реальным событиям весьма однобокое истолкование. При всей очевидной важности сказки «Крошка Цахес» для истории литературы, она не может рассматриваться в качестве честного и непредвзятого исторического источника. Хотя мы и не отрицаем, что в ней содержится некая толика очень сильно художественно переработанной правды.

Обнаруженный нами текст – предположительно версия событий с точки зрения самого Цахеса. И как бы читатель не относился к его личности, каких бы не придерживался идеологических установок, остаётся несомненным, – любая автобиография всегда отличается от взгляда со стороны. Письменный рассказ о себе самом очищает Цахеса от обвинений в ничтожестве, которые явственно проступают в повести имевшего политический интерес Гофмана. При этом оговоримся, распространено заблуждение, что только одарённые с рождения талантливые особы способны к созданию текстов, к размышлению.

Все это разбивается о тот простой факт, что умственно разные люди не столь уж сильно и отличаются друг от друга. Привычка мыслить и желание высказываться одерживают вверх над часто приписываемыми постфактум природными дарованиями. Гофману следовало бы об этом знать, – и что там человек! Эрнст Теодор Амадей сам опубликовал заметки кота Мурра, продемонстрировавшего выдающиеся достижения в выражении неординарных мыслей. Но довольно пустых рассуждений. Res ipsa loquitur.

Автобиография Цахеса

Аристотель писал: «Но ты не страшись величия: иные родятся великими, иные достигают величия, а иным величие жалуется». Мне же последний пункт никогда не импонировал. Величие плохо соотносится со всем, имеющим один корень с «жалостью». Высокий статус беспощаден в первую очередь к тому, кто осмелился взобраться на пьедестал. Каждый, подбросивший себя высоко вверх, однажды должен упасть. Но величия я никогда не страшился, с рождения угадывая выпавший мне выдающийся жребий. Ведь само стремление к возвышенному сродни богопознанию. Это желание подняться из низости во прахе земном до сияющей славы небес и ангельского чина. И Бог на стороне рвущегося, идущего к нему. Как учит нас Библия: «Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Бог на стороне богоборца, о чём свидетельствует история Иакова. Служители же Бога оскверняют Бога, говоря от Его Имени то, о чём сам Бог их не просил.

Я родился в семье бедных крестьян, людей простых и нелепых во всех своих поступках. Однажды мой отец, перекапывая сад, нашёл в земле золотые монеты. Он мог бы вложить их в дело, истратить на образование или… ну мало ли ещё на что? «Деньги движут миром». В реальности же всё быстро пошло прахом. И мои несчастные родители скоро вернулись в своё обычное состояние, в глубокую и беспросветную нищету. Хотя, я полагаю, в глубине души они радовались такому повороту событий. Бедность им привычна, как и жалость к самим себе. А иное положение дел им чуждо. Человек должен уметь принять счастье, богатство. Не каждому это дано.

Бог не наградил меня высоким ростом и выдающимся телосложением. Во всём этом не угадывалось сходства с моими родителями. Один знакомый ботаник, – ах, сколь часто меня относили к растениям, принимая за мандрагору! – впоследствии мне рассказывал, это можно считать свидетельством того, что отец мой не является мне родным. Весьма вероятно, моя матушка согрешила с человеком чрезвычайно знатным, скорее всего, королём или императором. От этого и моя внешняя нескладность, – при моём зачатии соединились слишком различные натуры, конъюнкция которых не способна произвести на свет пропорционального и гармоничного телесного произведения.

Родителям я всегда был нелюб. Особо мать щедро одаривала меня обидными прозвищами, часто произнося их громко и публично. Я – и окаянный уродец, и ноги у меня паучьи, и хожу я плохо, и не говорю. И это в самом нежном возрасте! А речь… Я и правда не говорил с родителями, о чём прикажете беседовать с глупыми крестьянами? И, конечно, меня невозможно было впрячь в плуг. Ребёнок не может работать, но ест, – непростительный грех.

А между тем, всякому очевидно, величие в исключительности, в непричастности обыденному. И в неприглядном уродстве пытливый ум разглядит высшую отметину, указание на необычную будущность. Мне это с младенчества казалось очевидным. И весьма скоро пришла пора исполнения высокого стремления дум.

Мне было всего года два-три, когда моя матушка, проклиная меня и собирая жарким летним днём хворост, – а зимой такие собирают лёд, – уснула в лесу у дороги. Между тем известная фея Розабельверде, жившая в приюте для благородных девиц под именем фон Розеншен, приметила меня, возвращаясь с прогулки. Эта глубоко порочная дама, всю жизнь изворачивавшаяся и юлившая, скрывала о себе позорную правду. Она выдавала себя за благородную даму, но на самом деле являлась простой феей, фантазией непросвещённых сельских пустобрёхов. Таким не место среди просвещённых порядочных людей. Однако же Розабельверде обладал некоторыми фиглярскими способностями, и ей была присуща некоторая проницательность, я бы даже сказал, глубинное понимание реальной жизни, столь часто свойственное мифологическим, не принадлежащим реальному миру существам. Заприметив меня, фея разглядела мои глубоко скрытые выдающиеся дарования. Она бесцеремонно взяла меня на руки и принялась гладить, расчесала мои волосы. Я же от непривычной ласки уснул.

Скоро, пробудившись, мать разбудила меня, не дав порядочно выспаться и довольно бесцеремонно швырнула меня в корзину за своей спиной. Мы отправились домой мимо пасторского дома. Священник же, заметив меня, сразу опознал мои выдающиеся дарования. Но лишь он указал на них моей матери, ответом ему стал решительный протест. Родительница привычно ругала и порочила меня. Особо же её беспокоило моё желание укусить пастора за нос. Она не понимала глубины моих намерений. Я лишь хотел указать пастору, что нельзя совать свой нос в чужие дела. Да-да, уже в столь юном возрасте я умел поучать учёных. Впрочем, грубая несдержанность священника пошла мне на пользу, – он взял меня

на воспитание, уразумев ненависть ко мне моей собственной матери. Он даже поспешно бежал со мной в свой дом, заперев за нами дверь, спасая меня от настырной крестьянки.

Пастор оказался человеком абсолютно бездарным, неспособным достичь величия. В своём сострадании к ближнему он отказал себе в праве к борьбе за возвышенные идеалы и личные достижения. До сих пор тошно вспоминать его мерзкое благостное, лоснящееся от доброты и сала лицо. И эта дурацкая улыбочка! Но нужно отдать ему должное. Понимая, сколь великая судьба мне уготована, он взялся за моё образование. Кроме собственно обучения я усваивал и многие важные навыки. Мне даже довелось послужить волонтёром в кирасирском полку. А там столь преуспел, что устроился учителем верховой езды у офицеров и статских. Хотя многие нахваливали моё умение держаться в седле, сам я знаю о многочисленных недостатках. Их причина – мой маленький рост. Но сколько сил я положил, чтобы перебороть природу! Эта неустанная битва и сделала из меня гениального учителя, знающего все мельчайшие тонкости искусства верховой езды.

Человеку с высоким полётом мысли и глубоким взглядом на натуру пристало шлифовать естественные дарования, превращая грубый и твёрдый алмаз в блистательный бриллиант. И потому я отправился в прославленный Керепесский университет, дабы совершенствоваться во взаимодействии с величайшими умами современности. Там я быстро выказал успехи во всех науках. И тем самым я приобрёл себе немало друзей… и значительное число врагов. Люди в большинстве своём чрезвычайно завистливы. Самым нелепым среди моих злопыхателей, несомненно, был Фабиан, глупый и безвкусно одевавшийся злобный насмешник. Он казался бескорыстным. Ему просто хотелось досаждать мне. Это часть его нелепой натуры, как глупые нескладные фраки с неуместно длинными фалдами, которые он носил.

Самым же идейным ненавистником мне всегда виделся Бальтазар, мерзкий бездельник и посредственный поэтишка. Он часто бродил по лесам, избегая достойных, хоть и утомительных занятий. Он посещал лекции знаменитого ботаника Моша Терпина, лишь для того, чтобы совратить его дочь Кандиду. Однажды я публично представил стихотворение Бальтазара о любви соловья к алой розе. Восхищение моей блистательной презентацией оскорбило рифмоплёта. Бальтазар вообразил, что вся слава пристала лишь сочинителю. Но я лично считаю, что выдумывать может каждый и лишь великий умеет представить вещь в нужном свете, продать людям те или иные полёты фантазии. И величина моего успеха по сравнению с достижениями Бальтазара вполне подтверждает мои предположения. Тогда и непревзойдённый профессор эстетики Керепесского университета сразу отметил мои заслуги, проигнорировав Бальтазара.

Рифмоплёт взъелся, конечно, на меня и из-за любви ко мне Кандиды, дочери профессора Моше Терпина. Увидев её, я сразу понял, что мы созданы друг для друга. С первого взгляда я усмотрел начертания судьбы, а Кандида ответила мне взаимностью. Бальтазар же, нищий и бесперспективный студент, приписал всё колдовству. Сколь часто волшебство чистой любви выдаётся завистниками за тёмный мрак колдовства! А Бальтазар возомнил причиной всякой любви лишь внешнюю привлекательность, которой я никогда не обладал. Он повторил распространенную ошибку – проигнорировал истинное основание всякой любви, влечение родственных душ.

Конфликт у меня возник и с неким заезжим итальянским скрипачом Винченцо Сбькком. Вместо благодарности за моё блестящее представление его творчества он решил, что я отнимаю его славу. А это вздор. Пиликать на скрипке может всякий. А уж заезжему чужаку и подавно следовало бы вести себя скромнее. Я же обладал высочайшей способностью очаровывать людей. И кому было бы интересно пиликанье на скрипке, если бы я не сделал ему блистательную презентацию? Достиг ли бы Виченцо без меня хоть какой-нибудь минимальной известности? Не думаю. Впрочем, чего можно ожидать от клоуна?!. Как сказал Александр Македонский: «Не трогайте шутов и проституток».

Моим, если так можно выразиться, политическим соперником выступил референдарий Пульхер. Он руководствовался и личной обидой, – мы состязались за должность тайного экспедитора в министерстве иностранных дел. Я оказался лучше и победил. Пульхер же – плохой кандидат, лишённый всех необходимых способностей. Очутившись в стеснённых обстоятельствах, он надеялся поправить своё материальное положение, добившись выгодного вакантного места. А государственная служба требует полной самоотдачи. Чиновнику следует пожертвовать всем ради блага государя. Здесь нет места личным интересам.

Я, понимая всю ответственность, двигался вверх по служебной лестнице, быстро достиг положения министра иностранных дел и стал кавалером ордена Зелёно-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами. Я шёл вперёд, не оглядываясь назад. Моя бодрая самоуверенность проистекала от внутренней силы, коей должен обладать достойный государственный муж. И я провёл целый ряд болезненных, но необходимых реформ, устраняя хаос, существовавший до моего прихода в политику. Теперь каждый человек обязан доказывать свою принадлежность к человеческому роду соответствующей справкой, выдаваемой в канцелярии. Каждый честный гражданин обязан носить на голове шляпу, а на ногах обувь. Носящий же на голове обувь, а на ногах шляпу теперь вне закона. Величие тоже при мне поступило на государственный учёт.

Теперь только князь вправе определять степень величия человека. Это лишь некоторые образцы моих мудрых деяний. Всё перечислять не стану. Документы и добрая память послужат мне порукой и истинными свидетелями.

К сожалению, мудрый князь Пафнутий не довёл когда-то прогрессивные реформы до своего логического завершения. Не справился с этим и я. Всевозможные зловредные волшебники и легкомысленные феи тайно оставались в стране. Им была ненавистна моя прогрессивная политика, воплощённая в моём девизе «Истина – это словесно изложенная научная система». В конечном счёте, моя бывшая покровительница фея Розабельверде вступила в преступный сговор с народным целителем Проспером Альпанусом ради нарушения общественного порядка и остановки моих благотворных реформ. И вот теперь я нахожусь в своём доме, окружённом толпой смутьянов и пишу эти записки для потомства. Надеюсь, всё ещё наладится. А если нет, величие моё сохранит память обо мне в веках. С умиротворённым упованием на лучшее взираю я на туман грядущего. Да будет воля моя.

ВЕРА ЗУБАРЕВА

ПО КОМ ГУДЯТ СУДА…

Памяти Евгения Голубовского

Я знаю: порт приписки лайнера «Вера Зубарева» – это Одесса.
Е. Голубовский

***

Всемирные одесские друзья…
Забросило нас в разные края
По вертикали и горизонтали
Земной и занебесной дали.

Как много моря утекло с тех пор!
Но так же мы ведём наш разговор
На языке хоть разном, но едином,
И на всеобщий не переводимом.

Нас не разбить, и не построить в ряд.
Не догмы нас, а улицы роднят
И лозы виноградные, что льются
С балконов, оплетая всё подряд.

Покуда вьются – старый дворик жив.
Всё остальное – это строй души.
И по нему узнали мы друг друга,
И по нему друг к другу мы пришли.

У нас своя волна и частота.
Там и про то, по ком гудят суда,
И кто пришёл, кто навсегда остался,
И кто ушёл, оставшись навсегда…

***

Вход с улицы, и затуханье вечера,
Шум голосов…
И думаешь: ну что здесь вечного?
Да всё, да всё –
Что помнилось и что забылось вроде бы,
Сверкнув на миг,
И перемены в море, в Городе,
И в нас самих,
И тот маяк, с историей повенчанный,
Аэродром,
На тротуаре, как сосуды, трещины,
Письмо домой, что так и не отвечено,
И поиски ответов под пером…

***

И двор во тьме, и неизвестно,
Откуда лестница растёт,
И коль заснёшь под скрип древесный,
То видишь сны про пароход.

По палубе съезжают звёзды
Под взлётами волны лихой,
И пароходу ох не просто,
И капитану нелегко.

И только ты ему в подспорье,
И дом-корабль тобою жив.
А лестница растёт из моря.
А море – из твоей души.

***

Где за морем солнце зашло,
Прошлое звезду разожгло.

Свет имён зажгли корабли,
Вспомнив, как их встарь нарекли.

И тревоги прежних недель
Отступили, сели на мель.

И сигналил Города знак –
Верный Воронцовский маяк.

***

Одесса – архетип Города.
Марина Кудимова

Куда судьба ни заносила нас!
В Италию (родился Дерибас),
Во Францию (Дюк Ришелье, и там же –
Великолепный Ланжерон. Не путать с пляжем!),
В Германию и Австрию (как в Вене,
Наш оперный скроили Гельмер-Фельнер,
Но получилось во сто крат роскошней),
И в Грецию, и в Турцию, и в Польшу…
И что открыли эти переезды?
Вся карта мира – справочник Одессы.

***

…А когда наступает вечер,
Прибывают к морям берега,
Подключается память-диспетчер,
Отправляется сон в бега.

Сквозь ночного тумана завесу
Брезжит парусник-пилигрим.
Все дороги ведут в Одессу,
Что бы там не рассказывал Рим…

***

Кто шёл, внимая Аарону,
Что был Моисеев микрофон,
А я иду по Ланжерону
Который год, который сон.

Песок, прохлада, путь размечен,
Причалил к берегу баркас.
И неизменно место встречи
У двух шаров в рассветный час.

Мне память – шкипер. Вместе с нею
До цели, кажется, чуть-чуть.
Но путь во времени длиннее
И горше, чем в пространстве путь.

Поёт в прибое ночь слепая,
К шарам ведёт по слуху сон.
И лишь рассвет не наступает.
Не наступает, вот и всё…

***

Я жил тогда в Одессе пыльной…
А.С. Пушкин

Он был тогда с собой в разлуке,
И разлезалась жизнь по швам,
И он мечтал о Петербурге,
И снег не шёл, и карта шла,
Кареты хлюпали по грязи,
Сводила оттепель с ума,
И лишь в театре по заказу
Стояла снежная зима.
Как будто дело было в снеге…
Томил и город, и причал,
И он немного был Онегин,
Немного Ленский и скучал.
Всё было чуждо – разноречье
И моря Чёрного разгул.
И он мечтал о Чёрной речке
На том скалистом берегу.

***

Я первый в мире лоцман, который ввёл в порт судно, сидя на его трубе! – воскликнул Ким Зиновьевич Беленкович,
оцман Одесского морского порта. И это была сущая правда.
И. Ляндрес, «Лоцман на трубе»

Памяти отца

И впрямь, ну что это за море –
Пляж с зонтиком над головой –
Для тех, кто часть его истории
Девятибалльной, штормовой!

В него отцы ныряли полночью,
Когда все судьбы на кону,
Когда и шторм взывал о помощи,
Когда и звёзды шли ко дну,

Когда гудели в периодике
О затонувшем корабле,
Когда отец стоял на мостике,
Приваренном к его трубе.

Всех в мире мостиков был выше он
И ближе к звёздам и судьбе.
И лоцман, как скрипач на крыше,
Исполнил соло на трубе.

Порт переполнен был по поводу
Дня окончания невзгод,
И лоцман продвигался к Городу
И выводил корабль из вод,

И думал: к чёрту околесица!
Что натиск штормовых атак,
Коль есть Потёмкинская лестница
И светоч Города – маяк?..

***

Вот и вечер. Улица остыла.
А была с утра ещё тепла:
Кот готовил нападенье с тыла,
Карауля птиц из-за угла,
Дуло с моря, открывались окна,
Дом звенел рапирами лучей,
Дворника всевидящее око
Проницало бренный мир вещей,
Возвращался день, отец с дежурства,
Будто детство дало задний ход,
И шептала комната: зажмурься,
Ну ещё немного – и войдёт…

ПРИТЧА

Наступили тёмные времена.
За окном – непроглядней морского дна.
Во дворах залегла тишина.

…И отец возвратился
Из дальних морей.
С ним причалило прошлое, встало на рейд
И зажгло луну во дворе.

И дивились в соседних дворах – как светло!
И всю ночь восклицали – вот повезло!
А к утру у всех рассвело.

И дворы убедились:
Никаких чудес.
Просто в каждый вернулся отец.

***

Храни моих друзей,
Что с каждым днём ранимей!
Февраль по всей земле,
Безудержна зима,
Дорогу занесло…
И встретиться ли с ними,
Когда сирены вьюг
И в мире кутерьма?

Лёд ветки по стеклу
Стучит в моё зазимье.
Что ветка без ствола?
И ствол что без корней?
Что корни без земли?
И что земля, коль имя
За пахотным трудом
Так и не дали ей?

Что Слово, если слух
Ещё не пробудился?
А всё вокруг в огнях,
Всё в звёздах, всё в цвету,
И день шестой грядёт
Из глиняной темницы…
Но наберёт ли смысл,
И дух, и высоту?

Поёт метель псалмы,
И на сугробе риза,
И ели ледяной
Качается собор.

…А в день шестой был снег,
И снеговик лепился
Из облачной мечты.
И лепится с тех пор…

***

Если что, буду жить в Таганроге,
По утрам ходить на Азов,
Где ветра ураганят с дороги
И заводят песни без слов,
И внимать им, друзьям по кочевью,
И смотреть, как резвится вода,
Или с чайкой плыть по теченью,
А теченье знает, куда.
И быть может, где в вечном дозоре
Корабли охраняют восход,
Вдруг привидится Чёрное море
На границе небес и вод…

ЛЕВ ЛИБОЛЕВ

КЛЮЧИ ОТ ВСЕХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛ

МОРФЕЙ ИЮЛЯ

Всё чаще днём желается прилечь,
Морфей июля вновь коснулся плеч,
диван зовёт – по возрасту потеха.
Реальность подменяя сном дневным,
является безвестный аноним,
похожий на вернувшееся эхо

досужих, подсознательных обид –
никто по нам, хорошим, не скорбит,
а совесть анонимна и незрима.
Ночами плохо спится, а с утра
мы курим, кофе пьём, Et Cetera,
и зеркалу являемся без грима.

Кошмар и ужас, лето на носу,
и каждый мыслит – сам себя несу,
поддерживаю, пестую, лелею.
Набор лекарств похож на карту вин,
а выросший давно из сына свин
привёл очередную Лорелею.

Поди усни под их переполох,
ведь раньше ты и сам бывал неплох
в делах амурных, было, чем гордиться.
Но совесть-аноним предъявит счёт –
у сына в жилах кровь твоя течёт,
а кровь, как всем известно, не водица.

Ты радуешься подвигам его,
девица, неземное существо,
звезда, шалунья, что ж – привет, Вертинский!
Пора вздремнуть, знаток июльских фей –
нашёптывает истово Морфей –
ложись и спи, во сне подушку тискай.

Мы снами окорачиваем дни,
нас много, только мы всегда одни,
а общество себе подобных мнимо,
как следствие бессонницы ночной,
когда кричишь душе – побудь со мной,
побудь хотя бы в роли анонима.

Но нет, как нет, душа уязвлена
коротким сном, и в том твоя вина,
остался лишь малюсенький резонец –
ещё уснём навечно, и тогда
привидятся бессонные года
и сладость упоительных бессонниц.

ШЕКСПИР И ШИЛЛЕР, И ДЮМА

Не Англия, но чем-то схожа с ней,
не внешне, только внутренне. Прикину,
что их роднит… Но разница сильней,
как будто воробей клюёт мякину,
себя позволив ловко провести.
Шотландский скотч, баварские сосиски –
что может их роднить? Как травести,
на эту роль попробуй, напросись-ка,
напялив килт цветастый вместо шорт
из кожи – не призн*а*ют и свои же.
Увидят, скажут – этот малый жжёт,
нет правды на земле, но нет и выше.
И ты стоишь, чужой, что здесь, что там,
пытаясь докопаться – в чём же схожесть,
стараясь всё расставить по местам,
от их несовместимости скукожась.
И вдруг – дошло! Под вечер – полутьмой,
безлюдностью они похожи очень,
все улицы, кварталы, боже мой,
ты, видно ими слишком озабочен.
Уютом их, игрушечностью их,
ухоженностью их домов тенистых.
Любой из них – почти библейский стих,
но числится зачем-то в атеистах,
пускай и не воинствующих, нет.
Европа спит, наевшись до отвала
всего, что предлагает интернет,
храпит во сне, посапывает вяло.
Тут спят Шекспир и Шиллер, и Дюма,
не знающие страха и упрёка,
и окнами уютные дома
с утра на мир посматривают строго.
Здесь царствует всё тот же самый быт,
как будто звук плетей и зуботычин,
и каждый луг июньским ветром взбит,
и каждый шрифт неясен и готичен.
А женщины – хоть воду пей с лица,
одна полна, другая, как былинка.
На каждом поле каждая овца
похожа на бродячую волынку.
И всё-таки мы все чужие здесь,
прижившиеся частью еле-еле,
а в каждом встречном чудится Дантес,
что в Пушкина стреляет на дуэли.

УТРАТА

И не надо читать Овидия и Сократа –
не библейское это дело, и значит, чтоб
осознать на деле, как страшно звучит – утрата,
нужно просто вытерпеть и пережить потоп.
Загребать на лодке, в горсти зажимая эго,
там по пояс, а тут по плечи, куда пойдёшь?
Всё, что можно – бить кулаком по стене ковчега,
продираясь молча сквозь панику и галдёж.
Что там греки, римляне, этого не воротишь,
раскисают книги, забытые под водой,
а вот в Библии что-то было про Ноя, вроде ж –
сам читал, когда был наивный и молодой.
Там по паре каждой почти утонувшей твари,
а с другими как же – с детишками да скотом?
С пианино старым, со скрипочкой Страдивари,
да с концертным фраком, прикупленным «на потом»?
С огородом, садом, со всем, что тебе земное,
что водой покрылось и молча ушло на дно,
попрощайся, это утрата, спроси у Ноя,
он ответит просто – нам выбора не дано.
Потому что вольные воды зашлись напевом
о делах, которые некогда были здесь,
о другом потопе, случившемся в сорок первом
под приказ главкома и взорванный Днепрогэс.
Этот слаб, ни с тем не сравнить его, ни с библейским,
ни к чему Овидий, не нужен тебе Сократ,
города уходят под воду теперь не с блеском,
а рутинно как-то, так многие говорят.
На ковчеге столпотворение, музыкантам
не до скрипок и пианино – все мысли вплавь.
Ной молчит, он в кителе, брючины с алым кантом,
коль повышен в звании, значит, будь добр, возглавь.
Он глядит в оркестр – там ни выдоха нет, ни хрипа –
на патроны медь, духовые в расход пошли,
там, где нет воды – без воды подыхает рыба,
там, где нет земли, никому не найти земли.
Не идёт Спаситель, спасателям нет учёта,
кто живое спас, тот и грех замолил уже.
Где Сократ с Овидием? Им написать бы что-то
про утраты, что поспособствовали душе.
Им сравнить бы этот и прошлый с библейским что ли,
повторится всё, не забудется ни о ком,
и пора бы всяким искателям лучшей доли,
научиться тихо идти по воде пешком.
Ной молчит, считая – уж лучше вода, чем пламя,
что уже погибло, тому не бывать мертвей,
и вода стоит над разбитыми куполами,
над крестами всех погребённых под ней церквей.

ЛЬВЫ С НЕВЫ

Потом к тебе приходят львы с Невы –
привет от «африканца» Гумилёва,
он прошлое, мы с ним теперь на Вы,
на «ты» – нельзя, осталось только слово.

Из тех июней, где ни школ, ни парт –
каникулы, веселье и безделье!
Равнял нам кости век-остеопат,
а мы его терпели еле-еле.
По тридцать мамам, «с хвостиком» – отцам,
в программе Гумилёв, но без расстрела,
что хочешь знать, того добейся сам,
в умах разнообразие пестрело –
ах, сколько флагов, час на сбычу мечт,
из всех религий – опиум народу.
Но как же нас роднил «не мир, но меч»,
слова, преобразованные в оду
партийным боссам, бонзам и вождям.
На львов охота – хлопотное дельце.
их в Питере расставишь, ну, а там,
на слово Гумилёва не надейся –
расстрелянных обратно не вернёшь,
хотя напоминают неустанно,
что в каждом слове спрятан «в сердце нож»,
и реквием не зря писала Анна.
Каникулы, июнь, у невских львов
который век оскаленные морды –
им видится убитый Гумилёв,
до наших дней не вышедший из моды.
Отцам за сорок, меньше матерям,
ахматовское сумрачное, вдовье.
Засилье слов, словесный стыд и срам,
беззвучье птиц, покинувших гнездовье.
В нём всё, что ты когда-то не прочёл,
скучая, плечи острые сутуля…
И только жуткий запах мёртвых пчёл
плывёт из поэтического улья.

НИКАКОЙ ЭКЗОТИКИ

Человек человеку не волк,
но и братом не станет, я думаю.
Время лечит от разных тревог,
по годам разметав суету мою.
Вдоль вокзалов, железных дорог
однопутными бьёт перегонами –
делай выбор – вот бог, вот порог.
Акты делаются подзаконными,
проходя через каждый перрон –
акт о встрече и акт о прощании.
Будто прения разных сторон
и оргвыводы, часто – нежданные.
Было всяко – и волки в степи,
и какие-то люди, но люди ли?
Были те, кто срывались с цепи,
кто злословили да рукоблудили.
Жизнь пугала то солнцем, то льдом,
то безветрием, то непогодами –
вот войной изувеченный дом,
вот квартиры, что стали негодными
для житья, для ночлега хотя б.
Оставляли, прощались и ехали.
Время быстро меняло масштаб,
что запомнилось – голос ли, эхо ли

той эпохи, забытой давно?
Жизнь сильна подзаконными актами.
Вот и женщина смотрит в окно,
подпирая плечами покатыми
нашу память и то, что за ней –
поколения и поколения.
И фантомные боли сильней –
тут и мёртвые, тут же и пленные,
и пропавшие без вести тут.
И живые, конечно, а всё-таки
солнце выжжет, ветра заметут –
ничего, никакой здесь экзотики.
Только женщина, медленный жест –
крест кладёт вслед любым проезжающим.
И улыбка – блаженство блаженств,
свет небесный над чёрным пожарищем.

ЙЕТИ

Оставлены дома и города,
любовь, надежда, вера, всё на свете.
Как запросто мы ехали туда,
где можно забывать все вещи эти,
на всё и вся легко махнув рукой.
Мосты горели, плавились ограды.
Сменив почтовый ящик на другой,
бывали мы достигнутому рады.
Есть новый дом, есть новые ключи,
глазок в дверях, небьющиеся окна,
захочешь переехать – не молчи,
кричи – опять сервиз на счастье кокну,
тот, старенький, на множество персон -
иных уж нет, а прочие – далече…
Ты – йети, дом в горах давно снесён,
и время опускается на плечи,
как будто прошлых лет нелёгкий груз…
Ключи на пальце, горький опыт стажа.
И каждый думал – после разберусь,
и каждый знал – беда одна и та же –
другой язык, другая карта звёзд,
но где же отыскать любовь другую?
Торгуешь тем, что *из* дому привёз,
а вот любовь… Я ею не торгую –
она, как я, лохмата и страшна,
ну что поделать, нравится такая.
И всё б тип-топ, когда бы не война,
и мы опять спешим, баул толкая
давно не знавшей обуви ногой,
к перронам, трапам, сходням, забывая,
что всяк переезжающий – изгой,
принявший птичью трель за трель трамвая,
забыв язык, в трёх соснах заплутав,
из библии запомнив – брат на брата…
Свисток – и отправляется состав,
и нет пути отверженным обратно.
Два йети, прислонясь плечом к плечу,
вздохнут – убийца Каин, мёртвый Авель…
А я ключи звенящие верчу
от всех домов, которые оставил.

ТАБУРЕТКА

И мебель больше не нужна,
лишь табуретка старая
стоит, как хмурая жена –
жена гуманитария.
Его ругавшая всегда
за лень и немочь бледную,
и речь её – одна вода,
но я ей вечно следую
в делах, писаниях моих,
с поджатыми коленями.
Мы так зовём себя самих –
беспомощными, бледными.
В себе лелея технарей,
работников, стяжателей.
А жёны пилят нас острей,
настойчивей и тщательней.
Любимые, пришла пора
о чём-то призадуматься,
ведь каждый был ещё вчера
и паинька, и умница.
И знал, зачем и чем живёт –
все ласковые, милые.
А тут скандал, грядёт развод
и девичья фамилия.
Вот кто бы знал, к чему придём,
что в жизни не заладится,
в груди любовь сидит гвоздём,
таланты – шилом в заднице.
Безденежье и неуют,
доведшие до кризиса,
но если счастье не куют,
оно на вас окрысится.
И жёны будут вечны грызть,
и мебель будет брошена.
Принцесса с именем «корысть»,
ей бедность, что горошина.
Не нужно спорить с ней, ни-ни,
а с женщиной – тем более.
Свою наивность сохрани,
перо, тетрадь, сенполию.
И табуретку из ольхи,
она всему предвестница.
Мальчишкой – чтоб читать стихи,
а взрослым – чтоб повеситься,
забыв про вечное – авось
на жизненной распутице…
Но то, что колет, словно гвоздь –
то вряд ли позабудется.

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ

НА ЛАДОНИ ВЕРХОВНОГО ТАМОЖЕННИКА

КОНТРАБАНДИСТЫ

через ночное шереметьево
папа вывез в кармане дедовы ордена
дед надрезал подкладку
и вывез бутылку столичной
я вывезла трёхлетку
засыпавшего под затёкшим крылом
засыпанного баулами
муравьи на ладони
мы муравьи на ладони
Верховного Таможенника
но в тот день он уже насытился.

МАКУЛАТУРА

слова это лишь слова
макулатура обменивалась на книги
тонкий намёк на толстые
многотомные обстоятельства
тонкий и толстый
отдам тонну газет за том «бесов»

бiсова система
мелиха
молохова свора
«поэма без героя» напечатана на отходах
картонажной фабрики
«декамерон» продан за подписку в нагрузку
«повесть о сонечке» на маковом зернышке
иммакулат макулатуры
отдам тонну лжи за честную
чистую бумагу

МАШЬ

Иногда я становлюсь неудобным белым
белой
или
розовой неудобной мышью
недоношенной машью
незаконной дочкой слона
полевые мыши ждут меня как Мышиаха:
что-то я притащу из магазина?

мозг не в силах вместить
осознать все мои вселенные
слон не в силах вместить
ни защитить меня
он для меня загадка
какой слоновий инцест привёл меня в этот мир?
вот поймает мир в mousetrap
а после
после меня останется на тротуаре
мышь, растоптанная слоном

ХРОНИКИ БАТУМСКОГО ДЕЛЬФИНАРИЯ

Летний день, полузабытый Кавказ.
Дельфинарий – забава из детства
В самой счастливой стране.

Нет ничего странней
Дельфинов, выпрыгивающих поглазеть
На нас, на гостей.

Дети пришли приобщиться к подводным соседям.
Па-де-де по воде. Все нормальненько.
Воспитание чувств дельфинарием.
Покормим, поулюлюкаем, в глаза им посветим.

На трибунах рассаживаются.
Мамы-папы, чай, прочат в Нероны,
В будущие Калигулы
(Оп-ля! Всплеск. Сопли, визг)
Человечьих детенышей на каникулах.
Дети, не крошите в аквариум шоти,
У дельфинов своё питание,
Может быть несварение.
Я не знаю, чего вы ждёте –
Дельфиньего представления?

Амфитеатр, контролер в полиэтиленовом кимоно.
«QR-код проверяем: билеты в порядке?»
До начала дельфины, с их детским умом,
Играют в подводные прятки.

Узбеки играют в нарды.
Якут запрягает нарты. Покорны народы.
Привилегия люда подводного –
Из водоема А по трубе
Направляться в Б, где
Им будет вольготнее.

Плавучие психопаты,
Дельфины, не помнящие родства.
Плечо вперёд, рассчитайсь, раз-два.
Хроники тихой палаты,
Казахские дети в эпигенезе,
ампутанты и олигофрены.
Полигоновы пасынки
Так похожи на Полифема.

Может, эти дельфины – отражения
ядерных испытаний где-нибудь в океане,
уродливые обрубки
В целом удачной системы.

Па-де-труа втрое круче, чем па-де-де.
Три дельфина как тройка безруких детей.
Птица-тройка скручивается в пике.

Трупы безруких детенышей,
Непонятых, как дельфины,
Прячут где-нибудь в Караганде.

Дрессировка. Дело за малым.
Но сорвалось на этот раз:
Дельфины в ужасе смотрят вас.
Братья и сестры, отторгайте
Чуждый, донный биоматериал.
Что не переработаем, то отошлем за моря.

По волне прыг да скок.
Где у них болевой порог?
Кнут да пряник. Хорошо, что так –
Хотя бы не ток.
Впрочем, их в море навалом,
Не заморачивайтесь малым,
Наловим других,
Нарожают ещё
Дельфиньи их матеря.

НОЧЬ. ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ Р. МАЛИКА

Ночь устала вслушиваться в пасторали
Извращенца, лишенца, подлеца.
Иностранная девка с цветастым паспортом,
Ночь сбегает из-под венца.

Эхом множится одиночество
И сверкает чернильными пятками.
Чёрной чеканкой ночи
Пальцы рассвета запятнаны.

Ни худая гряда, ни летучие мыши-воровки
Не припомнят, как жили здесь до войны.
Ночь будет поймана и развешена на веревке,
Как забытая шаль вдовы.

***

Вот простой пейзаж, вот пейзаж простой:
Поле боли, бывший комплекс жилой,
Где земля скудна, где улитка с невинною простотой
Проверяет, если ли здесь кто живой.
Тянет нитку слизи из живота,
Свет ей застит пуговица или нога.
Липкой губкой по шеям, щетинам, щекам.

Не страшится беременная жильём
Милосердная эта сестра:
Там и сям покажется, здесь и там.
Подлатает раны и вам, и вам.
Потерпи, сестра: будет почва жирна.
Станут почвой, и станет она жирна,
Аппетитна трава.

Зеленее кладбище за селом,
Но дорога сквозь папоротник и бурелом
Не по силам ей. Долгий, тягучий сон
Ей рисует травку и чернозём,
Где слизняк, такая же мокрая голова,
Вышивает крестиком по крестам.
Как пуста её простота!

Где пройдёт улитка, там не пройдёт никто.
Где пройдёт улитка, там остановлен день.
Лава улитки осваивает холмы,
Стрелы улиток – росписи на слюде.

«Равлик-павлик, непрочная скорлупа,
Высунь ножки…». Разве я не права?
Гастропод гастроподу не раз и не два
Эту присказку повторял.
«Не спеши, от Фудзи не уползёшь».
Смертоносных «Тюльпанов» насмешка, ложь.
Равлик бедный, лишь ты живёшь.

Вот ползёт улитка, и будет толк:
Для гурманов нагуливает жирок.
Собирать улиток в большой лоток –
Это участь тех, кто собрать не смог
Вече, не перекричал белый шум ассамблей,
От убийц не прикрыл людей.

Стой, русалка, покинувшая водоём,
Стой, стаканчик с мороженым кверху дном!
Покоряя Фудзи, сверни себя
И помедли на теле моём.

Слизь слезой на щеке, вера в мир мертва.
Пожинай пейзаж, поклоняйся полым стеблям.
Где резвей резня, там не вырастет ни фига,
Лишь четыре стежки сквозь дым и гром
Проминаются под животом.

Проползай, сестрица, лей тягучее молоко
Из Нанкина в Бучу, от Мариуполя до Гленко.
Склон вулкана достоин твоих следов,
Эскарго ты моё, эскарго.

ЭЛЬДАР АХАДОВ

с переводом Иванэ Ментешашвили на грузинский язык

СКАЗАНИЕ О ГРУЗИИ

Сверкают солнечные горы,
Шумят прибрежные просторы,
Лазурь небес ласкает взоры,
Не умолкай, поэт!
Сквозь бездну лет, как Атлантида,
Тебя приветствует Колхида,
В эпоху Зевса и Аида
Здесь правил царь Ээт!

ელვარებენ მზიანი მთები,
სანაპირო სივრცეები ხმაურობენ,
ცის ლაჟვარდი მზერას ეალერსება,
ნუ დადუმდები, პოეტო!
საუკუნეების უძირო სივრციდან ატლანტიდის მსგავსად,
შენ კოლხეთი გესალმება,
ზევსისა და აიდის ხანაში
აქ მეფე აიეტი მეფობდა!

Мелькала ветреная Геба,
И лился дождь из кубка неба,
И, как гласит «Картлис Цховреба»
Для каждого из нас:
Как утра свежего сиянье,
Презрев столетий расстоянья,
Словам грузинским написанье
Дал мудрый Фарнаваз.

გაიელვებდა მქროლავი გება,
ზეციური თასიდან წვიმა იღვრებოდა,
და როგორც „ქართლის ცხოვრება“ ბრძანებს,
თვითეული ჩვენთაგანისთვის:
როგორც დილის გრილი ბრწყინვალება,
ასეულ წელთა მანძილის მიუხედავად,
ქართულ სიტყვას წერილობითი ხატება
უბოძა ბრძენმა ფარნავაზმა.

Как из земли лоза витая,
Зарёю юной расцветая,
Явились нам Нино святая
И вера христиан.
С ней здесь рождались и седели,
Молились, плакали и пели,
И возвели Светицховели
По воле Мириан.

გაიელვებდა მქროლავი გება,
ზეციური თასიდან წვიმა იღვრებოდა,
და როგორც „ქართლის ცხოვრება“ ბრძანებს,
თვითეული ჩვენთაგანისთვის:
როგორც დილის გრილი ბრწყინვალება,
ასეულ წელთა მანძილის მიუხედავად,
ქართულ სიტყვას წერილობითი ხატება
უბოძა ბრძენმა ფარნავაზმა.

В стране Вахтанга Горгасали
Под небом цвета цинандали,
Где «гамарджоба, генацвале!»
Звучит со всех сторон,
В ответ повсюду то и дело
«Живи и здравствуй, Сакартвело!»
Могучий хор поёт умело
Под колокольный звон!

ვახტანგ გორგასლის ქვეყანაში,
წინანდლის ფერ ზეცის ქვეშ,
სადაც გამარჯობა, გენაცვალე!
ყოველი მხრიდან მოისმის,
ხოლო პასუხად ყველგან და მუდამ კი
„იცოცხლე და იდღეგრძელე საქართველო!“
ამას მღერის ოსტატურად ძალოვანი გუნდი
საეკლესიო ზარების გუგუნის თანხლებით!

Земли отеческой хранитель,
В сраженьях грозных победитель,
Великий царь Давид Строитель,
Защитник и святой –
Там, где Шавтели и Петрици,
В Гелати всем велел учиться,
Чтоб светом знаний озариться
В век Картли золотой!

მამა-პაპათა მიწის მფარველი,
ბრძოლებში მრისხანე გამარჯვებული,
დიდი მეფე დავით აღმაშენებელი,
დამცველი და წმინდანი -
იქ, სადაც შავთელი და პეტრიწი ბუდობდნენ,
გელათში უბრძანა ყველას ესწავლათ,
რათა ცოდნით გასხივოსნებულიყვნენ
ქართლის ოქროს ხანაში!

Не зря Цокали и Джакели,
И витязь слова Руставели
Стремились вместе к общей цели
С царицею Тамар:
Достигла Грузия расцвета
Во время солнечное это,
И слово звонкое поэта
Досталось миру в дар!

ტყუილად არ ისწრაფოდნენ ერთი მიზნისკენ
ცოკალი, ჯაყელი და
სიტყვის რაინდი რუსთაველი
თამარ მეფესთან ერთად:

საქართველო აყვავდა
ამ მზიურ ხანაში
და პოეტის წკრიალა ხმა
საჩუქრად ერგო ქვეყნიერებას!

И зодчий Ута Арсукидзе
И летописец Давитисдзе,
Вы, словно Господа десница,
По жизни нас вели!
Над суетой земной подняться
Зовут нас строки Чахрухадзе,
И сам Георгий Саакадзе
Приветствует в дали!

დიდოსტატი უტა არსუკიძე,
მემატიანე სუმბატ დავითის ძე,
თქვენ, ვითარცა უფლის მარჯვენა
მიგვიძღოდით ცხოვრების გზაზე!
ჩახრუხაძის სტრიქონები მოგვიწოდებენ
ავმაღლდეთ წუთისოფლის ამაოებაზე,
და თავად გიორგი საკაძე
შორიდან მოგვესალმება!

Звучит взволнованная фраза
Царя-поэта Теймураза
И эхом среди гор Кавказа
Не молкнут голоса
Вахушти и Амилахвари,
И вновь словесный пир в разгаре,
А в храм Метехи в Авлабаре
Нисходят чудеса!

მეფე-პოეტის თეიმურაზის
ამაღელვებელი ფრაზა ისმის
და კავკასიის მთებს შორის ექოსავით
არ დუმდებიან ვახუშტისა
და ამილახვრის ხმები,
და კვლავ სიტყვიერი
ნადიმის განცხრომაა,
და ავლაბარში, მეტეხის ტაძარზე
სასწაულები ზეგარდმოდის!

Когда заводят круг перхули
Или танцуют на церули,
Иль слышен свадебный картули
А следом – Алило,
Звенят пандури и чонгури,
И в ритмах джута и сванури
Грузинской песенной натуре
Душевно и светло…

ფერხულში რომ ჩაებმებიან,
ან წვერულით რომ ცეკვავენ
ან საქორწილო ქართული ისმის
და მას ალილო მოყვება,
ფანდური და ჩონგური წკრიალებენ,
ჯუთისა და სვანურის რითმში
სალბუნი და ნათელი ედება
ქართულ მღერალა სულისკვეთებას...

Минувших распрей опыт горький
Учли Ираклий и Георгий
И обратили взор свой зоркий
К соседской стороне,
В которой в это время правил
Неугомонный духом Павел.
Сосед решенье их восславил
И оценил вполне.

შუღლის მწარე გამოცდილება
გაითვალისწინეს ერეკლემ და გიორგიმ
და თავისი მახვილი მზერა
მიაპყრეს სამეზობლოს,
სადაც იმ დროს მართავდა
დაუდეგარი პავლე.
მეზობელმა მათი გადაწყვეტილება განადიდა
და სრულად შეაფასა.

А среди гор поэты жили
И цвет небес в сердцах носили,
Как Николоз Бараташвили,
Влюблённый в синеву,
И повторяли то и дело,
Как Эристави и Пшавела:
«Живи и здравствуй, Сакартвело!
И славься наяву!».

მთებში კი პოეტები ცხოვრობდნენ,
გულით ზეციურ ფერებს დაატარებდნენ,
როგორც ცისა ფერში,
ლურჯ ფერში შეყვარებული ნიკოლოზ ბარათაშვილი,
და გამუდმებით იმეორებდნენ
როგორც ერისთავი და ფშაველა:
„იცოცხლე და იდღეგრძელე საქართველო,
და იდიდე ცხადში!“

Кто предан родине доселе –
Снял все сомненья Церетели,
А Чавчавадзе – и на деле
Явил своей судьбой,
А гениальный Пиросмани
Не стал чайханщиком в духане
Иль сомелье Вазисубани,
Он был самим собой.

ვინ არის სამშობლოს ერთგული დღემდე –
ყველა იჭვი განაქარწყლა წერეთელმა,
ჭავჭავაძემ კი საქმით
თავისი ბედ-იღბლით წარმოაჩინა ყველაფერი,
ხოლო გენიალური ფიროსმანი
დუქანში მეჩაიედ არ იქცა,
ან ვაზისუბანში დახლიდარად,
ყოველთვის საკუთარ თავად რჩებოდა.

Войной всемирной годы плыли,
Как облака, но их сменили
Жордания и Рамишвили
На вольный стяг страны!

Свободы солнце на просторе
Повсюду воссияло вскоре:
Как борджгали над Гегечкори
В объятиях весны!

მსოფლიო ომის წლები მიდიოდნენ,
როგორც ღრუბლები მიცურავენ, მაგრამ ისინი შეცვალეს
ჟორდანიამ და რამიშვილმა
ქვეყნის თავისუფლების ალმით!
თავისუფლების მზე სულ მალე
გაბრწყინდა გარემოში:
როგორც ბორჯღალი გეგეჭკორის თავზე
გაზაფხულის მკლვებში!

Птенцы училища Чхеидзе,
Защитники родной столицы,
Народ на вас готов молиться,
Ребята-юнкера…
Мазниашвили с Квинитадзе
Вели вас за Отчизну драться,
Спасать своих и не сдаваться,
Как Маро-медсестра!

ჩხეიძის სასწავლებლის ბარტყები,
მშობლიური დედაქალაქის დამცველები,
ხალხი მზად არის თქვენზე ილოცოს,
იუნკერო ბიჭებო…
მაზნიაშვილი და კვინიტაძე
თქვენ სამშობლოსათვის ბრძოლაში მიგიძღოდნენ,
რათა თქვენიანები დაგეცვათ და გადაგერჩინათ,
ისევე, როგორც მარომ - მოწყალების დამ!

Нам не забыть Такаишвили
И Кайхосро Чолокашвили,
Они страну свою любили
И посвятили ей
Всё с самых первых дней сознанья
И до последнего дыханья –
Не для наград или признанья
От Родины своей…

ჩვენ არ დავივიწყებთ თაყაიშვილს
და ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილს
მათ თავისი ქვეყანა უყვარდათ
და მას მიუძღვნეს მისი
გაცნობიერების პირველივე დღიდან
ბოლო ამოსუნთქვამდე –
ჯოლდოებს ან აღიარებას
არ ითხოვდნენ სამშობლოსაგან…

Их было много, очень много
Смотрящих вслед светло и строго,
Во имя совести и Бога,
И первых христиан…
Так жгли свинцовые метели
Живое сердце Ахмети,
А вслед ему уже глядели
Григол и Тициан.

ისინი ბევრნი, ძალიან ბევრნი იყვნენ,
მათ კვალში რომ გაჰყურებდნდნ
პირნათლად და მკაცრად,
სინდისის, ღმრთისა და
პირველი ქრისტიანების გულისათვის....
აი ასე სწვავდა ტყვიის ქარბუქი ახმეტელის
ცოცხალ(მთრთოლვარე) გულს,
და მას უკვე კვალში მოყვებოდნენ გრიგოლი და ტიციანი.

Где кровь картвельская струится,
Там не дадут врагу пробиться,
И Купарадзе с Леселидзе
Его погонят вспять.
Через войны огонь и порох,
Смирив врага жестокий норов,
Спешат с Кантарией Егоров
Победы флаг поднять!..

იქ, სადაც ქართველთა სისხლი იღვრება ,
იქ მტერი ვერ შეღწევს,
ყუფარაძე და ლესელიძე
მას გუდანაბადს აუკრავენ
ომის ტვია-წამალში გამოვლილები,
დაიმორჩილეს რა მტრის სასტიკი ზნე,
ქანთარია და ეგოროვი მიიჩქარიან
გამარჯვების დროშის აღსამართად!..

И дни снежинками кружили,
И с вечной музыкой дружили
Канчели и Тактакишвили,
И мир их обнимал!
Кантаты, оперы, сюиты
Баланчивадзе не забыты…
А звукам Читы-Маргалиты
Внимает весь квартал!

დღეები ფანტელებივით ბრუნავდნენ,
და მარადიულ მუსიკასთან მეგობრობდნენ
ყანჩელი და თაქთაქიშვილი და
მსოფლიო მათ გულში იკრავდა!
კანტატები, ოპერბი სიუიტები და
ბალანჩივაძე არ არიან დავიწყებული
და მთელი უბანი შეჰღაღადებს
ჩიტო- გვრიტო- მარგალიტოს!

Стезёю Нико Пиросмани
Гудиашвили на Мерани
С Еленою Ахвледиани
Вошли в двадцатый век.
Сбылись их жизненные цели,
А вслед, как храм Светицховели,
В руках Зураба Церетели
Родился человек!

ნიკო ფიროსმანის გაკვალული ბილიკით
მერანზე ამხედრებულმა გუდიაშვილმა
ელენე ახვლედიანთან ერთად
შემოაბიჯეს მეოცე საუკუნეში.

ახდა მათი ცხოვრების მიზნები,
და სვეტიცხოველივით,
მის კვალს ადევნებული,
ზურაბ წერეთლის ხელიდან ადამიანი იშვა!

Чхеидзе и Закариадзе,
Басилашвили, Абуладзе,
Данелия и Габриадзе –
Священный сонм имён,
Блиставших на киноэкране,
Как гений Иоселиани,
Как Шенгелая братья – в стане
Великих вне времён.

ჩხეიძე და ზაქარიაძე,
ბასილაშვილი, აბულაძე,
დანელია და გაბრიაძე,
სახელთა წმინდა კრებული,
რომლებიც ეკრანზე ბრწყინავდნენ,
როგორც გენია იოსელიანი,
როგორც ძმები შენგელაიები –
იმ გუნდში, რომლის სიდიადეს დრო ვერაფერს აკლებს.

Замолвим слово о грузине,
О том, кто светоч в медицине:
Его, кто лечит и доныне,
Бокерией зовут!
Бочоришвили, Сурманидзе
И Микеладзе, и Мосидзе –
К стезе их молодёжь стремится
Врачей бесценен труд!..

ერთი ქართველიც ვახსენოთ,
მედიცინის კაშკაშა ვარსკვლავი:
კვალვაც რომ კურნავს,
სახელად ბოკერია რომ არის!
ბოჭორიშვილი, სურმანიძე
მიქელაძე და მოსიძე -
მათი ასპარეზისკენ ახალგაზრდობა ილტვის:
დასტაქართა შეუფასებელი შრომა!..

Брегвадзе Нани, Гвердцители,
Меладзе и Чиаурели,
И Кикабидзе, кем на деле
Гордится весь Кавказ!
Страны картвелов честь и слава
Зураб Великий Соткилава…
«Мадлоба» каждому и «браво»
От Родины и нас!

ბრეგვაძე ნანი, გვერდწითელი,
მელაძე და ჭიაურელი.
და კიკაბიძე. რომლითაც სიმართლე ითქვას,
მთელი კავკასია ამაყობს!
ქართველთა ქვეყნის სახელი და დიდება
დიდი ზურაბ სოტკილავა...
თვითეულს მადლობა და ბრავო
სამშობლოსა და ჩვენგან!

Гаприндашвили и Чивадзе,
Чибурданидзе, Арвеладзе,
Лосаберидзе и Каладзе –
Вот спорта имена!
Мерилом доблести и чести
От Кипиани и от Месхи,
И от Тедиашвили вести
Считала вся страна!

გაფრინდაშვილი და ჩივაძე,
ჩიბურდანიძე, არველაძე,
ლოსაბერიძე და კალაძე –
აი, სპორტში განდიდებული სახელები!
სიქველის(გულადობის) და ღირსების საზომად
მიაჩნდა მთელს ქვეყანას
ყიფიანის, მესხისგან
და თედიაშვილისგან მოსული ამბავი!

Хецуриани, Тавхелидзе,
Асатиани, Гамкрелидзе,
Джавахишвили, Джанелидзе,
Учёных славный круг!
И Николоз Мусхелишвили,
И Двали, и Пазиашвили…
Чреда блистательных фамилий,
Где дорог каждый звук!

ხეცურიანი, თავხელიძე,
ასათიანი, გამყრელიძე,
ჯავახიშვილი, ჯანელიძე,
სწავლულთა ეს დიდებული კერებული!
და ნიკო მუსხელიშვილი,
დვალი და ფაზიაშვილი...
რიგი ბრწყინვალე გვარებისა,
რომლებშიც თითოეული ბგერა ძვირფასია!

Войдут ли в вечность именами
Те, кто сегодня правят нами,
Однажды мы узнаем с вами
В каком-нибудь году…
А наше, брат, святое дело:
Родной земле служить умело
И вместе верить в Сакартвело
Бессмертную звезду!

შეაბიჯებენ მარადიულობაში იმათი სახელები
ვინც დღეს გვმართავს ჩვენ?
ერთ მშვენიერ დღეს გავიგებთ ჩვენ ამას
რომელიღაც წელს…
ჩვენი წმინდა საქმე კი ძმაო:
სამშობლოს მარჯვედ მსახურებაა
და ერთად გვჯეროდეს საქართველოს
უკვდავი ვარსკვლავისა!

Покуда сердце в силах биться,
Оно, как утренняя птица,
Всегда на родину стремится,
Пой, не смолкай, поэт!

Там синь небес ласкает взоры,
Шумят прибрежные просторы,
Сверкают солнечные горы,
И вечен этот свет!

და სანამ გული ფეთქავს,
იგი, როგორც დილის ფრინველი
ყოველთვის სამშობლოსაკენ ისწრაფვის…
იმღერე, ნუ დადუმდები პოეტო,
იმაზე, თუ როგორ ეალერსება შორეთი მთებს,
ხმაურობენ სანაპიროს სივრცენი,
ბრწყინავენ მზიური მთები,
და მარადიულია ეს ქვეყნიერება!

___

Примечания:

Атлантида – мифический остров-государство
Колхида – древняя страна колхов на западе Грузии
Зевс – в древнегреческой мифологии бог неба
Аид – бог подземного царства
Ээт – легендарный царь Колхиды
Геба – богиня юности, дочь Зевса и Геры
«Картлис Цховреба» – Житие Картлии
Фарнаваз I (326-234 до н.э.)
Нино святая (280-335)
Светицховели – кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви
Мириан III (310-342) – царь Иверии, святой
Вахтанг I Горгасали (440-502) – царь Иберии
Цинандали – сорт вина
«Гамарджоба, генацвале!» – приветствие
Сакартвело – Грузия
Давид Строитель (1073-1125) царь Грузии
Иоанн Шавтели (1150-1215) поэт, философ и оратор
Иоанэ Петрици – грузинский философ XI-XII веков
Гелати – место первой Грузинской Академии
Картли – Грузия
Хвашак Цокали и Краваи Джакели – женщины – послы царицы Тамар
Шота Руставели (1172-1216)
Царица Тамар (1166-1213)
Ута Арсукидзе (умер 1029) – архитектор
Сумбат Давитисдзе (XI век) – историк
Чахрухадзе (конец XII века – начало XIII)
Георгий Саакадзе (1570-1629)
Царь Теймураз I (1589-1663)
Вахушти Багратиони (1696-1784)
Гиви Амилахвари (1689-1754)
храм Метехи – церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы в Тбилиси
Авлабар – старинный район Тбилиси
перхули – хоровод
церули – старинный грузинский танец на носочках
Картули – свадебный танец
Алило – старинная хоровая песня
пандури и чонгури – народные грузинские музыкальные инструменты
джут – танец
сванури – танец
Ираклий II (1720-1798) – царь Картли-Кахетии
Георгий XII (1746-1800) – царь Картли-Кахетии
Павел I (1754-1801)
Николоз Бараташвили (1817-1845) – поэт
Рафаэл Эристави (1824-1901) – поэт
Важа Пшавела (1861-1915) – поэт
Акакий Церетели (1840-1915) – поэт и общественный деятель
Илья Чавчавадзе (1837-1907) – поэт, святой
Нико Пиросмани (1862-1918) – великий живописец
духан – небольшой трактир или ресторан на Кавказе
сомелье – виночерпий
Вазисубани – сорт вина
Борджгали –символ солнца, бессмертия и круговорота жизни
Ной Николаевич Жордания (1868-1953) – премьер-министр свободной Грузии

Ной Виссарионович Рамишвили (1881-1930) – премьер-министр свободной Грузии
Евгений Петрович Гегечкори (1882-1954) – государственный деятель свободной Грузии
Маро Макашвили – (1901-1921) – национальный герой Грузии
Александр Чхеидзе (1873-1941) – начальник Тифлисского венного училища
Георгий Мазниашвили (1870-1937) – национальный герой Грузии, грузинский генерал
Георгий Квинитадзе (1874-1970) – главнокомандующий грузинской армией
Эвктиме Такаишвили (1862-1953) – историк, археолог, святой
Кайхосро Чолокашвили (1888-1930) – национальный герой Грузии
Сандро Ахметели (1886-1937) – театральный режиссёр
Григол Лордкипанидзе (1881-1937) – писатель
Тициан Табидзе (1895-1937) – поэт
Георгий Купарадзе (1893-1954) – генерал-майор
Константин Леселидзе (1903-1944) – генерал-полковник
Мелитон Кантария и Михаил Егоров – 1 мая 1945 г. водрузили знамя победы над рейхстагом
Гия Канчели (1935-2019) – композитор
Отар Тактакишвили (1924-1989) – композитор
Мелитон Баланчивадзе (1862-1937) – композитор
Андрей Баланчивадзе (1906-1992) – композитор, сын Мелитона Баланчивадзе
Джордж Баланчин (1904-1983) – основоположник американского балета, сын Мелитона
Ладо Гудиашвили (1896-1980) – художник
Елене Ахвледиани (1901-1975) – художник
Зураб Церетели (1934) – скульптор, художник-монументалист
«Рождение нового человека» – бронзовая скульптура (Париж, Франция) и скульптурная композиция (Севилья, Испания) работы Церетели
Резо Чхеидзе (1926-2015) – режиссёр и сценарист
Серго Закариадзе (1909-1971) – актёр и чтец
Олег Басилашвили (1934) – актёр и чтец
Тенгиз Абуладзе (1924-1994) – режиссёр и сценарист
Георгий Данелия (1930-2019) – режиссёр и сценарист
Резо Габриадзе (1936-2021) – режиссёр, сценарист, художник, основатель театра марионеток
Отар Иоселиани (1934) – режиссёр и сценарист
Эльдар Шенгелая (1933) – режиссёр и сценарист
Георгий Шенгелая (1937-2020) – режиссёр и сценарист
Лео Бокерия (1939) – врач-кардиохирург, профессор, академик
Рамаз Сурманидзе (1933-2020) – врач, организатор здравохранения
Вахтанг Бочоришвили (1924-2002) – врач, министр здравоохранения, академик
Шалва Микеладзе (1884-1941) – общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор
Вахтанг Мосидзе (1928-1999) – врач, академик
Нани Брегвадзе (1936) – певица
Тамара Гвердцители (1962) – певица и актриса
Валерий Меладзе (1965) – эстрадный певец
Константин Меладзе (1963) – эстрадный композитор
Софико Чиаурели (1937-2008) – актриса
Вахтанг Кикабидзе (1938-2023) – певец, актёр
Зураб Соткилава (1937-2017) – оперный певец
Нона Гаприндашвили (1941) – шахматистка
Александр Чивадзе (1955) – футболист
Майя Чибурданидзе (1961) – шахматистка
Шота Арвеладзе (1973) – футболист
Кетеван Лосаберидзе (1949-2022) – стрельба из лука
Каха Каладзе (1978) – футболист
Давид Кипиани (1951-2001) – футболист
Михаил Месхи (1937-1991) – футболист
Леван Тедиашвили (1948) – борец
Джони Хецуриани (1951) – учёный-правовед и государственный деятель
Альберт Тавхелидзе (1930-2010) – учёный-физик, Президент АН Грузии
Валерий Асатиани (1950) – учёный-филолог и историк, государственный деятель
Реваз Гамкрелидзе (1927) – учёный-математик
Тамаз Гамкрелидзе (1929-2021) – учёный-лингвист, востоковед
Иван Джавахишвили(1876-1940) – учёный-историк, основатель Тбилисского университета
Александр Джавахишвили (1875-1973) – учёный-географ
Юстин Джанелидзе (1883-1950) – учёный-медик, хирург и общественный деятель
Николоз Мусхелишвили (1891-1976) – учёный-математик и механик, президент АН Грузии
Гия Двали (1964) – учёный-физик, директор института Макса Планка в Мюнхене
Тамара Пазиашвили (1980) –учёный-медик, профессор Стэндфордского университета

ВЯЧЕСЛАВ КИЛЕСА

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА «СИД»

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Бывают книги, которым не везёт, – и «Сид» принадлежит к их числу. Написанный холодной зимой и не очень тёплой весной 1975 года в маленьком крымском городке Белогорске, где я, начитавшись Генри Торо, работал ночным матросом-спасателем на Тайганском водохранилище, он был на грани уничтожения сразу после создания, когда я получил известие из Одессы – от Юли Савченко – об аресте Вячеслава Игрунова, бывшего у меня недавно в гостях, и стоял, с бессильным ужасом глядя на разложенные на кровати отпечатанные страницы, понимая, что за мной вот-вот должны прийти, и каждый из этих листиков станет моим показанием, достаточным для заведения на сидовцев уголовного дела: за создание организации, отрицающей социализм в СССР, идеологию КПСС, и ориентированную на изменение – научным путём – существовавших социальных отношений. Это были минуты, от которых седеешь. Страсть к печатному слову оказалась сильнее страха перед тюрьмой и я, успокоив себя мгновенно написанным вступлением – о нелегально-политиканском извращении событий и полубредовом предисловии, решив в случае ареста выдавать «Сид» за шалости моей фантазии, – ограничился сожжением писем и документов и изрезанными страницами своих дневников, а также переездом из Крыма в Подмосковье.

Тираж «Сида» – позже получившего у нас название «Большой Сид», – составлял два экземпляра, собственноручно мной сшитых и склеенных. Первый его экземпляр в 1977 году Михаил Яковлевич Гефтер попытался через кого-то из посетивших СССР иностранных учёных передать для публикации за рубеж, однако «Сид» был перехвачен Ленинградской таможней и, скорее всего, уничтожен. Тогда Михаил Яковлевич предложил мне создать «Малый Сид» – журналистский вариант «Большого Сида», – собираясь опубликовать его в каком-нибудь из нелегальных самиздатских журналов.

На той же печатной машинке тем же тиражом в 1978-1979 годах в городе Киржач Владимирской области – путем уменьшения научной части и значительных литературных дополнений и уточнений, а также введения в текст дневника Кости Ильницкого – был создан «Малый Сид», судьба которого оказалась ещё более печальна, чем у «Большого Сида». Зимой 1979 года была арестована в Москве редакция нелегального журнала «Поиски», одним из редакторов которого был Глеб Павловский: в числе изъятой у него литературы, естественно, значился экземпляр «Малого Сида». Оставшиеся экземпляры Большого и Малого Сида вместе с дневниками и другими записями (а также хранившимися у меня бумагами Глеба) я уложил в специально купленный для этой цели чемодан (оказавшийся доверху заполненный) и передал на хранение моей приятельнице москвичке Рае Нургазиевой, после чего уволился с работы и ринулся обратно в Крым. Только в 1983 году этот чемодан вернулся ко мне в Белогорск, однако и здесь какой-то период (в частности, после моих допросов в связи с арестом Бориса Черных) ему пришлось путешествовать по домам моих Белогорских знакомых.

В 1987 году «Малый Сид» был привезён в Москву и передан Глебу Павловскому, работавшему заместителем главного редактора журнала «Век XX и мир», пообещавшему его опубликовать. Ещё один экземпляр «Малого Сида» в несколько потрепанном и неполном виде хранился у Оли Ильницкой: она выпросила его у следователя Московской городской прокуратуры Бурцева, в чьём производстве находилось дело по журналу «Поиски».

В 1993 году, поняв, что совершивший к этому времени свой знаменитый «побег из биографии» Глеб ничего публиковать не собирается, я с трудом забираю «Малый Сид». Хлопоты мои оказались напрасными, потому что в Белогорске «Малый Сид» исчезает навсегда. И сделать окончательный и полный вариант Сида, как я мечтал последние годы, оказалось невозможным, поскольку значительной части материалов – в том числе дневника Кости, – у меня не сохранилось. И только сейчас, с помощью предоставленных Олей Ильницкой остатков «Малого Сида», я, переосмысливая и дополняя прошлое, включая – с помощью своих дневников – других действующих лиц, попытался создать не столько повествование об организации, сколько историю замкнутого тогдашней Одессой времени и пространства.

К невезению «Сида» можно отнести и тот факт, что его появление потеряло актуальность и более важно для автора, чем для современников. Затих стук колёс поезда девяностых годов и ветер двадцать первого века, сметая с перрона мусор, оставшийся после уехавших пассажиров, наверняка заинтересуется странной летописью, надежда на публикации которой согревала мою душу морозными ночами жизни.

Без прошлого нет настоящего – и всё же смысл этого произведения, более понятный вымирающим поколениям рождённых в СССР, направлен в будущее. Колесо истории вертится даже тогда, когда от него отворачиваются, и проблемы, поднятые Сидом, – являющиеся по сути наследством предыдущих эпох – ещё станут сегодняшним днём двадцать второго века.

Вячеслав КИЛЕСА
30.06.2008 года,
Симферополь.

«Нулевой вагон. Разные судьбы, разные люди. Знакомства возникают здесь также легко и просто, как и разрываются при выходе из вагона. Человека узнаёшь по мелочам, и нигде нельзя сделать это лучше, как в дороге. Разные люди, разные судьбы. Одна дорога». (Записи).

«Мне везёт в дороге на интересные встречи. В поезде, лежа на третьей полке (предназначенной для чемоданов и вещей: в Джанкое в поезд села девушка с билетом на то же место, что и у меня), познакомился с девушкой по имени Тамара. Разговаривали с ней около трёх часов, точнее, говорил я. Вагон стоял на запасном пути, ночь дышала жарой и тишиной, лишь изредка нарушаемой храпом соседей, а я развивал свои взгляды на жизнь, отдавая ещё одному человеку часть своей души. Она сказала, что я благородный, так как уступил ей своё место, и что лицо у меня одухотворённое (ей это показалось с первого взгляда), поэтому я должен любить математику и писать стихи. Я ответил утвердительно на первое и, конечно же, горячо отрицал второе… По приезде в Одессу доволок её чемодан до камеры хранения и попрощался… Когда я уходил, она сказала мне: „Я запомню Вас и Ваши принципы!“. Меня поразил тон, каким были сказаны эти слова, но я кивнул головой, поднял свой чемодан и ушёл не оглядываясь.

Ум способен приносить человеку не только большую радость, но и сильное горе. Мне иногда кажется, что я хожу по пограничной полосе, отделяющей разум от безумия. Какой-нибудь толчок, потрясение – и я уже там, в небытие. Дико, не правда ли?!». *(Дневник, 30 августа 1969 года).*

(…)

«Вчера я шёл ночью по главной улице Благоево, идти было тяжело и скучно, и я вспоминал те далёкие вечера, когда мы втроём отмахивали без устали многие километры. Слава Килеса, Тома Срывкова, Коля Лазарев – триумвират. Вышла замуж «Томик», есть девушка у Коли, один я брожу как неприкаянный по этому скучному миру…». *(Дневник, 13 сентября 1969 года).*

«Вначале выдумывают идеал, потом превращают его в идола… Люди, которые боролись против жрецов идола, после победы оказываются его служителями, и тогда выясняется, что они боролись не „против“, а „за“: не против поклонения мифу, а за поклонение себе». (Записи).

«Не могу понять, почему я так часто судил людей, говоря им правду прямо в лицо, и они никогда не спрашивали, имею ли я право быть судьёй». *(Дневник, 15 сентября 1969 года).*

«В детстве мир книги гораздо более осязаем и чувствителен, чем реальная жизнь. Последняя воспринимается как ступенька к первой: нужно только поскорее миновать детство и стать взрослым. И каждый уверен, что во взрослом состоянии обязательно станет героем какого-нибудь романа… Смешные взрослые! У них там много возможностей жить по-настоящему, и они так плохо используют эти возможности!». (Записи).

«Ходил в аптеку, пришёл мокрый и грязный. Вспоминал о вчерашнем вечере, проведённом у Володи Княжанского, который пригласил меня на свои именины. Выпито было мало, зато много танцевали и говорили, и в целом это была обычная пьяненькая вечеринка». *(Дневник, 18 сентября 1969 года).*

«Праздник: когда всё относительно, когда мы не знаем и не желаем знать, куда несёт нас вихрь событий, когда купец швыряется деньгами, а строгий чиновник отечески улыбается вчера дрожавшим перед ним подчинённым». (Записи).

«Получил письмо от мамы. Она всё ещё уверена, что я безнадёжно в кого-то влюблён, поэтому такой мрачный и т.п. Мама не знает, что есть вещи посильнее любви, а именно: скука, сознание своей бесполезности в жизни…». *(Дневник, 21 сентября 1969 года).*

«Человека нельзя вместить в правила, какими бы положительными они не были». (Записи).

«„Ветер, ветер на всем белом свете…“ Коротко мигает электролампочка, доказывая бессилие благоевских связистов перед разбушевавшейся стихией. Стоя на пригорке в хозяйском винограднике, я был свидетелем интересного зрелища: смерча из пыли, окутавшего село серой пеленой, сквозь которую елеле виднелись белые домики и зелёные деревья…

В селе люди тупеют, делаются равнодушными ко всему, кроме собственного желудка: огрубевают не только руки, но и чувства, разум…

Мой однокурсник Юра Коновалов как-то заметил, что наши шестидесятые годы напоминают по обстановке 30-40 годы 19 века… Штампы николаевского самодержавия отрицали человечное в человеке, отрицали дух свободы и мысли – то же самое наблюдается и сейчас, когда человека пытаются втиснуть в ту ячейку, которую отвела ему КПСС. В истории многое повторяется, и очень может быть, что новые толпы „лишних людей“ пойдут бродить по нехоженым тропам Союза, цивилизуя голубую тайгу и снежную Чукотку лопатой и динамитом, – как их далёкие предки, искавшие „своё предназначение“ на диком Кавказе». *(Дневник, запись от 28 сентября 1969 года).*

«Я изменился. Я уже не действующее лицо всех общественных смотрин, а просто зритель, притом не из лучших». *(Дневник, 30 сентября 1969 года).*

ВРЕМЯ, ДОРОГА…

Всё безразличней мне рассветы…
Зачем-то вертится Земля.
И я, игрушка в волнах света.
Плыву куда-то. Но куда?
Стучат часы, напоминая,
О незаконченных делах.
Уходят годы второпях,
Минут бесплодных не прощая.
Судьба неласковой рукой
Мне счастье взвешивает строго…
Свой путь ищу, борясь с волной:
Хоть жизнь одна – дорог в ней много!

«Утро сегодня было чудесное: лёгкое, свежее, и когда я шёл на работу, то почему-то вспомнил село Митрофановку… По дороге наткнулся на дерево, похожее на акацию, но с длинными лентами семян. Сорвав несколько лент, разломал одну из них и поднёс к носу. Странный душистый запах напомнил митрофановский лесок, зелёную поляну, окутанную паутиной солнечных лучей, и меня, шестилетнего мальчугана, рассматривающего такие же ленты… Удивительная штука память.

Прочитал Шарля Бодлера „Стихотворения в прозе“. Очень талантливо и хорошо пишет, прямо-таки кровью своего сердца». *(Дневник, 2 октября 1969 года).*

«Ещё один вечер… Он уже на исходе. Выключишь свет, завернешься в одеяло – и вот уже утро, новый день, новый вечер.

Как быстро летит время! Об этом вспоминаешь, только глубоко задумавшись, а так живёшь в суете, повинуясь обстоятельствам, и даже торопишься прожить какой-то срок, чтобы узнать развязку… Все верят, что впереди их ожидает только хорошее, вот только скорей бы закончился затянувшийся акт спектакля, второй наверняка будет интереснее, – и в этой вечной гонке забываешь о настоящей развязке – смерти.

„Что о мёртвых жалеть нам?

Мне мёртвых нисколько не жаль.

Пожалейте меня:

Мне ещё предстоит умереть!“ – писал Михаил Светлов. Он давно мёртв, а слова эти остались, и я повторяю их с не меньшим чувством, чем через полсотни лет будет говорить житель 21 века, никогда не узнающий о моём существовании». *(Дневник, 4 октября 1969 года).*

«В РСУ меня называли „пацаном“. С тех пор прошло три года, и вот сегодня Тома Диордиева сказала мне, что я „сосунок“, и что таких противных людей, как я – „критиканов“ – она ещё не встречала. Вот так-то, товарищ Слава! А вы чего-то хотели, писали о комсомольском долге, пытались внушить всему курсу идеалы своей юности, почерпнутые из книжек, не замечая за спиной насмешливых улыбок и иронического подмигивания…

Изучаю строение материи. Удивительно, что всё вокруг состоит только из трёх частиц – протона, нейтрона и электрона, находящихся на различных ступенях квантовой лестницы.

Между людьми должны быть границы и даже нейтральная зона. Я об этом забываю и часто нарываюсь на неожиданности». *(Дневник, 5 октября 1969 года).*

«Не могу отвыкнуть от чисто русской привычки привязываться к человеку, некоторое время разделявшему твои заботы. Или ещё одна склонность: говорить много лишнего». *(Дневник, 7 октября 1969 года).*

«Последний вечер в Благоево. Вряд ли на моём пути вновь появится это село, вписавшее в мою жизнь столько событий: как на 1-ом, так и на 3-ем курсах». *(Дневник, 8 октября 1969 года).*

«Вот и Одесса. Я приехал сюда вчера вечером, дорога была утомительная и скучная.

Сегодня очень хороший день, или он кажется таким, потому что впервые вижу Одессу сквозь призму очков. Наконец-то я их надел, и это одна из самых больших побед над самим собой.

Фильм „Каждый вечер в одиннадцать“ просто великолепен. В нём есть нечто гриновское, есть мечта и надежда: возможно, поэтому он так меня тронул». *(Дневник, 10 октября 1969 года).*

«Лежу на кровати в пустой комнате. Устало гудят ноги, думается с трудом, точнее – с ленью, а в голове медленно плывёт мелодия из кинофильма „Каждый вечер в одиннадцать“. Я посмотрел его ещё раз: во-первых, сегодня воскресенье и мне хотелось иметь праздничное настроение, во-вторых, меня потянуло на него, – я чувствовал, что если не поддамся этому магниту, то потом долго буду жалеть.

Вчера вечером начал набросок рассказа. Не ладится композиция, ощущается недостаток опыта». *(Дневник, 12 октября 1969 года).*

«Желающего судьба ведёт, не желающего – тащит», – писал Сенека. Неодолимую потребность писать я заглушал разговорами, зубрёжкой, интригами комсомольской оппозиции. Моими учителями стали книги классиков литературы, но они могли объяснить только главное, до мелочей приходилось докапываться самому.

«Начались занятия. Я сижу уже не в нижних рядах, а наверху. На скучных лекциях читаю и ничего: совесть не мучает.

Коля Лазарев первый заговорил со мной в дружеском тоне, я ответил и на прощанье мы пожали друг другу руку. Полтора месяца не разговаривали. Наверное, кое в чём тогда был виноват и я…». *(Дневник, 14 октября 1969 года).*

«Видно, не уйти мне всё-таки от борьбы. Назревают новые события: Богацкого собираются сделать парторгом, а Галебу – комсоргом факультета. Нужно будет снова драться, причём на стороне Орлова Викник, а значит, и партбюро. Нелегко…». *(Дневник, 16 октября 1969 года).*

«Ведётся подготовка к факультетскому собранию. Готовится Орлов, готовимся и мы…». *(Дневник, 23 октября 1969 года).*

«Бой будет завтра. Сегодня состоялось последнее, решающее собрание, на котором я по-прежнему был в роли спикера. Завтра утром должна быть вывешена газета, и завтра должно быть факультетское собрание, которое решит всё. За нас 1-ый курс, так же как и остальные. Но всё предсказать трудно, и поэтому „быть или не быть!“«. *(Дневник, 26 октября 1969 года).*

Я умел общаться: и сейчас я разговаривал с неформальными лидерами курсов, привлекая их на свою сторону. От второго курса присутствовал Саша Павлов и Гена Тощев, от четвёртого курса – Володя Ковбасюк и Андрей Добролюбский, от первого курса – староста и комсорг. Им, как и мне, не хотелось выступать в роли «комсомольских членов», послушно голосующих за кандидатуры, представленные Ор-вым.

Чем-то эти встречи напоминали народовольческие сходки. Я говорил, охваченный восторгом и эйфорией, захватывая мысли слушателей своей убеждённостью. Это было собрание единомышленников: с шутками, интересными и не очень идеями, разработкой сценария, подготовкой газеты.

«Рано утром я и Коля поехали на факультет и вывесили там газету. Она произвела фурор. А потом началось собрание. Такого на моём веку ещё не было. Орлов не знал, что делать, на него было смешно и жалко смотреть. До середины собрание шло под нашим руководством, потом заколебался первый курс, начал колебаться я и т.д. Провалил своё выступление Володя Богацкий. Неожиданно в бюро прошёл я, хотя мне это совершенно ни к чему, а теперь выходит, что разговор о комсорге должен решаться между мной и Глебовым. Только что имел беседу с Жеребчук (она должна была быть в бюро по списку Орлова), смотревшей на меня ненавидящими глазами». *(Дневник, 27 октября 1969 года).*

Для голосования за кандидатуры членов бюро комсомола факультета было предложено два списка: официальный и наш. Необходимо отметить мужество и решительность Гены Тощева, который, выйдя на трибуну, добился того, чтобы наш список – как ни увёртывался Орлов, – был поставлен на голосование. Полностью поставленной цели мы не добились по моей вине: я не вышел на трибуну для отвода кандидатуры Вити Глебова, после чего первый курс, голосовавший, глядя на меня, начал поддерживать Орлова. Отсутствие мужества стало той причиной, по которой я, обладавший многими качествами лидера, так и не стал значимой фигурой в политике.

«Сегодня было бюро. В самом его начале попробовали поднять вопрос о Тощеве, который проходил в бюро по количеству голосов вместо Проценко. Но Орлов и Викник (секретарь партбюро факультета) это дело замяли. Я не настаивал, тем более что Тощев сам отказывался от этого членства. Комсоргом стал Глебов, против чего я деятельно возражал, получив от Викника замечание, что высказываю „политически незрелые мысли“. Потом были распределены портфели. Павлов стал оргсектором, Шалиенкова – политсектором, я – ответственным за печать». *(Дневник, 28 октября 1969 года).*

«Наверное, нужно написать, как мы готовились к факультетскому собранию. Об этом ходят сейчас самые противоречивые слухи, говорят о заговоре, о смутьянах, но толком мало кто что знает.

23 октября в комнате у Некрасова встретились я, Богацкий, Лазарев, Курбанов, позже пришла Смольянинова. Говорили долго, наметили план атаки: в первую очередь с помощью своего списка захватить президиум, потом дать отводы орловцам и выдвинуть свои кандидатуры. Решили пока повести агитацию на всех курсах.

25 октября было новое собрание – у Курбанова. Состав наш расширился, пришли со второго и четвёртого курсов. Я рассказал о нашем плане, кое-что уточнили и решили встретиться завтра, у Любы Озернюк, а пока налечь на агитацию.

Последнее собрание было количественно очень большим, и самое ценное, что на него мы пригласили первокурсников: их старосту, Свету, и ещё одну девушку, которые согласились нас поддерживать. В тот же вечер мы выпустили газету с моей статьёй, и рано утром повесили её в нашей аудитории. Её читал весь факультет. На собрании все были взбудоражены, и если бы не напористость комсорга университета Тимы Ткаченко, победа была бы полной». *(Дневник, 2 ноября 1969 года).*

В БУДУЩЕЕ

Вечность, святая вечность:
Даты в огне труда.
Будет всегда человечность,
Если есть мечта!
Жизнь дана не для славы:
«Я» куем в ваше «МЫ»,
Бытом чтобы стали
Сегодняшние миражи!
Наши слабые руки –
И пирамида Хеопса!
Наши рожденья муки:
То, что для вас просто!
Только дерзай, потомок,
Только взрывай вечность!
Ты – больной наш ребёнок.
Мы – твоя человечность!

«Скоро праздник… Настроение похоронное. Может быть, потому, что зашёл в тупик и не вижу из него выхода? Я, воспитанный на героике гражданской и Отечественной войн, свято верящий во всё лучшее, вдруг стал оппортунистом и фракционером, нарушающим устои советской власти. Дико! А выхода нет. Всё моё воспитание толкает меня на этот путь: путь борьбы с карьеризмом, продажностью, с дубиноголовостью, т.е. на выступление против комсомольских и партийных бонз. Недавно второй курс вывесил свою газету, в которой ударил по всему. Газету сняли, редколлегии сделали „вливание“ и даже предупредили КГБ. Я знаю этих ребят: дети, тоже выступающие за всё лучшее. Вася Попков объяснил мне программу: борьба с отчуждением людей. Их планы утопичны, они хотят словом перевернуть мир. Я предпочитаю дело». *(Дневник, 6 ноября 1969 года).*

Одним из незаметных результатов истории с газетой «XX век и мир» – авторы Глеб Павловский, Вася Попков, Костя Ильницкий, – стало моё сближение с Глебом и Костей (с Васей я общался давно и даже водил его на различные развлекательные мероприятия к «филологиням») и предложение ввести их в редколлегию возглавляемой мной факультетской газеты «Историк». Глеб предпочёл уклониться, зато фельетон Кости и стихи Васи появились в ближайшем номере «Историка».

«Всё повторяется, всё входит в привычку. Утром был занят демонстрированием солидарности с трудящимися всех стран, потом с 14 до 18 часов вместе с Колей торчал у Люды Клименко. К ней приехала сестра Надя, которую я знаю с прошлого года (очень умная для своих лет девушка) и брат Юра – скромный, хороший парень. Был там ещё народ, я всё время танцевал. Впервые чуть-чуть хлебнул водки. Потом пришли с Колей домой, а через десять минут, выйдя в коридор, натолкнулся на Богацкого, общавшегося с девушкой. Завязался разговор, в ходе которого узнал, что на нижнем этаже будет вечеринка и самым наглым образом напросился в гости (разумеется, вместе с Колей). Компания подобралась шумная и весёлая, ребят было много, девочек – мало, и когда в вестибюле организовали танцы, то пришлось ввести „хлопки“. Танцевал я снова хорошо, затем начал ухаживать сразу за двумя девчонками. Опьянев, потерял чувство меры и принялся намекать одной о своей к ней симпатии, за что был немедленно осуждён и изгнан. От второй сбежал в 11 часов вечера сам, так как не знал, чем кончить дело, поскольку мои ухаживания она воспринимала с весьма благосклонным видом.

Сегодня утром, в 4 часа уехал домой (в Николаев) Коля. Я один в комнате, солидаризуясь в своём одиночестве со столь же безутешным Витей Глебовым. Между прочим, комсорг мехмата (девушка Богацкого) – весьма умна, только немного деловитая. Зовут её Валя Прохорова, она из Симферополя». *(Дневник, 8 ноября 1969 года).*

«Нужно немного остыть, остановиться, оглянуться. Мчусь я последнее время, закусив удила, а куда – не вижу, не знаю. В этой гонке многое не замечаешь: иногда хорошего, иногда плохого, и слишком часто видишь только себя. Много хорошего – тоже нехорошо, а у меня последнее время так и выходит.

Познакомился с двумя интересными девушками – Валей Прохоровой, комсоргом мехмата, и Олей Гапеевой, вероятно, будущей моей коллегой по „Историку“». *(Дневник, 14 ноября 1969 года).*

Одесситка Ольга Сергеевна Гапеева родилась 31 июля 1951 года. Олина мама работала в городской прокуратуре, отец – в своё время реставрировавший Одесский театр Оперы и балета, – работал архитектором: он умер, когда Оля была маленькая. Старшая Олина сестра Таня оканчивала медицинский институт.

Оля занималась фехтованием (была кандидатом в мастера спорта), увлекалась литературой и общением с людьми.

«Мне верят, во мне сомневаются, меня ненавидят. При общении у меня спокойный, даже самоуверенный тон, хладнокровные движения и слова. И никто не знает, как часто я мучаюсь потом над каждым сказанным невпопад словом, как переживаю отдельные действия, никто не догадывается, как часто спорю с самим собой, нередко делая вывод о своей виновности. Я привык быть на вторых ролях, но сейчас вижу, что главного героя нашей драмы или комедии нет, кому-то нужно решиться взять все на себя. Хорошо, пусть им буду я». *(Дневник, 15 ноября 1969 года).*

«К числу моих недостатков относится хвастливость, болтливость, нерешительность, слабоволие и трусость. Положительные качества – относительно честен и никому не завидую в „чёрном“ смысле. Баланс не в мою пользу… Нужно научиться мало говорить и больше слушать. Стараться всегда поступать так, как тебе не хочется». *(Дневник, 16 ноября 1969 года).*

«Сегодня было первое заседание кружка социологии. Неожиданно меня избрали старостой». *(Дневник, 20 ноября 1969 года).*

«Вечером был у Павловского дома. Квартира хорошая, уютная. У Глеба отдельная комната и полстены заставлено полками с книгами. Все условия для работы… Взял две книги почитать». *(Дневник, 22 ноября 1969 года).*

Одессит Глеб Олегович Павловский родился 5 марта 1951 года в семье инженера-строителя. Кроме Глеба, в семье была младшая сестра Катя, учившаяся в начальных классах школы. Маму Глеба помню как замкнутого, молчаливого человека. Реальным главой семьи была бабушка Феодосия Ивановна, на чьих хлопотах и заботах держался весь дом.

«Сегодня мне исполнилось 20 лет. Странно, но этот рубеж, о котором я столько думал когда-то, не вызывает у меня сильных эмоций. Немножко грустно: может, оттого, что мало успел, многое не понял, и слишком много потерял. Ребята готовятся отметить это событие, жарят картошку, которую я почистил… Да, прочёл Анчарова „Сода-солнце“. Книга – чудо!». *(Дневник, 25 ноября 1969 года).*

«Прочёл „Теорию невероятности“ Анчарова и весь вечер ходил обалделый… Пора мне начинать писать что-то своё, иначе – конец. Ходил ночью по „своей“ аллее, пробовал сложить стихи и с ужасом обнаружил, что ничего не получается». *(Дневник, 30 ноября 1969 года).*

Расположенный неподалеку от общежития биологический факультет был окружён клумбами с цветами, деревьями и густыми, непроходимыми кустами: своеобразным парком, где я любил гулять по вечерам, считая одну из аллей «своей». Здесь хорошо думалось и мечталось, а поздней весной воздух был наполнен одурманивающим запахом цветущих растений и деревьев.

«В воскресенье был танцевальный вечер под названьем „Осторожно, листопад“. Я хотел повести туда Васю Попкова, но его дома не оказалось (впрочем, позже он туда подошёл). Я веселился до упаду, плясал как бешенный. Вася даже заметил: „С отчаяньем каким-то“.

Дня на два подружился с Олей Гапеевой. Девочка умная, пишет стихи». *(Дневник, 5 декабря 1969 года).*

Из Олиных стихотворений:

***

Рассказать, о чём молчат все?
Ровно музыка звучит.
Лёгкий свет струит светильник
Из-под гибкого крыла.
Тень усталости легла на луну.
Вдруг вздохну, обниму и не пойму –
По кому?

Расскажу, о чём молчат все.
Разбросавшись на бегу
Я к тебе, смеясь, вбегу
И повешу на шнурке
За твоим окном Луну.
Обниму; и вновь вздохну – по кому?
Не пойму…

Промолчу, о чём однажды
Каждый в своей жизни скажет.
Промолчу, если смогу,
Не вздохнув, обниму.

«Был в гостях у Васи Попкова. Чудесные родители, шикарные комнаты. Пришла и Оля Гапеева. Оказывается, она превосходно танцует. Потом втроём ходили к морю, читали свои стихи и провожали Олю домой.

Оля Гапеева… Да, это девушка, в которую можно влюбиться. К сожалению, я всегда вхожу в троллейбус, когда места заняты. Оле нравится Вася и, наверное, этот выбор по сравнению с моей особой правильный. Что ж, не будем играть роль „третьего лишнего“. Сойдём с троллейбуса: может, следующий будет пустой. А если нет?». *(Дневник, 7 декабря 1969 года).*

«Не верю, ничему не верю. Вчера решил обходить Ольгу, не попадаться ей на глаза. Все перемены просидел в аудитории. После занятий и последовавшей за ней политинформации вышел на улицу, но шёл дождь и я вернулся на факультет. Немного постоял и вновь тронулся в путь. Садясь на троллейбус № 5, увидел возле себя Ольгу. А потом я провожал её домой, она читала мне свои стихи. Это было слишком хорошо, чтобы можно было передать словами.

Только что приходил Игорь Серов, около трёх часов говорили на факультетские темы. Их комната знает, что я играл одну из главных ролей в комсомольском собрании. Дискуссии, споры… Кое в чём прав он, кое в чём правы мы. Где золотая середина?». *(Дневник, 9 декабря 1969 года).*

«Кажется, я влюбился, причём довольно основательно. Вчера после занятий мы остались с Олей в 21 аудитории, я хотел поспрашивать её по логике, но понял, что лучше этого не делать. У Оли удивительное понимание явлений. Судит обо всем без всякой логики, – но именно это качество присуще каждой одарённой личности. Некоторые её теории заставили меня посмотреть на представительницу слабого пола с удивлением, граничащим с восхищением. Мы сидели в аудитории до пяти часов вечера, – с тем же усердием я сидел бы с ней до утра». *(Дневник, 11 декабря 1969 года).*

«Суббота, тринадцатое число. Половина десятого. Вечер. С трудом шевелится рука, выводя эти строки; в голове пусто и темно.

Вот всё и кончилось. Мне предложили сладенький леденец под именем „дружба“. А что ещё могли предложить? Оля любит Васю Попкова. Она сказала это легко и просто, и ничего не поняла, когда я с трудом мог что-либо ей ответить. Она не разобралась в моём ухаживании, приняла всё за простые товарищеские отношения. А когда сегодня ей всё стало ясно – после стиха, написанного мной в её блокноте, – она сказала: „Я давно люблю Васю“. Мы возвращались с факультета, шли с ней под руку, по дороге наткнулись на Попкова. Сейчас у него тоже бессонная ночь, и я, к сожалению, ничем не могу ему помочь…

Я пропустил сегодня семинар, и был с Олей на том мосту, на котором давно хотел побывать. Мы бродили с ней по ступеням, спускались в парк и вновь взбирались наверх…

Теперь нужно снова начинать жить. Завтра соберу свои силы, выстрою их в порядок и снова в бой. Видно, я не создан для счастья. Или его не заслужил. Во всяком случае, встретим этот удар твёрдо, по-мужски. „Неужели на белом свете для белого бычка не найдётся белой вороны?“ Неужели правда, что „никто никого не ищет, и никто никого не ждёт“?! Что ж, посмотрим. Если перестать в это верить, то зачем жить?». *(Дневник, 13 декабря 1969 года).*

ТРИНАДЦАТОЕ

Пир кончен. Песня отзвучала.
Вновь я один, вновь всё с начала.
Любви последние угли
Я сам тушу вином тоски…
Верь: никого не обвиняю…
Да, се ля ви, я понимаю.
…Тисками давит темнота.
Только дождаться бы утра,

Только бы сбросить мыслей груз!
Пусть душит боль, пусть режет грусть,
И все затоплены огни:
Я поднимусь, чтоб вновь идти!

«За последнее время произошло много событий, имевших для меня немаловажное значение. Более решительно взялся я исполнять обязанности старосты в кружке социологии и неожиданно обнаружил в нём присутствие любопытных людей, занимающихся интереснейшими темами. Люда Молдавская с вечернего факультета пишет об искусстве в палеолите, Павловский готовит какую-то подпольную работу, о которой ничего мне не говорит. На самого любопытного „фрукта“ я наткнулся вчера. Зовут его Игорь Иванников, 2 курс истфака. Я слышал от Лазарева, что Игорь занимается темой „Мелкая буржуазия“, поэтому подошёл с просьбой посвятить меня в содержание темы. Игорь согласился. После лекций мы сели на стол в коридоре второго этажа и он около часа рассказывал мне о своей теории. В том, что это была именно его теория, а не выписки из чужих книг, я не сомневался: слишком остро и противоречиво звучали его слова, слишком необычен был сам порядок изложения…

Последняя запись в дневнике датирована тем, 13 числом. Прошло около недели. Скажу честно, мне было трудно. В воскресенье я написал стихотворение, где выразил своё настроение. Ольга часто снится мне по ночам, вот и в эту ночь она твердила мне: „Вы говорите, что вы просто большой мальчик»… Лучший врач – время и дела“. *(Дневник, 21 декабря 1969 года).*

Игорь Сергеевич Иванников родился в 1951 году и жил в городе Николаеве. Его отец работал главным врачом военного госпиталя, мать была домохозяйкой. У Игоря была учившаяся в школе младшая сестра Софья. В Одессе Игорь снимал квартиру у кого-то из родственников.

«После того вечера, который я никогда не забуду и где я вёл себя как эгоистичная, ошеломлённая свинья, Оля начала меня явно опасаться… Утром 14 декабря я зашёл к Васе Попкову, честно ему сказал: „Вася, мы с Олей (здесь я сделал паузу и увидел, что он немного изменился в лице) только друзья“. Вася быстро ответил: „Ну и что?“, но я повернулся и зашёл к нему в квартиру (сцена происходила на лестничном пролёте). Может быть, я сделал ещё одну глупость: решив остаться честным перед собой, не учёл Олю». *(Дневник, 24 декабря 1969 года).*

«В четверг всю большую переменку проговорил с Олей, разговор был простой, дружеский. У меня внутри что-то перегорело, я продолжаю думать о ней только по привычке. Вероятно, она видит во мне неплохой источник информации. Как-то скучно чувствовать себя книгой, пусть даже и интересной». *(Дневник, 26 декабря 1969 года).*

«Три часа дня. Проснулся недавно, прибрал в комнате и вот сижу: пишу. Почему-то, когда пытаюсь вспомнить события прошлой ночи, в памяти сразу появляется какой-то искрящийся фейерверк, из которого только постепенно вырисовываются отдельные детали.

Начался праздник в 410 комнате. Собралось 17 человек: филологини, Галеба со своей Инкой, Витёк Глебов, Юрочка Коновалов и т. д. Мне было весело. Я давно овладел нехитрой премудростью: только тот весел, кто умеет себя веселить. Я сидел рядом с филфаковкой Милой Мельник, развлекал её и себя – ко взаимному удовольствию. Пробило 12 часов, после чего и началось настоящее веселье. Я и Мила выскочили в коридор, начали забегать в комнаты и поздравлять всех с Новым годом. Вскоре коридор заполнился студентами. Организовался хоровод, запели „В лесу родилась ёлочка“. Потом филологини потащили меня в холл второго этажа, где гремела музыкой дискотека. Потанцевав, вернулся на свой этаж, благо к филологиням прицепились знакомые им ребята с юрфака. Наши танцевали в моей комнате. Вскоре мне здесь надоело и, захватив Аллу Новикову, начали бегать с ней по этажам, поздравляя всех с праздником. Кончилось это тем, что Алла споткнулась о ступеньку, упала и разбила ногу. Привёл её обратно в комнату и, оставив там, вместе с Людой Свистуновой, отправился на дискотеку. Там в центре круга в одеянии Снегурочки отплясывал Володя Чумак. Присоединился к нему, потом заметил Валю Попову с мехмата. Люда заметно опьянела, у неё разболелась голова, и я с Валей отвели Люду в её комнату. Дальше мы с Валей составили компанию проходимцев. Мы сидели то у нас, то у них в комнате, танцевали, бегали по гостям. Валя играла на гитаре и пела, все с интересом её слушали. Около пяти часов утра оставил уставшую Валю в её комнате и вновь спустился вниз, на дискотеку, где ещё полчаса проплясал со знакомой биологичкой. В 6 часов вернулся в свою комнату, счастливый, что гости начали расходиться.

Вот краткое описание одной ночи, переведшее меня из дня последнего в день первый». *(Дневник, 1 января 1970 года).*

«Только что перечитал свой дневник и подумал, что жить всё-таки я умел…

Любовь. Ей покорны все возрасты и все сердца, она толкает на бессмертные подвиги и нечеловеческие преступления, может светить далёкой звездой и может испепелить в жарком костре. Даже дождавшись, мы не расстаёмся с чувством ожидания: может, поэтому в мире так много разбитых семейств.

Я не скажу, что мне не повезло. Да, моя любовь ни разу не увенчалась счастливым концом, но я об этом не жалею. Каким бы счастливым не был конец, это всё-таки конец: черта, навсегда отгородившая нас от чего-то, оставшегося неизвестным. А так… Я близко узнал несколько девчонок, рассмотрев их с таких дистанций, на которые допускают не всех и не всегда. Чем глубже я узнавал их, тем более начинал понимать себя. А тот, кто понял человека в себе, всегда будет понимать его в других.

Самой удачной встречей можно назвать моё знакомство с Олей Гапеевой. В ней я увидел самого себя: наверное, поэтому и влюбился…». *(Дневник, 2 января 1970 года).*

«Утром ходил в кино на фильм „Не горюй!“. Смотрел жизнь человека конца прошлого века, который многое мог и много хотел, но не понимал, куда идти, бросался в разные стороны, изживая жизнь по мелочам, и снова шёл в никуда.

Чем-то он напоминает меня. Полчаса назад Коля Лазарев сказал, что я в этом году какой-то неприкаянный. Ответил ему, что почти все вокруг прикованы к чему-то. Это и хорошо, так как есть где спрятаться в случае непогоды, и плохо, потому что горизонт ограничен окрестностями. А я в открытом море, каждое его движение бьёт меня по нервам: я несусь, куда хочу, и делаю, что хочу. Я сразу со всеми и всегда только с самим собой…

Меня разбудил Анчаров. Ему я обязан тем, что открыл самого себя». *(Дневник, 5 января 1970 года).*

«Люда Клименко выходит замуж. Седьмого марта она расписывается. Я говорил с ней: о том, что это неправильно – отдавать свою жизнь в руки человека, с которым знакома всего полгода. Она ответила, что лучше она выйдет замуж за человека, который будет её любить и уважать, чем будет всю жизнь любить свой идеал, не обращающий на неё никакого внимания… Кого она имела в виду?

Люда повторила слова „се ля ви“, и сказала, что в жизни получается не так, как хочешь, а совсем наоборот». *(Дневник, 10 января 1970 года).*

«Перечитал гриновский „Крысолов“ и решил, что написать такую вещь мог только психически ненормальный человек, т.е. гений. Не зря в древности безумцев считали „божьими людьми“: переступив границы нормального сознания, безумцы попадали в иной мир, о котором человечество узнает только урывками». *(Дневник, 14 января 1970 года).*

«Завтра экзамен: 116 билетов по три вопроса в каждом. Сдать его могу только чудом, поскольку половина билетов не тронута, половина – только прочитана. На 1-ом курсе я болел в декабре, на 2-ом – в марте, сейчас, на 3-ем курсе, болезнь взяла меня в „вилку“ в январе, т.е. посередине». *(Дневник, 16 января 1970 года).*

«Встал в половине восьмого, кое-что прочёл (как обычно, то, чего в билете не оказалось) и пошёл будить Милу Лисицину и Игоря Серова. Оделся, вышел в „белый свет“ и, втиснувшись в переполненный троллейбус, прибыл на факультет. Уже наступило 9 часов – начало экзамена, – но на факультете присутствовали только трое из однокурсников. Немного кружилась голова, начался сильный кашель. Взял билет. Преподаватель Беркович неожиданно предложил мне писать у него курсовую, я дал неопределённый ответ, в сущности, подразумевавший отказ. Он это понял и не настаивал.

Первый вопрос билета я не знал. Скользнув по нему памятью, сразу начал писать третий вопрос – процесс Тилака. Долго не мог вспомнить, в каком году он был, наконец интуитивно остановился на 1906 году. Второй вопрос оказался лёгким, быстро сделал по нему записи на бумажке, а дойдя до первого, вновь задумался. В голове было пусто, как в выпитой бутылке. Долго сидел, пытаясь что-либо из себя выжать, в итоге решил, что буду ждать ответа остальных: возможно, чьи-то слова наведут на нужную мысль.

Беркович начал недовольно посматривать на часы и говорить, что пора приступать к экзамену. Я задумался, попытался вспомнить страну, навязавшую Ирану этот капитуляционный договор 1763 года. Уставившись в одну точку, начал мысленно перелистывать прочитанные до этого страницы учебника и – о удача! – наткнулся на несколько знакомых слов. Немедленно перенёс их на бумагу, логически связал со своим ответом и пришёл к выводу, что договор был англо-иранский…

Беркович, хлопнув ладонью по столу, воскликнул: „Ну, хватит! Кто идёт?!“ Его взгляд заскользил по опускаемым вниз лицам и, как я с улыбкой и ожидал, зацепился за меня. Мы сразу поняли друг друга: он кивнул головой, я встал и сел за стол. Устроившись поудобней, равнодушным голосом попросил разрешение начать ответ со второго вопроса. По опыту я знал, что начинать всегда трудно: по нему судят об ответе в целом. Выиграв начало и середину, можно с уверенностью идти к финалу: там спрашивать будут меньше.

Получив разрешение, начал свой ответ. Он был в моей обычной манере: лёгкий, по возможности очень логичный. Главное здесь: не говорить лишних слов и строить предложения так, чтобы оставалось впечатление, что это основной вывод из множества деталей, о которых не упоминаю из-за отсутствия времени… Кое в чём я путался, но в целом ответил неплохо. Спасибо Берковичу, который не стремился, как это делают некоторые преподаватели, залезть мне в душу: видимо, понимал, что там ничего нет… Так я получил „отлично“, которое, говоря по совести, не заслужил». *(Дневник, 17 января 1970 года).*

«Одна из самых моих больших удач за эти полгода – знакомство с книгами Кривина и Анчарова. За это я должен отблагодарить Глеба Павловского… Если рассматривать мои удачи, то это будет цепь

случайных находок (Лебедев, Писарев…). Может быть, удача – это и есть находка? Только кто кого находит: она меня или я её?». *(Дневник, 3 февраля 1970 года).*

«Я считаю удачными те дни, когда удалось хорошо поработать мозгом… Конспектирую „О любви“ Стендаля, братьев Стругацких… Очень устал, но усталость эта особого рода. Вечером ложусь спать и тороплюсь заснуть, чтобы утром вновь сесть за работу: за любимую мной работу… Чтобы научить других, я должен научить и изменить себя». *(Дневник, 4 февраля 1970 года).*

«Мастерство. Людям нравится смотреть на вещи или свойства, доведённые до предела, потому что это – возможный предмет для подражания, или просто потому, что созерцание необычного выводит за пределы трафаретного существования. Чем глубже мастерство, тем дальше от обыденного, и тем выше восхищение.

Кто-то писал, что каждый должен хотя бы раз в жизни совершить подвиг. Часто таким подвигом бывает жизнь, доведённая в какой-либо профессии или в чём-то ином до предела.

…Заканчивал читать Эдуарда Лабулэ „Принц-пудель“ (взят в библиотеке по совету Зуева), и чем меньше страниц оставалось до конца, тем тяжелее на душе. Сначала недоумевал, потом понял: Лабулэ писал о государстве-монархии, я перенёс эти идеи на государство социализма – и разница оказалась незначительной… Понятно, почему наши „самые правильные идеи“ не побеждают в буржуазном мире». *(Дневник, 6 февраля 1970 года).*

«Я повзрослел. Об этом говорит тот факт, что я стал ценить искренность, доброту и т.п., т.е. те качества, к которым ранее относился как к должному в человеке. К сожалению, это не так.

Каникулы просидел над книгами. Многое узнал, кое-что понял, часто думал и иногда мечтал». *(Дневник, 11 февраля 1970 года).*

***

Безжизненный, холодный слог…
Страстей унылых прозябанье
В себя включил он так, как смог,
А смог: закутав всё в мечтанье.
…Он думал, уходя от жизни,
Себя от смерти уберечь.
Гордясь собой, забыв Отчизну,
Он восхвалял мерцанье свеч,
И жалкий мир игры любовной,
Природы грустную красу
И руки женщин бездуховных,
Что коченели на ветру…
Его уж нет. Забыт людьми,
Чей быт ему был лишь забавен,
Он растворился в далях тьмы,
Поэт элиты – Северянин.

«Два года борьбы, которую я вёл, показали, что невозможны прогрессивные изменения в пределах изжившей себя системы. Взять хотя бы комсомольскую линию на факультете. Везде сейчас занимают посты те люди, в выборе которых я принимал самое деятельное участие. А что толку?!». *(Дневник, 11 февраля 1970 года).*

Однажды меня поразили слова Корнелия Тацита о том, что «лекарства действуют медленнее, чем болезнь», – с тех пор я стал рассматривать науку как нечто, обязанное создавать новые, эффективные лекарства для человечества. Определяющую роль в этом должны были играть история, философия и социология.

Мне нравилось бродить по чужим душам – и анкетирование, которым я занимался время от времени, было своеобразным итогом таких путешествий, – а также фундаментом для изучения моего современника. В результате из тридцати анкет сложился усредненный тип личности со следующими ценностными ориентациями:

Выдержки из социологических анкет:

Вопрос. – Отношение к общественной деятельности?
Ответ. – Это – для идеалистов и карьеристов.
Вопрос. – Отношение к родителям?
Ответы. – Люблю, но не уважаю – разные взгляды. Поэтому и любовь – вымученная и искалеченная.

– Благодарное и скептическое. Помогли материально достичь моих целей, но сами этих целей не понимают.

Вопрос. – Кем мечтала быть в школе?

Ответ. – Быть умной.

Вопрос. – Ваше представление о любви?

Ответы. – Это большая несправедливость одного относительно другого. Один всегда раб другого.

– Самое необходимое в жизни чувство.

Вопрос. – Есть ли друзья? Зачем они тебе?

Ответ. – Есть. Без них трудно избавиться иногда от самой себя.

Вопрос. – Что такое счастье?

Ответы. – Это когда человек не нуждается в определении этого понятия.

– Это – покой в обыденности и беспокойство души.

Вопрос. – Что нравится в других людях?

Ответ. – Излучение тепла.

Вопрос. – Ваш любимый книжный герой?

Ответы: – Остап Бендер. Идеал мужчины.

– Атос из «Трех мушкетёров».

– Женщины-декабристки.

– Человек у Паустовского.

Вопрос. – Что такое Родина?

Ответ. – Наиболее остро ощущаю её, когда слышу песни военных лет. Мера патриотизма определяет степень порядочности человека.

Вопрос. – В чём смысл твоей жизни?

Ответ. – Получать удовлетворение от тобой сделанного.

– Для отдельного индивидуума нет. Объективно – продолжение рода.

Вопрос. – Ваше представление о своём будущем?

Ответ. – Легко мне не будет. И зависит оно не от меня.

«В „идеальной“ любви есть какая-то воздушная сладость: сидишь за столом и думаешь, что недалеко от тебя живёт девушка, которой ты нравишься и с которой в любое время – хоть сейчас – можешь познакомиться. И на душе становится легко». *(Дневник, 17 февраля 1970 года).*

«В 3 часа началось заседание кружка социологии. Вместо 8 человек, назначенных мной к выступлению, присутствовало только трое. Первым выступил Костя Ильницкий: чувствовалось, что доклад не совсем понятен и для него самого. Дискуссии не получилось, поскольку никто в этой области подкован не был…

Интересная черта у интеллигентов – людей умственного труда. Почти все они склонны мудрствовать, и редко кто решается перейти от слов к делу. Возможно, потому, что они уверенней чувствуют себя в знакомой области теоретических словопрений. Совмещение теории с практикой – вот золотая середина, по которой проходит стержень прогресса». *(Дневник, 19 февраля 1970 года).*

Одессит Константин Алексеевич Ильницкий родился 31 января 1951 года. Его отец работал заместителем прокурора Одесской области, мать умерла во время родов. Младшая Костина сестра Света ко времени нашего знакомства переехала на постоянное местожительство в Ленинград, к своей тёте.

«Только что смотрел по телевизору выступление Васи Попкова, читавшего свои стихи. Большое видится издалека, поэтому я только сейчас осознал: Вася очень талантлив и у него большое будущее.

Кроме меня, в комнате сидели и смотрели на выступление Васи несколько его однокурсников. Я исподтишка наблюдал за ними: одни завидовали, другие восторгались, третьи просто принимали к сведению: но никто не остался равнодушным. А мне было радостно за Васю и немножко тревожно: сможет ли он выдержать ту нагрузку чувств, которую предъявляет время к слову „поэт“…». *(Дневник, 22 февраля 1970 года).*

Я публиковал Васины стихи в факультетской газете «Историк»; одно из них сохранилось в моих архивах:

ПОЭЗИЯ

Изваянная взмахом стольких рук
вне взглядов установленных на вещи
безжалостно готовая к добру
поэзия пророчествует веще.

Бывает, предрекания поправ,
мы начинаем понимать то счастье
вдруг потрясти правдивейшей из правд
при этом не встречая соучастья.

И различать через метельный вспург
кандальный гул – за вдохновенье почесть, –
и памятником мрака Шлиссельбург
и памятником зла густые ночи.

И не довольно ли хулить?
И не довольно ли решеток,
Дантесов, плетей и чахоток,
степей, Сибирей и Чукоток,
чтобы ПОЭЗИЮ убить!?

И под ножами гильотины
В бессильной муке сердце билось,
И прежде чем крови рубины
разбрызгались по мостовой
хрипела: «Громче митральезы!
Ещё горячей куй железо!»
Но оборвалась Марсельеза
над коммунарскою стеной.

Её кололи и стреляли,
пороли, вешали, сжигали,
её боялись и не знали,
что их старательность пуста.
Она от пули оседала
и слепо рыхлый снег хватала,
и даже будто угасала,
чтобы стремительней встать!

И окрылённая декретом
вновь прокричав: «Вся власть Советам!»
она рыдания при этом
была не в силах удержать.
И флагом широко махала.
Но зачадили вдруг Дахау,
и в громовое полыханье
она ушла, чтоб побеждать…

О, вдохновеньем одержимость!
К чертям швыряя мод ужимки
вдруг ошалелою пружиной
свято рванулась муза в нас.
Подчас пылающее крамольна
и музыкой, ночами, морем,
любовью, ненавистью, болью
поэзия разорвалась!

И постигая тонкости пера
порой мы забываем совершенно
что в том и есть прямое совершенство,
как потрясать правдивейшей из правд!

«Болезнь свою обнаружил ещё вчера – воспаление за левым ухом, – очень перепугался, так как в этом районе расположены нервы уха и мозжечка. Натянув на голову шапку, пролежал весь вечер в постели, мрачно размышляя о том, каким будет моё будущее и не состоит ли оно из одних болезней. Задумай я написать свою биографию, то название готово: „История моих заболеваний“…

В обычной жизни необыкновенные люди слывут чудаками, но для необыкновенных условий нужны только необыкновенные люди. Каждый из нас живёт в каком-то измерении и меряет по своему подобию всё окружающее…

Я ещё не знаю своей дороги. Куда идти? Философия, литература, социология? Всё заманчивое, обещающее, но сколько и для чего? Я не хотел бы жить только для себя, потому что тогда зачем я? Хочется создать нечто новое, что заставило бы всех по-другому посмотреть на мир (именно: на мир, а не на меня).

А пока что нужно учиться, учиться и учиться. Учиться всему, учиться у всех». *(Дневник, 3 марта 1970 года).*

(…)

Праздники никто из нас принципиально не праздновал, не желая пополнять послушные ряды обывателей, живущих свою жизнь по предписанной «сверху» программе. В праздники мы работали больше, чем в обычные «трудовые» дни.

В последний день Старого года я обычно подытоживал его, отмечая свои успехи, неудачи и планы на будущее.

«Уже сейчас можно сказать, что этот год был решающим в моём развитии; он дал мне направление, ради которого я собираюсь жить, и, если потребуется, умереть. Неоценимую помощь оказали мне Глеб и Игорь. Они поддержали, может быть, даже незаметно для себя, моё желание стать человеком, указывали выход из тупиков, снабжали книгами, объясняли некоторые ошибки.

Где-то с начала октября в моём развитии произошёл качественный скачок. Условно его можно отметить тем днём, когда я прочел „Наброски к методу“.

Громадный толчок – разрыв с газетой, выход из системы. Пожалуй, так и можно объяснить мой качественный сдвиг – я вышел из системы, я отказался (пусть даже внутренне) быть элементом, деталью социальной машины.

Путь вроде бы найден. Это – борьба, борьба за человека, за человеческое, за Жизнь». *(Дневник, 31 декабря 1970 года).*

Игнорирование праздников – ребяческий протест против государственных предписаний, обязывавших веселиться. Я понимал это – как и то, что моё отношение к чему-то не касается моих студенческих друзей и родственников, – и я поздравлял их с праздниками, желал счастья, здоровья, или отправлял послания, подобные тому, которое получили от меня мои подруги-«филологини»: Люда К. и Алла Чуприна.

***

Две девушки:
Люда и Алла,
II Новый год –
Год, в котором
Всё будет по старому.
А может быть, и нет…
Ведь это
Зависит от девушек,
А не от года.

На факультете шла сдача зачётов. Серьёзнее всех к учёбе относились Игорь и Костя: я готовился один день, а Глеб, наловчившийся сдавать сессию с помощью учебников за пазухой и шпаргалок в кармане, вообще не обращал на учёбу никакого внимания.

«После третьей пары решали вчетвером, как быть с Игорем. Костя и Глеб высказались против усиления склоки, против шумихи. После долгого спора была принята их точка зрения, тем более, что её поддержал Гена Тощев. Я уступил, чувствуя, что в общем моя цель сейчас – не спасение Игоря, а удар по Храмченко.

Потом я пошёл к Косте, он угощал меня обедом, я его – разговорами. Рассказал о своей теории общения, потом взял с него анкету. Костя прочел мне два своих стишка, я ответил ему тем же. Костя говорил, что он сейчас ничего не может делать, что те эмоции, которые у него ещё остались, не нужны ему в жизни, он не может их применить. Главное для него – найти Дело, стать его воплощением, чтобы было что сказать людям. Когда он говорит „от чего-то“ – он может говорить и действовать, когда говорит от себя – ничего не может сказать, слякотное ощущение, вместо себя чувствует пустое место.

У Кости нет никаких ощущений, он даже боли не может почувствовать. Костя попросил меня сделать ему больно. Я невольно посмотрел на его оголённую шею с кадыком, на приподнятый подбородок. Удар ребром ладони, и Костя целый вечер будет размышлять, за что я его ударил. Встряска… Я опомнился, мысленно представил себе всю эту трагедию – и мне стало противно. Ударить человека! Жалости я не ощущал, я вообще никого не жалею, включая и себя, просто стало противно, и я отказался, как ни упрашивал меня Костя». *(Дневник, 5 января 1970 года).*

Костя жил тогда где-то в районе парка им. Шевченко, в тёмных, уставленных мебелью, комнатах. Я давно не видел такую, в общем, довольно роскошную квартиру, но ощущение от неё было почему-то столь же неприятным, как от «хаты» Игоря. Мне подумалось, что единственное, что может заставить себя сделать житель таких комнат – это смотреть телевизор и слушать музыку (чем, кстати, и увлекалась Костина сводная сестра Лена) – но Костя выходил за пределы подобного определения, и это казалось самым удивительным.

Взятая у Кости социологическая анкета:

«Вопрос. – Твоё отношение к общественной деятельности?

Костя. – Отрицательное, не воодушевляют цели.

Вопрос. – Отношение к родителям?

Костя. – Не уважаю, принимаю как должное их заботу.

Вопрос. – Кем ты хотел стать в школе?

Костя. – Журналистом, ибо любил сочинять и путешествовать (2/3 правды).

Вопрос. – Твоё представление о смысле жизни?

Костя. – Каждый человек находит сам себе смысл (и ему в этом помогают). Я не нашёл.

Вопрос. – Твой любимый писатель, поэт в школе?

Костя. – Маяковский, Достоевский и т.д., и всё (1/2 правды). Я их уважаю больше.

Вопрос. – Любимый писатель, поэт сейчас?

Костя. – То же самое.

Вопрос. – Какие качества в человеке ты ценишь?

Костя. – Человечность, фанатизм и всё острое и тонкое, в превосходной степени. Сильное, яркое, нюансы.

Вопрос.– Что в человеке ненавидишь?

Костя. – Понятие мне чуждое. Оно не посещает меня больше одного раза в 20-30 лет.

Вопрос. – Какие качества в человеке не ценишь?

Костя. – Слабость (не всякую).

Вопрос. – У тебя есть друзья? Много?

Костя. – Нет. И много (юмор). 1/2 правды.

Вопрос. – Что ты считаешь главным в жизни?

Костя. – Деятельность, и побешенней.

Вопрос. – Твоё отношение к долгу?

Костя. – Серьёзное, но пока нет приличных долгов.

Вопрос. – Твоё отношение к морали?

Костя. – Поскольку она меня устраивает, но вообще я „слишком воспитанный“.

Вопрос. – Твоё отношение к патриотизму?

Костя – Я патриот.

Вопрос. – Что такое дружба?

Костя. – Что-то очень хорошее и близкое между людьми.

Вопрос. – Твоя цель в жизни?

Костя. – Найти себе Дело, Занятие, Цель и Смысл.

Вопрос. – Что такое в твоём представлении „родина“?

Костя. – СССР. Не ощущал.

Вопрос. – Что такое в твоём представлении „народ“?

Костя. – Или масса, или люди по „кусочкам“.

Вопрос. – Что такое в твоём представлении „интеллигент“?

Костя. – Колеблющийся, хныкающий, но образованный и страдающий от образования человек (это не о всех, но о значительной части).

Вопрос. – Что такое в твоём представлении „партия“?

Костя. – Авангард пролетариата, во многом обанкротившийся, но ещё боевой и ведущий. Необходим лишь для социализма.

Вопрос. – Твоё представление о комсомоле?

Костя. – Несерьёзно, хотя и серьёзно (всё-таки, помимо „ха-ха“, движет людей).

Вопрос. – Твоё представление о счастье?

Костя. – Любовь, тончайшая в проявлениях, и борьба самая бешенная (не драка, конечно).

Вопрос. – Тебе нравится окружающая тебя действительность?

Костя. – Во все стороны эмоций, но приглушённо (и да, и нет).

Вопрос. – Что не нравится в действительности?

Костя. – Основные известные безобразия, но приглушённо очень, ибо меня мало трогают непосредственно.

Вопрос. – Какие пути к изменению действительности ты видишь?

Костя. – Для всех – не вижу.

Вопрос. – Что такое любовь?

Костя. – Сказка и чудо (не мять, не рвать, не топтать, не запачкать и т.д.).

Вопрос. – Почему ты пошёл на истфак?

Костя. – Больше было некуда, ибо направление гуманитарное общее мне виделось.

Вопрос. – Ты доволен истфаком?

Костя. – Нет.

Вопрос. – А историей?

Костя. – История нравится, как кладезь закономерностей и анекдотов.

Вопрос. – Твоё представление о своём будущем?

Костя. – Великий теоретик и вождь чёрт его знает какого движения. Счастливый человек. Любимый.

Вопрос. – Зачем ты живёшь?

Костя. – Потому, что народили (и образовали).

Вопрос. – Кем бы ты хотел работать?

Костя. – Вольным революционером, но можно и сыном миллионера.

Вопрос. – Твой идеал жены?

Костя. – Любимая и любящая.

Вопрос. – Твой идеал семьи?

Костя. – Не надо.

Вопрос. – Твой идеал работы?

Костя. – До сумасшествия.

Вопрос. – Твой любимый книжный или жизненный герой?

Костя. – Когда Маркс, когда Ленин (меньше), на меньшее (!) не согласен.

Вопрос. – Твоё представление о самом себе?

Костя. – Слабоволен, расхлябан, ленив, без больших чувств, стремлений, желаний (кроме того, чтобы их иметь) и т.д., но пока не без способностей.

Вопрос. – Если бы тебе сказали: „Назови три свои самые заветные желания, и они исполнятся“, то, что бы ты назвал?

Костя. – а/ любовь (можно взаимную, даже нужно), б/ работу, деятельность; в/ идею, веру, волю, цель. Всё максимально сильное.

Вопрос. – Твоё отношение к девушкам?

Костя. – Все они „ждут“. Я тоже „жду“, мне пока нечего „сказать людям“». (Записи), 4 января 1971 года.

После того, как ребята отказались принять Олю в Сид, она отошла от нас, углубившись в общение, стихи, работу. Её развитие шло иным, чем у нас, путём, но она явно развивалась в направлении каких-то своих сложных идеалов. Я часто встречался с ней на факультете: мы важно беседовали о разнообразных космическо-бытовых проблемах, хохотали, читали друг другу стихи. О Сиде не упоминали – Олю явно обидел наш отказ, и я её вполне понимал.

На следующий день после посещения Кости я, уже собираясь уходить с факультета, наткнулся на втором этаже на Олю, и предложил ей ответить на ряд вопросов. Мы уселись на большой круглый стол около кафедры философии и стали по очереди записывать на бумагу вопросы и ответы.

«Вопрос. – Твоё отношение к общественной деятельности?

Оля. – Если общественные нагрузки, надо выполнять. Если дело за проявлением моей личной активности:

1. А надо ли это обществу?

2. А надо ли это мне?

3. Что мы с этого иметь будем?

Вопрос. – Твой любимый писатель, поэт в школе?

Оля. – Начальная: Андерсон, Родари, В. Осеева, А. Барто, Михалков, Маяковский, Чуковский, Экзюпери. Средняя: Н. Островский, Л. Толстой, М. Горький., А. Моруа, Войнич, Лондон, Лорка, Неруда, Симонов, Шекспир. Все, кто про войну писали.

Вопрос. – Твой любимый поэт, писатель сейчас?

Оля. – Маяковский, Саша Чёрный, Лорка, Горький, Чехов, Л. Толстой.

Вопрос. – Твоё отношение к родителям?

Оля. – Ну, они же – родители! Люблю. Верю. Уважаю. И вообще – иди ты…

Вопрос. – Что ты считаешь главным в жизни?

Оля. – Человек – цель. Правда. Труд.

Вопрос. – Какие качества в человеке ты ценишь и любишь?

Оля. – Честность. Знания. Любовь к людям. Непосредственность. То, что мы имеем под понятием „воспитанность“.

Вопрос. – Что в человеке не любишь?

Оля. – Лицемерие. Лень духовную. Если собак не любят. Равнодушие.

Вопрос. – У тебя есть друзья? Много?

Оля. – Да. Мало.

Вопрос. – Зачем тебе друзья?

Оля. – Чтобы не озвереть. Зачем мне друзья… Нужны!

Вопрос. – Что такое дружба?

Оля. – Знакомый – это тот, кто придёт, когда я позову. Друг – тот, который знает, когда нужно придти, и делает это сам.

Вопрос. – Кем ты мечтала стать в школе?

Оля. – Историком-учителем.

Вопрос. – Твоё представление о смысле жизни?

Оля. – Брать, брать, чтобы потом дать (уже скоро.)

Вопрос. – Тебе нравится истфак?

Оля. – Мне люди на истфаке нравятся. Некоторые.

Вопрос. – Кем бы ты хотела работать?

Оля. – Мультипликатором. Искусствоведом. А вообще, я ещё не знаю, как это называется.

Вопрос. – Твоё представление о своём будущем?

Оля. – Самое радужное. А вообще-то я меланхолик…

Вопрос. – Счастье – что такое?

Оля. – Счастье… трудно с ним. Без него – ещё хуже. Никогда не терять себя. Иметь друзей и врагов. Быть любимой и любить. Жить. Читать, жить… Творить, создавать. Труд.

Вопрос. – Твоя цель в жизни?

Оля. – Учиться, узнавать, путешествовать.

Вопрос. – Твоё представление о любви?

Оля. – Счастливая любовь – обоюдная. Но так не бывает, кто-то один – ошибается или лжёт. Наиболее яркая, настоящая – неразделенная любовь. И, может быть, только это и есть любовь. А другие варианты называются как-то иначе.

Вопрос. – Тебе нравится окружающая тебя действительность?

Оля. – Это надо как-то конкретизировать. Я подумаю… Я её принимаю или не принимаю (по пунктикам).

Вопрос. – Твои увлечения, хобби?

Оля. – Поэзия, литература, общение, фехтование, сказки.

Вопрос. – Твой идеал работы?

Оля. – 1. Библиотека (из-за людей). 2. Одиночество. 3. Работать запоем, без регулярного специального отдыха. Работать только тогда, когда хочется.

Вопрос. – Твой идеал семьи?

Оля. – Основана на любви плюс демократии.

Вопрос. – Твой идеал мужа?

Оля. – Демократ: лучше левый.

Вопрос. – Твоё отношение к морали?

Оля. – Уважать её надо, общественное мнение есть же. А вообще – „хочу и буду“.

Вопрос. – Твоё отношение к долгу?

Оля. – Должное. Правильное. Долги платить нужно (лучше быстрее).

Вопрос. – Твоё отношение к патриотизму?

Оля. – Все есть патриоты. Кто нет – к стенке.

Вопрос. – Что ты понимаешь под понятием „Родина“?

Оля. – Родина. Люди. Мама. Папа. Дети. Мои дети. И всё остальное.

Вопрос. – Что ты понимаешь под понятием „народ“?

Оля. – „Я“ – частица, много „я“ – народ.

Вопрос. – Что такое „интеллигент“?

Оля. – Совокупность качеств, определяющих Человека.

Вопрос. – Что такое „партия“?

Оля. – Объединение людей, связанных общей идеей. (Зачёркнуто).

Вопрос. – Что такое комсомол?

Оля. – Помощник, друг и наследник партии. (Зачёркнуто).

Вопрос. – Если бы тебе сказали: „Скажи три свои желания, и они исполнятся“ – что бы ты сказала?

Оля. – 1. Все должны уметь быть счастливыми. 2. Ищущий – да обретёт. 3. Откройте секрет поджелудочной железы.

Вопрос. – Твоё представление о себе?

Оля. – „Быть – в казаться“.

Вопрос. – Твоё отношение ко мне?

Оля. – Самое хорошее». (Записи, 5 января 1971 года).

Оля напоминала мне девочку – маленькую, не по годам серьёзную девочку, потерянную своими родителями. Вокруг много взрослых людей, занятых трудными делами, дорожащих временем и результатом, а она ходит между ними, с любопытством разглядывая: чем же это они занимаются? Думает о чём-то, иногда произносит фразы, ясные и неожиданные, как дождь летом, разыскивает кого-то или что-то. Это и отличало её от сверстниц, живущих твёрдыми, конкретными целями, распределяющих будущее по полочкам и пятилеткам здравой мудрости и всегда знающих, что почём и в каком магазине, – хотя они, вероятно, и не были виноваты в своей обыкновенности, эти девочки, успевшие повзрослеть детьми…

«Нужно бить, бить и ещё раз бить. Хватит спокойного сознания своей возвышенности, пренебрежительного незамечания хамства и наглости „мира сего“. Мелочи, из которых капля по капле вырастает море лжи и бесчестия, в котором с привычным омерзением барахтаются люди.

Нужно научиться бить людей, бить всерьёз, не в качестве животной реакции, а обдуманно и целеустремлённо, как окружённый врагами разведчик, расстреливающий последние патроны: точно в цель, аккуратно, наверняка. Иначе мещанский девиз „Не вмешивайся! “, футляром окутывающий большую часть наших шагов по земле, превратится в привычку, в мраморную клетку, недоступную солнцу и воздуху – в клетку, где сгниют твои самые лучшие чувства и побуждения». *(Дневник, 6 января 1971 года).*

«Пригласил Свету Жеребчук на прогулку к морю. Было холодно, мы спустились вниз, к волнам. Света без умолку болтала, я шёл рядом, со скукой думая, что было время – где-то осенью второго курса, – когда я посчитал бы такую прогулку за счастье. Закончив одну тему, Света переходила к другой, и замолчала только возле пенившейся воды. Море вздымало волны, огромные, зеленовато-седые, с шумом бившиеся о берег и рассыпавшиеся по убегающим от берега каменным выступам. Попробовали постоять на этих камнях – и нас залило водой. С хохотом выскочили на берег и отправились к заинтересовавшей Свету вышке. Темнело, на белый снег легли серые тени сумерек. До вышки не дошли – замерзли, повернули назад, потом взобрались по лестнице наверх и вскоре были в общежитии…». *(Дневник, запись от 8 января 1971 года).*

«Давно я не видел светящихся девичьих глаз! А только что в разговоре со мной на меня так смотрела Света Жеребчук. Вчера она сказала, что я её лучший товарищ из мужской половины, за ночь, вероятно, решила, что могу стать и нечто большим. Как часто мы желаемое выдаём за действительное, а прошлые чувства – за настоящие, и всё это помимо своей воли. Тяга человека к лучшему, вера в лучшее. Осень второго курса – зима четвёртого… Разное время, разные люди». *(Дневник, 9 января 1971 года).*

«Нужно действовать, сражаться, и не с туманом в своей голове, а с реальным злом, которое видишь вокруг себя. Мысль о литературе, как о средстве огласки своих мыслей, оставить нельзя. Какую отрасль выбрать – ещё неизвестно. Критика – самая действенная штука, но там меня выгонят с работы после первых статей. Да и кто ещё согласится их напечатать?! Поэзия? Можно было бы попробовать, но очень трудно будет пробиться сквозь толпу патентованных рифмоплётов, растеряешь себя в мелочах по дороге и дальше лирико-гражданственного краснобайства не пойдёшь.

Маркс и Энгельс – мои главные учителя. Отвернувшись, смотрят они со стены на своего нерадивого ученика, не могущего осилить их «Ранние произведения».

Великолепные слова Чернышевского: «Не правда существует для государства, а государство для правды!». *(Дневник, 10 января 1971 года).*

«Приходил пьяный и веселый Витя Глебов. Он получил пятерку на экзамене, а потом встретил комсомольских „божков“ города, купили закуску и водку, и пошли пить в обком комсомола. Витёк наверху блаженства, небрежно рассказывает, кто каким путём делает карьеру, и прочее. Упрекнул меня в том, что вот я бросил печать, а то бы… Ясно: если бы я продолжил комсомольскую карьеру, то место в горкоме после окончания фака было бы мне обеспечено. Плевать! Страшно другое: мне не нравятся ни Игорь, ни Глеб, ни Костя. Игорь уже разрабатывает планы, как остаться при экономическом институте работать социологом, потому что на карьеру учёного ему наплевать, этим пусть занимаются Глеб и Костя. Дело с комсомольским билетом Игорь считает поражением, он теперь махнул на всё рукой и ничего не хочет делать. Откуда-то, помимо меня и Тощева, он узнал, что Х. – добровольный осведомитель органов, и теперь боится с ним связываться.

Возникает интересная ситуация, которую можно озаглавить как распад нашего Дела. Каждый начинает думать о себе, о своём будущем, и сегодняшний день начинает планировать в счёт завтрашнего – повыгоднее. Если говорить о карьере, то у Игоря – социология, у Кости, Глеба и меня – кафедра философии или работа писателя.

Неужели я ошибся в ребятах?! Неужели вся их революционность – только слова?! Во всяком случае, Игорь взят у меня под сомнение. Костя пока бездельничает, а Глеб пожинает новые лавры за старые победы.

С ребятами нужно будет поговорить. Учитывать нужно всё: и вечное „я“ Игоря, и замечания Кости о том, что мы боимся, что кто-то из нас перегонит в чём-то другого, и усиленный интерес Глеба к кружку, философскому клубу и Мацюку». *(Дневник, 14 января 1971 года).*

Я ошибался, пророча Виктору Глебову карьеру комсомольского работника: после окончания аспирантуры он защитил кандидатскую диссертацию и превратился в учёного-международника, а позже стал деканом факультета международных отношений Одесского национального университета.

«Ребята усиленно правеют. Игоря трудно узнать, весь его фанатизм куда-то испарился, сейчас это обычный, немного странный чудак. Глеб хвастается, что Мацюк приглашал его участвовать в телевизионной передаче „Будущее человека“... Костя не хочет даже вести разговоры на тему о Деле, потому что выводов никаких не будет, и всё уйдёт впустую». *(Дневник, 15 января 1971 года).*

Сессию мы сдавали успешно: я и Костя на – повышенную стипендию, Глеб – с четвёркой по английскому языку, доставлявшему ему всегда громадные мучения.

«Только что Володя Курбанов заявил, что уверен в том, что когда-нибудь я напишу очень хорошую книгу о жизни. Коля Червенков запротестовал: „Напишет о чем угодно, только не о реальной жизни. Голову даю наотрез“...

Читал „Огонь“ Анатолия Кузнецова. Настоящий писатель, умный, наблюдательный, но уже чувствуется гоголевский кризис: поиски героя в царстве мёртвых душ». *(Дневник, 19 января 1971 года).*

«Судьба поэта – не мудрое уважение и восхищенное почитание, а бытие осеннего листика, гонимого холодным ветром. Чудо приходит только к тому, кто верит в чудеса. Человек строит стены, нагромождает камень на камень, и живёт за этой стеной, стоящей между ним и миром»[1].

---

[1] Отсылаем заинтересованного читателя к полному тексту романа: Вячеслав Килеса, «СИД». – Симферополь, Издательство «Бизнес-Информ», 2008. *(Ред.)*

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

В РАЗЛОМЕ (1972-1984 гг.)

часть 1

Человек не может быть настолько
плох, чтобы годиться для этого мира.
Халдор Лакснесс

Из письма Кости, Владимирская область, 1975 год:

«Милый Глеб, ничего ведь ещё не закончилось. Говоришь, в Москве очень интересовались нашим прошлым… Говоришь, захотели приехать, посмотреть на нас… Говоришь, надо бы продумать наш путь и что-то написать… Спрос так велик, говоришь…

Неужели так интересно? Неужели это самое интересное в нас? И его можно пустить на продажу? И даже за границу? А почему нет? Ведь требуется, требуется новое, свежее, из истории современности, новый опыт для уроков (хорошо бы для уроков), для мысли, чувства, надежды.

Мы интересны прошлым? Нет, нет, нет, нет, нет. Прошлое ещё не закончилось, оно ещё убивает меня каждодневно…».

Из письма Глеба, 1976 год:

«Как ни страшно жить, жизнь продолжится, если мужчины не утратят волю к творческому сопротивлению абсурду, а женщины – веру и желание рожать детей в этот мир». В середине сентября 1976 года, после неудачной попытки самоубийства и принудительного лечения, которое с особым тщанием применяют к такого рода пациентам, я вышла из психоневрологического диспансера. И Костя, приехавший по телеграмме моего бывшего мужа Глеба, забрал меня замуж. Жизнь крошилась и разламывалась вокруг.

– Надо выжить, – сказал мне Костя. – Всё образуется, надо выжить. И Костя, и Глеб были из СИДа. Что означает эта аббревиатура, навеянная средневековыми рыцарскими романами, – об этом чуть позже. Всего их было четверо – страшно умных. И я: рапиры за спиной, книжка под мышкой, в руке яблоко – чтобы отдать кому-нибудь. Яблоко каждый день обязательно, как повод подойти. Они были мальчишки. А я – нет. Это определило наши отношения. Я их любила, а они расширяли моё сознание. Конечно, хотелось стать им нужной. Ну, позарез необходимой. Два года способ изобретала – и в кружке международных отношений, и в кружке социологии. Боже, сколько пришлось перечитать, чтобы им соответствовать, пока однажды не заговорила на их языке…

Из дневника Славы, 1970 год:

«Это было в марте 1970 года. В мою 402-ю комнату общежития № 4 Одесского университета пришли Игорь, Глеб и Костя… Они предложили заключить союз, чтобы точно выяснить, есть ли социализм в СССР, а если его нет – что здесь такое, и вообще, решить задачи, непосильные для одного человека».

К моменту объединения почти все ребята успели обжечься, пережив типичную для своего времени драму пионерско-комсомольского сознания, нагруженного идеалами строительства коммунизма и изнасилованного при попытках претворения их в жизнь.

Слава, будучи старше остальных на курсе, участвовал в «комсомольской оппозиции» на историческом факультете, ставившей целью добиться выборности комсомольского руководства не сверху, а снизу, для чего затевались интриги с тайными сборищами, протаскиванием своих кандидатов в курсовые и факультетское бюро. Впрочем, разочарование было скорым и болезненным.

Для Глеба и Кости поворотным пунктом был выпуск курсовой стенгазеты, сравнивавшей факультет с затхлым чуланом, иронизировавшей над авторитетами и требовавшей от студентов активности и самостоятельности.

Из дневника Славы:

«Газету читали все – и студенты, и преподаватели, мнения высказывались разные, однако итог начавшейся дискуссии подвёл деканат, передавший, как было сказано, газету в КГБ и устроивший её редколлегии

трёхчасовую выволочку в партбюро. Особую ярость администрации вызвал нарисованный гриб атомного взрыва, расцененный парторгом как маоистский призыв к третьей мировой войне (!)».

Кстати, удивительное совпадение: ребята назвали газету «XX век и мир» – почти так называется московский журнал, в котором ныне работает Глеб.

С Игорем всё было несколько иначе. Белая книжная ворона, раздражающая своей непохожестью уличную шпану города Николаева, он принёс на факультет ненависть ко всему классу советского мещанства, которое окрестил словечком «щункты».

Для всех четверых сделался невыносим ужас той лжи, которая нагнеталась со всех сторон. Кому, чему верить? Я верю твоему желанию идти и искать. А ты – моему. Союз, единство казались выходом, будили воображение, придавали сил.

Через несколько лет, когда всё рассыпалось, пошло прахом, Слава написал книжку и выпустил её самиздатским способом в нескольких экземплярах. Назвал её «СИД» (начальные буквы от «субъект исторической деятельности»). У книжки есть судьба и нет черновиков. Всё арестовали – и сложили, наверное, в большой бумажный мешок. Глеб видел, как по коридору московского комитета волокли такой. На нём значилось: Гефтер М.Я. Учителя имя.

И я такой мешок видела, но без имени, в коридоре одесского комитета. Наверное, все мешки, которые по таким коридорам протаскивают, одним и тем же наполнены. Мыслями. А коридоры, похоже, сообщающиеся.

Так вот, экземпляры «СИДа» начали арестовывать после 1975 года. А последний – через семь лет, когда Глеба брали. Именно этот экземпляр лежит на моем письменном столе.

Из «СИДа»:

«…В Одессе расцветала весна, и мы собирались теперь у моря… Цель нашей деятельности была смутная, расплывчатая не только для меня, но и для остальных. Мы являлись гражданами великой страны и продолжали осознавать себя таковыми даже тогда, когда сталкивались в теории или на практике с гнусностями советской действительности. Ведь у нас был социализм, плановость экономики, отсутствие безработицы, а там, на Западе, бушевали полицейские преследования, эксплуатация, голод, нищета. Там всё было плохо, тогда, как у нас попадались… недостатки и искривления».

Правда, была масса неясностей, ощущение тупиковости, «но задавать вопросы было некому, или нельзя, потому что ответом мог быть донос в КГБ, разнос в деканате, исключение из университета – и мы засели в библиотеках и читальнях, пытаясь самостоятельно докопаться до истины, собираясь у моря, наслаждаясь возможностью говорить свободно и откровенно – хотя бы только друг с другом».

Позднее Игорь познакомился с одним из одесских диссидентов – Вячеком. «Мы узнали тогда, – писал Слава, – что в стране существует подпольное политическое движение, но контактировать с ним не захотели, рассматривая как особую линию в культурном развитии России».

Но всё-таки ознакомительная встреча с Вячеком состоялась. Он убеждал ребят в необходимости длительной борьбы за демократизацию страны, а они рассказывали о своих занятиях – изучении диалектики, истоков марксизма.

Из дневника Глеба:

«…Говорили с этим типом. Я категорически против любых контактов… Народ, видите ли, туп! Вся надежда на мыслящую интеллигенцию. „Духовная культура… Бердяев… мыслящие люди…“ – нет, это сплошное интеллектуальное и политическое свинство…

Гуманизм и близорукое политиканство – это несовместимо. А ведь какая мелочность целей, интересов! Какое непонимание всей глубины и грандиозности реконструкции, осуществлённой революцией семнадцатого года!..».

Было дружно решено, что с диссидентами не по пути, но совсем уж отворачиваться от них не стоит – хотя бы из-за возможности доставать и читать самиздатскую литературу. (См. об этой встрече также в мемуарах Вячека Игрунова - прим. ред.)

Из «СИДа»:

«Для советского человека политика – явление не жизни, а информации… Из сидовцев лишь Глеб относился к политике серьёзно… особенно интересовался Кубой и молодёжным движением Запада. Оля же политику ненавидела и говорила: только любовь может победить атомную бомбу. Любовь, а не политики. Или только если политики займутся любовью – увлекутся ею. Любовь должна стать предметом их деятельности. И ссорилась с Глебом».

Да, с Глебом, таким безжалостно-умным, влюблённым не в меня, а в марксизм. Это он писал тогда же в одной из первых своих работ «Наброски к методу»: «Дело в том, что вследствие необходимых историко-генетических условий марксизм по своему статусу определился как прочно „принадлежащий“ наличному социальному бытию и, как следствие, чаще не в опредмеченной, а в овеществленной форме.

Диалектический гений Маркса и Ленина теряется в дремучих лесах абстракций, усердно нагромождаемых теми, о которых писал Маркс как о „второстепенных, назойливых, лишённых всякой индивидуаль-

ности фигурах"… Там же теряется и культура – культура, утраченная в самой себе, ибо, как человеческая, она не может примириться со своей самозначимостью и отчуждённостью от миллионов своих действительных творцов. Обретённый же ею марксизм и есть не что иное, как осмысление этой утраты во всей её категорической наготе».

Цитата помимо прочего даёт некоторое представление и о том фантастическом птичьем языке, который постепенно сформировался в СИДе, прежде всего под влиянием усиленно штудируемых Гегеля, раннего Маркса, Шеллинга, других живших раньше и современных мыслителей. Это был язык, на котором умудрялись говорить о самых бытовых, прозаических вещах и от которого приходили в оторопь случайные свидетели сидовских собраний.

«Связь с массами», по выражению Глеба, обеспечивал СИДу кружок социологии, старостой которого был Слава.

Из «СИДа»:

«Кружок принимал всё более интересные и устойчивые формы. Значительно расширился его состав, заседания проходили весьма бурно и дискуссионно. Темы были самыми различными: о смысле жизни, о народниках, о теории и методологии исследований. Оля занималась ценностными ориентациями личности. Игорь готовил доклад «Социальный идеал и действительность». Дискуссию на кружке обычно начинала и проводила в своём русле наша четвёрка. По факультету о социологическом кружке ходила тёмная слава: несколько раз на его заседания заходили незнакомые личности с авторучками и блокнотами. Естественно, что их присутствие учитывалось в наших выступлениях».

Разговоры, деятельность ребят вызывали интерес, притягивали к ним людей. Вот любопытная запись в дневнике Славы:

«Я завёл ребят в холл и сказал им о просьбе Оли работать с нами. Предложение было отклонено… Не имеет смысла включать в нашу, уже сработавшуюся четвёрку новых людей. Но я внёс предложение: каждому из нас создавать своих людей за пределами нашего ядра. Во-первых, таким путём мы расширим круг единомышленников, во-вторых, будем спасать от захирения дельных людей, не выпуская их из сферы своего заботливого внимания и тайной опеки. Впрочем, из последнего мало что получалось. Оля, как кошка у Киплинга, всегда гуляла сама по себе и более всего любила самостоятельность».

Да, но, тем не менее, в повестку заседаний СИДа регулярно включались – вполне серьёзно! – такие вопросы, как «Очередной роман Оли», по которым следовали рекомендации или даже решения… –

Поиски выхода, какой-то иной, лучшей жизни для целого общества сопровождались постоянными экспериментами во взаимоотношениях ребят.

Из дневника Славы:

«Мы собрались у Летнего театра. Первым говорил Костя. Вопрос был поставлен о нашей совместной этике. Мы живём во имя будущего и поэтому должны сейчас жить по его законам, то есть коммунистически, хотя бы между собой. У нас пока получается так, что мы идём рядом и с одной целью, но каждый невольно сохраняет свою самостоятельность, свою собственность на мысли, идеи и прочее… Это тормозит нас, потому что появится у тебя идея – и ты чувствуешь своё превосходство. Нужно, чтобы мы составляли одно целое не только в нашем деле, но и в жизни».

Из дневника Славы, 1971 год:

«Сессию мы сдали успешно: я и Костя на повышенную стипендию, Глеб с четвёркой по английскому языку. Наловчившись сдавать с помощью учебников за пазухой и шпаргалок в кармане, он вообще не обращал внимания на учёбу… Игорь сообщил, что хочет взять академ. отпуск… Он считает, что сейчас мы идём к чему-то новому, что в нашей стране создаётся обстановка, ведущая к милитаризации и диктатуре… происходит новое, нам не ясное, что мы зря вылезли на арену политической борьбы…

На одной чаше весов лежал быт. На другой – честь и идеалы. Каждая из чаш требовала разных нас. И стрелка весов, покачиваясь, склонялась то в одну, то в другую сторону…». Мучительная неопределённость ситуации становилась невыносимой, и Слава предложил формализовать СИД.

«Идею формализации ребята отвергли, доказывая, что мы нечто большее, чем политики; но что же делать дальше – не знал никто».

Из «СИДа»:

«Загадка истории (ЗИ) – одна из тогдашних центральных идей Глеба, захватившая всех нас. Её суть: почему люди во все века так страстно желали новой несегодняшней жизни и почему, несмотря на все пертурбации, мессианство, революции и т. п., эта цель никогда не осуществлялась. По мнению Глеба, решение загадки истории дало бы человечеству возможность изменить вектор истории».

Из дневника Кости:

«Решить загадку истории – это, значит, создать нечто совершенно новое, даже, на первый взгляд, абсурдное… Как момент работы – создание ячейки неотчуждённого мира… Пока саморазвитие человечества – цель официальная, а саморазвитие человека рассматривается при этом как путь, средство к саморазвитию человечества… – Когда для всех станет целью каждый человек – коммунизм».

Потом Костя привёл Ирину. Волосы чёрные, до плеч. Со станиолевыми прожилочками – седина. Голубая радужка глаза не видна. Зрачок во всю голубизну. Пальцы с обкусанными ногтями.

Из «СИДа»:

«Ира любила Костю давно, ещё со школьных времён. А он, несмотря на всю привязанность к ней, оставался равнодушен. Это был ещё один источник его мучений. Неужели он настолько бесчувствен, бесчеловечен, что даже любовь, это самое человеческое чувство, для него недоступна?

Ира учила Костю просто жить, понимать людей. Чувствовать музыку, живопись, природу, быть счастливым просто потому, что живёшь. Он пробовал следовать её советам (что чрезвычайно злило остальной состав СИДа, поскольку он отвлекался от дела), но ничего у него не получалось, и он, к нашей великой радости, вновь садился за книги».

«Теория „деятельной сущности человека“ московского философа Генриха Батищева и чтение ранних произведений Маркса привели нас к мысли о человеке как первооснове цивилизации. Вещные отношения, отчуждение губят, уродуют человека, превращая мир людей в мир потребителей. И мы старались отыскать путь к очеловечиванию современного общества, вернуть человека к его человеческой сущности».

Из дневника Кости:

«Из имеющихся возможностей мы ничего не хотим выбирать. Настоящий выбор будет не выбором существующего, а выбором несуществующего, первым существованием которого будем мы и наша деятельность. То есть, дойдя до чего-то и создав его идеально в процессе работы, мы материально воплотим это впервые в своей деятельности. Но выбор должен сначала произойти идеально, то есть мы должны идеально произвести нечто, что ещё не существует. Этим нечто и будет Утопия, эскиз мира, где, как в песне, „по синим цветам, бродят кони и дети“».

Из дневника Глеба, март 1971 года:

«Почему меня так окрылило открытие Кости. Он уверял – да, „там по синим цветам“, там солнце неимоверное, там ждут нас, пойдём же, чего нам ныть и медлить, когда тепло светится окошко… Мы снимем отчуждение, мы люди – мы построим новый мир. Мы объективны – вот источник оптимизма».

Из дневника Кости:

«Если идея овладевает массой в мои семьдесят пять килограммов, она тоже становится силой».

Из дневника Глеба:

«Мы должны быть максимум таким коллективом, который „берёт под контроль человека и условия его существования“ и в котором „свободное развитие каждого является условием свободного развития всех“ (Маркс). Только через „мы“ каждый из нас „выйдет в люди“».

Из дневника Славы:

«Последнее время мне очень не нравится Глеб. Начав играть роль вождя, он всё более превращает себя в самодура, упивающегося собственным величием. Я уже не решаюсь в его присутствии о чём-либо говорить, заранее зная, что любая моя реплика, не отвечающая взглядам самого Глеба, будет высмеяна и презрительно отброшена».

И через несколько дней:

«Почему обижался на Глеба. Это была обида личности на личные оскорбления. Но так нельзя. Мы деятели, и для действия нам надо отказываться от всего личного: от личной ориентации на внешний мир, от… себя как личности. Каждый из нас – всего лишь материал для будущего. Отдадим настоящее другим: сытым и счастливым, романтикам и бюрократам, подлецам и честным. Пусть делят его справедливо или несправедливо, мирно или войной – пусть делят… „Выбор – дорога революционера“… Ну что ж, я делаю выбор… ты слышишь, вечность, – делаю!».

Из дневника Кости:

«Предложенное объединение во многом по форме основано на том, чтобы уставным порядком сплотить наши разбегающиеся дела и желания… Уничтожить „своё и чужое“, создать нечто групповое имеет тот смысл, что просто мы слишком отчуждены, что нам уже нечего терять человеческого, потому что его почти не осталось. Осознание этого огромно…

Замкнуться в ячейку, изолироваться – это неверно. К чему это реально может привести – к порабощению менее сильных более сильными, более приспособленными к такому делу, ибо люди лишаются остатков человеческого. Не то».

Из «СИДа»:

«Игорь уехал домой, поэтому все вопросы решали без него. Глеб и я были настроены решительно, а Костя колебался, высказывая различные контрдоводы и предложения… Мы бродили по городу – то в районе мединститута, то где-то у автовокзала, – и говорили, говорили, не обращая внимания на осторожно обходивших нас прохожих… В конце концов, Костя сдался».

Из дневника Кости:

«Совершается нечто огромное, невиданное. Мы отказываемся каждый от своего собственного и принимаем за своё „я“ – „я“ общее четырёх человек, занятых ликвидацией отчуждения, созданием теории

истории, революционной по своей сути… Чем это отличается от Рахметовых?.. Там человек остается человеком, жертвующим своим постоянно для общего дела. Здесь же нет жертвования… просто нет „меня“, но есть „мы“.

Отождествление себя с „нами“. Выступление вместе как отдельным субъектом исторического действия. Думать от имени нас. Но что это дает? Это уничтожает собственность в самом широком смысле слова на всё внутри нас… В дальнейшем можно представить нашу ячейку неотчуждённого мира как кирпичик. Из таких кирпичиков – путём расширения их… мир станет неотчуждённым, то есть миром, где люди отождествляют свои интересы с интересами всех?..».

Из «СИДа»:

«Придя домой к Косте, мы обсудили все возможности уничтожения между нами отчуждения. Решили отменить личную собственность на вещи, книги, идеи, будущее и т.д. Каждый тут же отчитался в том, что он имеет, потом свели всё в общий баланс. Для нашей цельной группы нужно было придумать какое-то название, и Костя предложил СИД…».

«Центральная задача СИДа: выработать теорию исторического действия, направленную на уничтожение человеческого отчуждения – после чего наступила очередь практики, то есть исторического действия. Мы (хотя и по-разному, с разными предпосылками и желанием) рвались к этой цели – и спотыкались ежечасно о мелочи и неурядицы реальной жизни. Это раздражало… казалось смешным быть свободным только на словах.

Мы искали причину – и видели чаще всего её в себе или напарниках по совместной работе».

Из дневника Славы:

«Что-то у нас не получается. Наверное, потому, что мы, субъективно новые, пытаемся ужиться со старыми объективными обстоятельствами; вуз, лекции, разговоры… Дома можно вести себя гостем, со знакомыми не здороваться, коллег не замечать, начальство избегать, в вуз… нет, в вуз ходить надо и на лекциях сидеть. Странно, но все наши объективные обстоятельства – это просто другие люди, играющие социальные роли. Мы боимся их обидеть, стараемся не потерять в их глазах „статус-кво“… В конечном итоге мы растрачиваем себя на них, приспосабливаем себя к ним. Впрочем, нет.

Не то, что-то не то…

Опять говорили с шести часов вечера до половины двенадцатого. И опять ничего… Есть от чего растеряться… СИД похож на человека, оставленного ночью в голой степи и думающего, куда пойти, где его дом. Где же наш дом, где наше будущее?..

Глеб считает, что мы лицемерим. Говорим о свободе, а сами ничего не предпринимаем. И когда общаемся – тоже лицемерим… Что делать? Сорвать сессию? Уйти из вуза? Разбирали эти вопросы, ни на чём конкретно не остановились. За каждым действием стоят последствия, вызывающие необходимость других действий. Круги инферно. На Глеба было больно смотреть, так он страдал, и мы тоже… Глеб вбил себе в голову идею свободы как самоцель. Ну, добьётся он её… и что он будет с нею делать?».

Напряжённый поиск какого-то пути к собственному освобождению, происходивший в основном в бесконечных многочасовых разговорах, в конце концов, привёл к взаимному раздражению, ссорам и хлопанью дверьми. Первым хлопнул Костя. Но ребята не разбежались.

Решено было расширить круг знакомых, выйти на связь с теми московскими литераторами и философами, которые стали нам близки по своим публикациям.

Из дневника Славы:

«В качестве визитной карточки решили отпечатать тезисы, выражающие суть нашего мировоззрения. Собрались в комнате у Глеба, но сразу же обнаружились разногласия…

Игорь чеканил фразы об индивиде и человеке, я бросал афоризмы о свободе, Костя толковал об отчуждении. В конце концов измученный Глеб выгнал нас вон, сказав, что тезисы допишет сам.

И вот. Из письма Глеба по поводу поездки в Москву: „Здравствуй, Славик! Начинаю с главного: Генриха Батищева нашли и вчера весь вечер разговаривали у него дома. Это обаятельный средних лет человек (с бородой), чрезвычайно простой в общении, весь погружённый в миропотрясающие идеи „деятельной сущности человека“… Первым делом он ухватился за наши „Тезисы“ („я обожаю опредмеченное знание“), сунув нам с Костей по своей неопубликованной работе. Читал, черкал что-то на бумаге, потом отложил в сторону… и весь как-то совершенно беспомощно, удивлённо-растерянно раскрылся… Из дальнейшего выяснилось, что никто вроде нас к нему не приходил, хотя ходят и ездят много и часто, а именно нас он и ждал… Он ставит сразу вопрос в плоскость: „Что вам необходимо? Что я для вас могу сделать?“ – и начал с того, что дал нам адреса тех, кто был у меня записан в списках „московских целей“, – все они его хорошие знакомые». Удачные знакомства в Москве окрылили.

Из «СИДа»:

«В нынешнюю программу входило продолжение попытки превращения нас в „ячейку неотчуждённого мира“ с одновременной разработкой „Теории исторического действия“. Я и Костя считали главной первую часть программы, Игорь и отчасти Глеб, ободрённые московскими успехами, думали иначе: им хотелось выйти поскорее на уровень большой науки».

В программе СИДа была заложена мысль об основании коммуны для совместной жизни. Долго искали подходящее жилье, и нашли на шестнадцатой станции Большого Фонтана.

Из «СИДа»:

«Приехал из своего Николаева Игорь, и мы начали „великое переселение“… Перевозили вещи, книги, обставляли комнаты. Костя вёл сложные переговоры с отцом, доказывая необходимость для себя „здорового коллектива“ и спартанской обстановки. Глеб вместе с книгами увёз из дома родительскую анафему. Я и Игорь, как люди самостоятельные *(Слава из Крыма – О.П.)*, обошлись без этих крайностей, хотя мне и приходилось, чтобы не потерять место в общежитии, время от времени ночевать в нём, объясняя там свои многодневные отлучки связью с симпатичной вдовушкой.

Домик (или „замок“, как мы его окрестили) состоял из двух комнат и коридора. В первой комнате спали Игорь и на раскладушке Костя, во второй – я и Глеб…

Рядом проходила линия трамвая, было несколько магазинов, кинотеатр и небольшое кафе. Но более всего радовались морю и примостившейся по соседству маленькой рощице». Дополнительно к тем правилам, которые закрепились в СИДе с момента объединения, Костя написал целый гроссбух норм общения, озаглавив его «Этика»: «Мы, люди, живущие в мире, полном безумия и жестокости, радости веселья, уравновешивающих мерзость и подлость сущего, – писал он во введении, – берёмся за работу по изменению этого мира. Берёмся с самого начала – с изменения себя, ибо мы его дети, пропитанные духом его и его подлостью».

Среди норм забавно соседствовали ежевечерние исповеди по 15 минут на брата с требованием содержать организм в чистоте, смотреть на него как на средство и основание для работы духа, требование постоянного контроля над мышлением и его воспитанием с пожеланием видеть в женщине человека…

Из СИДа»:

«Разговоры о быте были запрещены. Друг о друге проявляли самую трогательную заботливость… Еду на всех готовил тот, у кого было больше свободного времени, или тот, кто был более голоден. Время от времени питались в столовой. Деньги лежали в ящике стола, расходование их не контролировалось: каждый брал себе столько, сколько нужно. Вероятно, поэтому денег у нас было много – от одной до двух сотен ежемесячно».

Но хотя все упорно и много занимались, из идеи совместной деятельности, увы, мало что получилось. Практически общим оказался лишь быт, а как раз проблемы быта, как чересчур тривиальные, ребята напрочь отвергли, пустив всё на самотёк и меру воспитанности каждого.

А эта мера, как выяснилось со временем, позволяла разное. Игорю, к примеру, «ни разу не прикоснуться к венику и молчаливо возлагать обязанности готовить еду на меня и Глеба», – как писал Слава в «СИДе». Труднее всех в тесных комнатушках с паутиной приходилось аристократичному Косте. Он стоически переносил это, пока у него оставалась надежда на нравственный переворот СИДа, должный изменить его самого.

Но дни шли за днями. Теоретическая работа постепенно превратилась в самодовлеющую задачу. Главенствовал тот, кто обладал реальной ценностью – знаниями, а уровень знаний и способности строить концепции были практически одинаковы.

И в один из вечеров, после долгого разговора, собрав чемодан, ушёл Костя. А на следующий день впервые ночевал дома Глеб.

СИД трещал по швам, но не распадался. Вернулся Глеб, почти каждый день приходил Костя. Вновь начались разговоры о выходе из тупика. И о совместной деятельности. Нравственное и прочее развитие превратилось в личное дело каждого. Общими оставались мечта о другой жизни и ощущение внутренней иммиграции, чему способствовало регулярное чтение самиздата: «Хроники текущих событий», Померанца, Авторханова, Солженицына, Кестлера, Медведева, Набокова…

Я же, прочитав авторхановскую историю нашей партии, попала в больницу, в кардиологическое отделение. Это надо же, руководящая роль – Ягоды, Ежова, Берии, Сталина! Об этом надо в школе рассказывать. И я рассказывала (позднее, в 116-й школе, где в 1978 году преподавала историю), заслужив этим особое внимание администрации школы и райкома партии.

часть 2

Из «СИДа»:

«Мы тщательно скрывали от всех существование коммуны и её местонахождение. Только Оля, Вячек, Ирина и ещё пара ребят знали о нашем домике и частенько приезжали к нам в гости… И в то же время теснота общения, когда мы постоянно спотыкались друг о друга, заставляла каждого из нас видеть в другом препятствие своим идеям и мыслям или материал для их воплощения».

Из дневника Глеба:

«Почему у нас из-за каждой мелочи… разгораются кровавые споры, уводящие в безнадёжность? Среди нас господствует некое отношение, которое я хотел бы назвать принципом мясорубки и кото-

рое отнюдь не способствует отысканию новой искомой человечности… Я же предлагаю принцип камертона, то есть прямо противоположный. Это можно было бы назвать требованием доброжелательности… если бы сама доброжелательность не оставалась всего лишь пожеланием. Принцип камертона исходит из того, что мы не „критики“, а, прежде всего, друзья… Дороги созидания – они не для одного. Нельзя продолжать недоверие».

Из «СИДа»:

«Научные изыскания убедили нас в том, что марксизма-ленинизма как такового не существует: есть историко-философская теория Энгельса и историко-политическая теория Ленина. Каждая из этих теорий существенно отличалась от другой, и все они не имели ничего общего с теорией общественного строя, известного в СССР под названием „социализм“. Это открытие лишило нас почвы и уверенности; мы казались себе робинзонами, попавшими на необитаемый остров, где чтобы выжить, приходилось самим создавать своё будущее».

Жить было трудно. В юности всё происходит или «навсегда», или «никогда». Я же была наивна, романтична и неиспорченна. А ещё – инфантильна. Жила в счастливом неведении: меня все любят. Но недолго. До восемнадцати. Повзросление началось с открытия, к которому оказалась неподготовленной. Меня любили не все. Более того, почти все не любили – за счастливый, радостный эгоизм удачницы: ноги красивые, косы длинные. Цветы каждый день дарят. На соревнования по фехтованию приходят – а я в белом, клинок хлёсткий, точный, звон, блеск…

Было и другое. Страх перед мамой – её непониманием меня с моими вопросами: почему массовая коллективизация не узаконенное преступление, если основная масса крестьян уничтожена? Почему твой Сталин не видел, что забирают лучших? Почему накануне войны командиров под нож? Почему «За Родину!» – «За Сталина!» – синонимы? Ведь он ненавидел свой народ…

Мне были чужды идеи СИДа с их отрицанием индивидуальности, попытками отказаться от себя ради чего-то коллективного, но ребята здесь были живые и тёплые, в отличие от всех тех, с кем я сталкивалась на факультете» и за его стенами.

Я полюбила Глеба. И вышла замуж. Не ко времени. Надо было защищать дипломы. Защищались мы трудно. Нас было мало на истфаке, писавших дипломы по кафедре философии, а не по историческим кафедрам. Костя успел защитить вовремя. А Глебу (самому какому? – последовательному? отчаянному? – самому не такому) велели диплом получить после года отработки в селе со справкой об окончании университета… И председатель госкомиссии (!) написал в отзыве к Глебушкиной работе: «Рекомендуется к защите с оценкой „отлично“… после доработки можно рассматривать как кандидатскую…». Так и уехал Глеб со справкой вместо диплома в глухое село Бирносово, оставив Одессу и меня…

Меня жалели. «Надо же, девочка так влипла! Сидел этот её, на полу деканата сидел, обняв коленки. Протестант!». Доцент с кафедры археологи говорила: «Глеб – это крест твой, голубушка, и он тебе не по силам. Думай о науке, пиши стихи о жизни. А не о протестантах!».

Я писала диплом по философии Ганди и хорошо знала, что протест сидя – вещь впечатляющая, когда сидят все. А когда один – ненадёжная…

Я думала о Глебе и сквозь него прорастала в жизнь. Мы жили дружно. Нас выгнали родители из дому – и моя мама, и его папа. Впрочем, это было позже. А пока… пока мы были в кризисе. Все. И Глеб, и Костя, и мы с Ириной, и Слава – мягкий и терпеливый.

Это он записал мои слова в своём дневнике 1971 года: «Мужчины мои, мальчишки, – я всегда говорила вам, что жизнь – это прежде всего радость. И если Новый год, значит, нужна ёлка. А вы сопротивлялись и не хотели праздников. Но я окажусь права. Коммуна распадётся. История СИДа станет предметом пристального и враждебного внимания. Осядет под замком. Я спрашиваю нас всех: „Мир – что, просто бездна, в которую мы канем? Память – что, сквозная рана, которая зарубцуется со временем? Но как же мы есть тогда друг у друга и останемся?“».

А жизнь крошилась. Костя бросил всё и уехал в Ленинград. Двухнедельный прогул совершил Глеб, а я написала заявление об уходе из университета по собственному желанию. Вуз мешал всем нам. А может, это мёртвый воздух, которым мы дышали, вызывал дурноту, желание убежать? Куда?..

Холодно было в ту зиму 1972 года. В коммуне топили печку и не могли согреться. Внезапно Игоря вызвали в деканат, и чужой человек в штатском долго беседовал с ним. А в феврале в «замок» пришла я и, ежась, рассказала, как сегодня пошутила:

– Он протянул мне руку через стол: «Владимир Ильич». Я ответила, пожимая руку: «Надежда Константиновна».

– Не ври, – сказали мальчишки, – следователь руку не подаёт.

– Не подаёт, – согласилась я. – Он протянул ручку, чтобы подписать девять листов протоколов. Я подписала бумаги, где поименно перечислила, кто что из нас читает, чтобы они в своём КГБ не волновались на наш счёт. У нас наука, а не политика. Слава вот читает Аверинцева, а Костик – Сартра и Камю, а Игорь – Шпенглера и Ясперса, а я – психологию Пиаже…

И такое перечисление было моим преступлением, потому что называть в этом месте имена в контексте читаемых книг – преступление дозволенной черты. До черты – дистилляты университетских программных монографий, после – «дополнительная литература», не предусмотренная программой, и, как следствие, подпись под протоколом следователя КГБ Владимира Ильича или Александра Сергеевича. Нам везло на «именитых» следователей…

Из «СИДа»:

«Игорь о своей беседе информировал только Глеба, да и то, путаясь, запинаясь и темня. Тогда так и осталось неясным, что именно рассказал он о нас и о Вячеке. Только позже, в 1975 году, во время процесса над Вячеком, стало ясно, что Игорь рассказал всё или почти всё».

А Вячек в результате процесса оказался на год в психушке с диагнозом, вызывающим остолбенение (да, взаправду остолбенение): «философская интоксикация, мания правдоискательства, вялотекущая шизофрения». (Отъезд Кости в Ленинград наполнил Игоря тяжёлыми переживаниями. По ночам он долго не засыпал, у него начался невроз, и нескрываемый страх заставил его решиться на прямой разговор с Костиным отцом – прокурором, который обещал «всех вас, мерзавцев, засадить в тюрьму», если его сын не вернется назад.

Помню, захожу в читальный зал университетской библиотеки. Игорь конспектирует Ницше. У меня растрёпанный Мах и булка с сыром.

– Игорь, – говорю, – хочешь Маха?

– Нет, – односложно и головы не поднимая.

– А булку?

Знаю, что голоден, но быстро ухожу, потому что он взъяряется сразу, когда ему что не так.

– Не мешай мне нормально функционировать, не вмешивайся в мой гомеостазис! – орёт Иванников на весь зал.

Из моего более позднего письма Глебу:

«Тогда, в 1971-1972 годах, мы все почувствовали, как заурчало, задергалось вокруг и под нами, и стали выпадать куда-то люди. Во что-то и в кого-то перебалтываться. Шла растаска. Пока её не было, можно было предполагать дружеское сообщество, единство, можно было писать как бы „для всех“, рассчитывая в упрёке, юморе, разговоре на возможность общей цепной эмоции, мысли. Мы рассчитывали на „коллективный смех“ в атмосфере дружеской взаимной критики и, как максимум, на исправление нравов.

Общность в юности ещё не распадалась – но, может быть, потому, что ещё не создалась? Не было ли это иллюзией, что все мы – красивые, двадцати-, двадцатидвухлетние – суть одно?».

Из ответного письма Глеба:

«В одних кульминация общности – нечленимой, нерассудительной дошла до предела, за которым иллюзией уже не была, не могла дальше быть (Оля – Костя – Глеб). Интересно, что и кое-кто ещё был зацеплен краешком этого духа, зацеплен и подтащен дальше собственных желаний, куда и не собирался вовсе – незачем было. Или не было доверия к другому.

Итак, в одних – кульминация иллюзии, в других – эксплуатация её для себя, переработка в „положительные эмоции“, схватчивость, обещающая ой как много в последующем. Была также и смесь одного с другим, в разных пропорциях, дающих в итоге несходные на вкус коктейли: от полу невинного младенческого эгоизма – до лицемерной ловли дураков. Третьи же были „дураками“, то есть самыми, что ли, честными – не понимая, что происходит в них и вокруг, они ведь и не притворялись, что всё в жизни безумно важно, больше высматривали, чем смотрели. Мимо них вообще всё прошло».

Из письма Глеба, 1973 год:

«Я люблю тебя. А ты меня понимаешь. Будем ходить к морю и писать стихи. А потом у нас будет дом и собака… Моя родная, добрая, постарайся, чтобы у нас был ребёнок… Я верю, что благодаря тебе и природе случится чудо…».

Шла моя семейная жизнь. Менялись частные квартиры… На Ромашковой улице в 1975 году мама, убеждённая моим отчаянием и любовью, которые часто оказывались рядом, сняла для нас с Глебом дом. Большая комната с тремя окнами, кухня и ванна без воды стоили пятьдесят рублей в месяц. Был хозяин, юрист и при нём женщина. На двоих у них набралось две квартиры и наш коттеджик, затерянный среди таких же домиков по Ромашковой, между заборами, фруктовыми деревьями и садовыми дымками, пахнущими осенней ясностью. (Хозяин оказался плохим человеком: спустя много лет приставал к моему другу, хорошему писателю, Игорю Божко, обвиняя в тунеядстве и хулиганстве, – тот ел вишни с его дерева…). Приложением к дому хозяин оставил нам немецкую овчарку Альму.

Забыла наш, оказавшийся последним, дом, забыла плохого человека – Альму помню, и не люблю больших собак за то, что их трудно прокормить! Ежедневный бидончик столовских отходов обходился нам в пятьдесят копеек. А хозяин кормил Альму размоченной буханкой хлеба…

На Ромашковую из владимирских лесов приезжал к нам Костя, преподававший в селе физкультуру. Место историка было занято, и Костя учил в сельской школе детей строевому шагу («Нале-во! Напра-во!») и ходьбе на лыжах…

В селе Костя писал повесть под названием «На грани пустоты и боли», пил водку и готовился – к аспирантуре? к писательству? Оказалось, к женитьбе на мне. Случилось это почти нечаянно.

В декабре 1975 года настоящее стихийное бедствие обрушилось на Одессу. Разыгрался антициклон. Ветви деревьев после оттепели внезапно оледенели. Сначала было красиво необыкновенно, а потом город заплакал. Слёзы леденели на ветру, и град сбивал ветви в тяжёлых ледяных шубах. Первыми рухнули старые акации. Большая ветка, полдерева, на Будённого угол Мясоедовской, упала на голубой «Запорожец» и сплющила его. Перестали ходить троллейбусы и трамваи. В городе погас свет. Остановились насосы водонапорной станции. Ведро воды стоило рубль. Буханка хлеба – тоже. Очереди за молоком выстраивались с четырёх утра. К шести за молоком вставать было поздно. На пятые сутки, когда температура в комнате опустилась до девяти градусов, (керогаза у нас не было, газовой плиты – тоже, а электроплитку не включить), когда я уже рассекла себе бровь отлетевшей щепкой (рубила доски от ящиков, чтобы растопить чугунок парового отопления, забыв, что воды давно нет), – Глеб замер перед разрисованным холодными лилиями окном и в задумчивости съел НЗ – банку шпротов и банку сгущёнки.

– Лучше бы у тебя был запой, было бы понятнее и уважительнее! – сорвалась я.

– Ах, Оля, – при встречах накручивала и без того тугую пружину мама, – он о тебе не помнит, он контра, и я посажу его, если ты не…

Это было реально. Это мама – прокурор – могла. Тем более, что уже был арестован Вячек, и принесённый им самиздат лежал во всех углах нашей комнаты. И Глеба вызвали в КГБ, и он давал показания на друга, а потом от них отказывался. И ещё: непонятно, кто навёл на любимого учителя – Вадима Сергеевича. «Архипелаг ГУЛАГ», изъятый у него на даче, фигурировал в грозившем стать общим деле Вячека[1]… Учителя сделали свидетелем.

Глеб сказал просто и ясно: «Единственное, что я могу для тебя сделать, любимая, – это оставить…».

Оставление затянулось на годы. Развели же через три дня – чего проще, мама-прокурор дала «зелёную улицу». После всего, что было сделано с Вадимом Сергеевичем и его учениками, учитель болел и уже так и не оправился…

Через два года, отслужив в армии, Слава поселился под Москвой. Под Москвой жил и работал Костя. В Москву уехал Глеб.

Итак – Москва. Вбирающая, как насос, всех, кого вытолкнула «тихая провинциальная улочка».

Но сидовцы вновь и вновь встречались у моря. Потому что все узелки связывались в Одессе. И, если с кем-то что-то случалось, – возвращались, собирались, распутывали. Узлов предпочитали не рубить. Предпочитали думать над ними, потихоньку раздёргивая. Только узел Игоря завязался на стороне – до него всё ещё не добраться.

…Спустя два десятилетия я всматриваюсь в наши записи и в наши лица – мужчины мои, мальчишки! Помните, я всегда говорила, что жизнь – это прежде всего радость, и если Новый год, то нужна ёлка. А вы сопротивлялись; и не хотели праздников. И вот теперь, когда коммуна распалась, когда история СИДа стала предметом внимания пристального и враждебного нам читателя, осев под замком КГБ, я спрашиваю нас всех: мир – что, просто бездна, в которой мы утонем без следа? Память – что, сквозная рана, которая зарубцуется? Но как же тогда мы есть друг у друга и останемся?

Я стягиваю наши ниточки в новый узелок. Я знаю, что без таких узелков не выжить ни нам, ни нашей стране. Мне важно понять: правда ли, что, раздумывая о конце СИДа, я создаю своё завтра? И насколько оно моё, если я не думаю при этом о вас, зажав в кулаке наши нити, связанные узелком общей мечты?

В середине сентября 1976 года, после неудачной попытки самоубийства и принудительного лечения, я вышла из психоневрологического диспансера. И Костя, приехавший по телеграмме моего мужа Глеба, забрал меня замуж. Костя был родом из СИДа. Этот проклятый мир не научил его любви. СИД же научил умению подставлять плечо и, если надо, жертвовать собой.

Жизнь крошилась и разламывалась вокруг.

– Надо выжить, – сказал мне Костя. – Всё образуется, надо выжить, вот моя рука.

1984 год, Одесса

---

[1] «Одесский мартиролог», 1997 г., том 1, серия «Одесского Мемориала», с. 734-748, ОКФА, 1997, ISBN 966-571-065-9).

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

ТРОЙНОЕ СЧАСТЬЕ
пьеса в двух действиях по рассказу
Аркадия Аверченко «Здание на песке»

Действующие лица
МИТЯ, муж
ЛИПОЧКА, жена; беременна
АЛЕКСАНДР, писатель, друг семейства.

ДЕЙСТВИЕ I

Гостиная. Писатель сидит в кресле и с утомленным видом посматривает на воркующих супругов.

МИТЯ *(ласково теребя Липочку за руку)*. Чья это маленькая ручонка?
ЛИПОЧКА *(нараспев)*. Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку!
МИТЯ *(целует Липочку, полуобняв её одной рукой, другой осторожно гладит её живот)*. Как ты думаешь, что у нас будет?
АЛЕКСАНДР *(скучающе)*. Завтра? Кажется пятница.
МИТЯ *(хохоча)*. Да нет же. Что у нас должно родиться?
АЛЕКСАНДР. Я думаю, во всяком случае… у вас скоро должен родиться ребёнок.
МИТЯ. Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?
АЛЕКСАНДР (со злостью в сторону). Если интересуешься полом будущего ребёнка, вскрой столовым ножом жену и посмотри! *(Вслух, вежливо)* Мальчик.
МИТЯ. Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большой, толстый розовый мальчуган. Судя по некоторым данным *(наклоняется к животу Липочки)*… он должен быть крупным ребёнком. *(Александру)* А? Как ты думаешь?.. Что мы из него сделаем?
АЛЕКСАНДР *(в сторону, сквозь зубы)*. Котлеты под морковным соусом! *(Вслух, издевательски подыгрывая тону Мити)* Инженера.
МИТЯ *(радостно)*. Инженера или доктора. Липочка! Ты показала Александру свивальнички? А нагрудничков ещё не показывала? Как же так?! Покажи.
АЛЕКСАНДР *(умоляюще, удручённо)*. Да зачем же? Я как-нибудь после увижу.
МИТЯ *(с энтузиазмом)*. Чего там после! Уверен, тебя это заинтересует…

Липочка раскладывает перед Александром нагруднички, свивальнички. Александр с ироническим одобрением кивает головой.

МИТЯ. А колыбельку вы не видели?
АЛЕКСАНДР. Три раза видел.
МИТЯ. Он будет лежать в колыбельке, большой, толстый мальчишка. «Папочка», – скажет он мне, – «Папочка». *(Прослезясь, Липочке)* А чьи это губки?
АЛЕКСАНДР *(из глубины кресла, съёжившись)*. Могу тебя уверить, что губы, как и всё на лице твоей жены принадлежит именно ей!
МИТЯ *(удивлённо)*. Что?
АЛЕКСАНДР *(зло ощеряясь)*. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя… Изредка ты сможешь проверять наличность всех этих вещей!
МИТЯ *(с упрёком)*. Друг мой, я тебя не понимаю… *(Липочке)* Он, Липочка, кажется, нервничает, не правда ли? … А где твои глазки? *(Нежно)*

АЛЕКСАНДР *(взбешённо)*. Эй! Если ты нащупаешь её нос, то по левой и правой стороне немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую терять время на розыски в другом месте!

Вскакивает, уходит не прощаясь.

МИТЯ *(обнимая Липочку)*. А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

Конец I действия.
Занавес.

ДЕЙСТВИЕ II

Гостиная. Митя сидит в неудобной, скрюченной позе в кресле, отупело уставив глаза в пол, по лицу ходит сумасшедшая улыбка. В стороне – кровать. Входит Александр.

АЛЕКСАНДР. Здравствуй, дружище! *(Митя не реагирует.)* Ты что, помешался от счастья? Можно поздравить?
МИТЯ *(мрачно, издевательски)*. Поздравь!
АЛЕКСАНДР. Жена благополучна? Здорова?
МИТЯ *(медленно)*. Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они, видите ли, не пришли в себя… Ха-ха! *(Смеется)*
АЛЕКСАНДР *(откачнувшись от него)*. Да ты в своём уме, послушай…
МИТЯ *(хохоча)*. Можешь меня поздравить… пойдём покажу.
АЛЕКСАНДР. Он в колыбельке, конечно?
МИТЯ. В колыбельке – чёрта с два! В корзине из под белья *(указывает пальцем)*.
АЛЕКСАНДР *(наклоняясь над корзиной)*. Послушай! *(Со страхом)* Там, кажется, два!
МИТЯ. Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, чёрт меня возьми! *(Не переставая смеяться)* Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка-акушерка и воровка-нянька не начнут *(делает вращательное движение рукой)* пеленать… *(Утирает глаза кулаком)*
АЛЕКСАНДР *(озадаченно)*. Чёрт возьми… Действительно! Как же это случилось?
МИТЯ. А я почём знаю? Разве я хотел!? Ещё радовался, дурак; большой толстый мальчишка! Вот тебе и инженер!
АЛЕКСАНДР *(неуверенно)*. Да не печалься дружище. Ещё не всё потеряно…
МИТЯ. Теперь я погиб!
АЛЕКСАНДР. Почему?
МИТЯ *(отчаянно)*. Пока что я лишился всех своих простыней, которые нянька рвёт на кухне на пелёнки. Жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорён. Всю эту тройку негодяев придётся кормить, одевать, а подрастут – учить. Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы потом к среднему, а потом – к младшему. Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать всех сразу, а когда подрастут, то папирос будут воровать втрое больше… Пропало… Всё пропало… Это жалкое создание, когда очнётся, попросит показать ей ребёнка, а которого я ей предъявлю? Всех вместе показать – она от ужаса ноги протянет… *(Александру)* Как ты полагаешь?
АЛЕКСАНДР. Что ты говоришь? *(С издёвкой)* Ещё на днях ты спрашивал её «А чья это ручка? чьи ушки?».
МИТЯ. Да… Попались бы мне теперь эти ушки, ручки, губки! О чёрт возьми! Всё исковеркано… испорчено… а так хорошо всё начиналось… Свивальнички, колыбелька… инженер.
АЛЕКСАНДР. Чем же она виновата, глупый ты человек? Это… закон природы.
МИТЯ. Закон? Закон!? *(Как бы просыпаясь)* Беззаконие это!!! Эй! Нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь им на спины чернилами метки, чтобы при кормлении не путать. О, Господи!!!

Занавес.

ОЛЕСЯ РУДЯГИНА

В ТРЮМЕ ЗАТОНУВШЕГО ИЮНЯ

СЛУШАЯ ПЕРЕДАЧУ ЛИТЕРАТУРНОГО РАДИО

слева окно заснежена крыша антенна + рыжий кот
в наушниках зной песок окаймляет чёрное око вод
око зелёное льда не мигая тает ладонь горит
снег во сне не упав умирает упав всё равно болит

голос да голос твой обтекая преграды на самом дне
вечное русло себе пролагает тайно навек во мне
смеха глубокий плеск державин? залюбовался б тобой
неодолимое расставанье жизнь испытанье судьбой

МАКИ

Ты – маленькой была, я – молодою…
М.Ц.

Я помню: останавливался поезд
На полустанках, утопая в травах,
И ветер упоительной дороги
Косички лёгонькие мне трепал,
И, тонкие в запястьях, руки мамы,
Волнуясь, маки дикие срывали,
И трогал поезд,
И слегка качался
В стакане с подстаканником букет.

Но скоро, оскорблённо отлетала
Его душа, – быстрей, чем меркло небо,
И мотыльками алыми, безмолвно
Она, дрожа, срывалась со стола
И по купе в последний раз парила
И, смертно вдруг устав, роняла крылья….

Так многих я отплакала,
Чего же
Всё помню мёртвых маков лепестки?

У ЛУКОМОРЬЯ

Три дня до осени. В прибрежных барах
завоза нет, и продавцы лениво
потягивают шабское. Пустынно
на только что галдящих пёстрых пляжах.

Следы бакланов и жемчужных чаек
песочек остывающий покроют
к закату, и неторопливо
взойдёт планета.
Прошепчу прибою
впечаленные с детства в память строчки:
«Над чёрным носом нашей субмарины
взошла Венера – странная звезда…»[1].

К ней взгляд прикован, как пудовой цепью,
и что-то не сегодняшнее реет,
над головою, пряди вороша.

Чья жизнь во мне упрямо прорастает,
кто изнутри колотит верным сердцем,
как в стены безысходной одиночки,
единоверцев истово ища
несвоевременно?

Всегда печаль на взводе
у моря Чёрного родного лукоморья,
но ясный взор за горизонт ушедших
к Тебе родных людей – хранит меня…

[1] Стихотворение Константина Симонова.

ПО ДОРОГЕ В МЦХЕТА

Николаю Свентицкому

– Не бойся, дорогая, вот ладони,
они сейчас надёжней, чем гнездо!
На север солнце голову наклонит,
ось сдвинется земная, рухнет дом, –
всё может статься в этом лучшем мире
из темени наструганных миров…
Автобусы причалили, мы в мире
с душой стихов, лишённой зла оков.
Мы курим, покупаем впрок в кафешке
в дорогу семечки, орешки, воду пьём,
Но заметалась ласточка, в кромешной
тревоге за птенцов, и окоём
небес исполнен неземной угрозы
чужой мелодии ей незнакомых слов,
И в сердце человеческом – занозой
пичуги ужас, явственный, как ров,
в котором…
Болен «измов» блудом,
двадцатый век был щедр на эти рвы…
О, матери обыденное чудо –
глаза и щебет, и крыла детвы!

– Не бойся, ласточка, всё хорошо с тобою,
прибоем рифм беды не принесло.
Твоих детей навеки я укрою
на дне души – там ясно и светло.

***

Когда ты пропадаешь надолго
я
задерживаю дыханье
ныряя на дно
на самое дно неумолимых буден
где бирюзовопрозрачна вода
околоплодная
печальной души
и в трюме затонувшего
июня
листаю книгу поющую книгу…

с мерцающих страниц
осыпаются
звёзды стихи
цветы и зёрна граната

МЕЛИССА

От лета останется запах мелиссы,
и отмели памяти, не занесённые
листвой отлюбившей
(ах, отлепетала, ветвям отшептала,
отластилась, пала!..)
Там день исполняется медленно, вольно
контральто задумчивых пчёл златоносных,
и гроздья тягучих, янтарных созвездий
лозу отягчают, знобят, пригибая к земле;
сладострастны цыганские ночи –
О, августа табор вселенский, кочевье:
сверчки и полынный настой той дороги,
что Млечным путём пролилась меж холмами!..
И детское до-олго – го-ло-во-кру-женье
стрекоз, звездопадов, трав,
ливней и радуг –
от лета останется…

Запах мелиссы,
пучками свисающей
с гвоздика в кухне.

СТАРАЯ-СТАРАЯ ПЕСНЯ

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой…

Ни женой, ни сестрой, ни чужой –
помню, помню.
Но в дороге же фляга нужна? –
возьми флягой!
Там такая живая вода,
мёд – вино, песня,
ввечеру иль с утра –
уст коснётся –
душу согреет.

Ни сестрой, ни чужой, ни женой –
знаю, знаю.
Но без бурки казак – не казак,
возьми буркой!
Белой чёрной шелковой, –
ни стужа, ни пуля, ни ветер –
коль обнимет она –
вовек
не остудят сердца.

Ни чужой, ни женой, ни сестрой,
не буду – не буду.
Знать не знай, не зови, позабудь, –
возьми шашкой!
Продолженьем руки –
верной шашкой в бою,
белой
красной
горевой заревой вечной конницы,
бьющейся насмерть.

ОНА

Всё так
как ты для себя не желал
поёт и поёт
и нет от неё избавленья
и отдыха нет
проснёшься в ночи копошится
до света встаёт
и пробуя голос ликует
и солнце встаёт
под эту незримую птаху
под эту дуду
реликтовую
под неё ли Господь колдовал
над горсточкой глины
и долго прохладу вдыхал
в пока ещё мёртвые губы
но вот же
вот-вот
уже розовеют
уже тень улыбки едва
коснулась
теплеющих глаз
мир испит словно спет

но мой осторожный создатель
мой тихий поэт
боится услышать
не слышит
в себе
будто
нет

***

узнаешь к прощанью
что нет ни прощаний, ни тьмы
что есть только свет
только взгляд по-над
жизнью летящей
какой бы ни утлой
лодчонкой
ни горько пропащей
несущей к порогу тебя
за которым лишь сны
цветные счастливые
лёгкость неслышных стрекоз
волна за волной
тёплый шторм нескончаемый лета
мне так наяву часто снилась
мелодия эта
что стоит ли смерть
дорожить и терзаться тобой

НЕОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ (ЭХО)

одно белковое тело пришло к другому
[…]
чтобы терять дарёную связь с потусторонним
миром (хотя его, несомненно, и нет)
и вообще, хрипит, когда мы родных хороним
им на смену приходит не ветер, а черный свет
Б. Кенжеев

Памяти брата Олега

ну что ты что ты совсем всё не так там было
в десять тысяч братьев повешенных звонил закат
другое тело испуганно дверь не открыло
а вдруг за ней десятьтысячпервый утраченный брат?!

и надо будет глядеть в глаза утешать утешаясь тщетно
зелёный халат знамя хлам сбрасывать в пыль листву
второе белковое тело от ужаса выло дискретно
орган вправх расстроенный русишвайн влюблённый в литву

ему бы второму белковому белому телу не помешало
самому намекнуть на очертания хоть каких кораблей
чтоб не страхом потери лютым – морскою болезнью качало
ветер алый крепчал в облаках парусов-верлибрей

ему бы энному белковому полому телу
выпотрошенному (не выговорить!) задолго до –
психотропного танго излётного скрипки капеллу
петь молиться начинать день с мажора умытого До

чтоб *не терять дарёную связь с потусторонним*
миром (хотя посюстороннего, возможно, и нет)
и вообще, – молчи! – когда мы родных хороним
им на смену ничто не приходит, и чёрен свет

***

я знаю где-то на другой планете
мы с ним давно и счастливо живём
очаг в дому и маленькие дети
и ярки будни и певучи в нём
и плещет рядом – вечным летом – море
в ветвях мерцает царственно гранат
но в неизбывном горестном укоре
вслед чей-то взгляд
вселенную назад

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА

ЕСЛИ ОДУВАНЧИК МИМОЛЁТНЫЙ…

ГЛЯДЯ СВЕРХУ

пожалеть бы мальчика, да нечем
пожалеть бы девочку, да поздно
это ай болит и время лечит
это ай лю лю и небо звёздно

это всё, с чем жить ещё да жить бы
только нечем, только поздно, только
ай болит ладошку приложите
ай лю лю и в небо а не в койку

и кого жалеть тогда счастливых
и зачем жалеть тогда безмозглых
пьющих свет последнего разлива
скручивающих верёвкой воздух

ЗИМНЕЕ

там на дереве яблоки
пара штук
золотыми щеками неровно светят
между голых веток
иду на стук
на густое гуденье сверхновых этих

в сердцевине в сиянии в янтаре
вне времён и пространств бытия застывших
синева беспощадная январей
и ноябрьская зелень закатных вспышек

звука не было
слово ещё в плену
не умеющих говорить и слышать
к ледяной гудящей щеке прильну
и раскроется вкус чередою вспышек

и возможным станет произнести
да кому да зачем да уже не важно
только западный ветер в груди свистит
зажимая рот мне ладонью влажной

там в тумане яблоки
пара штук
ледяные горькие золотые
тихо светятся прикосновенья ждут
и в густом гудении мы застыли

ОТ ИЗБЫТКА

а мне бы в пару толстого шмеля
гудящего как небо над парижем
в пыльце купаться время замедлять
и замолкать едва разговорившись

без боя взять растрёпанный пион
и на ночь ото всех отгородиться
благоуханной роскошью его
и жить и быть
и наконец-то сбыться

и думать нет не думать не гадать
лететь как семена под тёплым ветром
а дальше тьма и холод и вода
и свет сквозь пальцы в воздухе нагретом

МАРТ

воздушные смерчи крутят сухие листья
пыльные вальсы холодно и красиво
если бы я знала что всё зависит
лишь от меня где бы тебя носило

кружится лист, катится лист, ложится
быстро и плавно, медленно и рывками
если бы я знала что хватит жизни
что ж она раньше времени истекает

вот и весна в зеркальце мелкой лужи
и одуван первый в зелёной славе
если бы я знала что счастье уже
радости кто бы плакать меня заставил

ОБОСТРЁННОЕ

никто никто не любит винни пуха
всем от него чего-нибудь да надо
уснуть обнявшись потрепать за ухом
пересчитать ступеньки годы взгляды

один за всех опилки отсырели
я вас любил любовь ещё быть может
жить хочется особенно в апреле
ведь жить и умирать – одно и то же

и если одуванчик мимолётный
взрывается сияет пахнет мёдом
цвести – и есть доступная свобода
и я и я смотрите пчёлы вот он

АПРЕЛЬСКОЕ

дождь и солнце
мокрая сирень
кажется растерянной и рыхлой
как невеста на чужом дворе:

гомон суета неразбериха
ни к чему себя не приложить
и в листве уже не спрятать грозди
шмель и сыт и пьян и еле жив
осы пчёлы родственники гости

кто-нибудь случайный забредёт
внюхается влюбится вглядится
и узнает будто украдёт
прошлого сиреневую птицу

МЕДЛЕННО И ВЕРНО

и потихоньку станешь понимать
так мало так легко так ненадёжно
как только начинающий художник
неровное дыхание письма

ощупываешь взглядом белый лист
ворона шла чуть солнце припекало
снег отразил все тени и лекала
и вот уже откуда ни возьмись

само себя рисует и само
задумывает что и где и сколько
души вдохнуть до нежности высокой
тогда дойдёт несрочное письмо

НАСКВОЗЬ

когда лицо лежит в ладони
как яблоко
другой рукой
его разглаживаю
в звоне
сиянии
так далеко

так близко
так неотвратимо
как никогда и как всегда
лежит в руке а смотрит мимо
и узнаванья ни следа

ну что же
так и быть
ну что же
катись, румяное, веди
куда-нибудь
сиянье множить
и звон тогда исповедим

тебе приснится
да приснится
вишнёвый сад
сто лет назад
и счастья чистая страница
решай теперь кого вписать

ПОСЛЕ

где-то там полынья
сквозь туман и туман и туман
изумлённое солнце глядит и не видит ни зги
это ты, это я
наш петляющий аэроплан
распадается, наконец, на куски

ты летишь, я лечу
сквозь туман и туман и туман
хорошо что хоть кто-то знает что где когда и зачем
и уж раз оно надо – то сверх ожиданий и чувств
сквозь и туман и туман и туман
оно рядом
и более чем

а нашаришь в тумане –
крошатся края полыньи
и полдневное солнце ударит горячим плечом –
(это всё между нами) – как призрачны крылья мои!
и закатная бронза звенит и звенит ни о чём

СНОВА АВГУСТ

Орех, посаженный вороной,
Щекочет небо пышной кроной,
Всем телом впитывает свет –
И как дышать нам друг без друга? –
От жизни к жизни круг за кругом
Свет приливает к голове.

И снова тьма уходит в пятки
Со светом в салочки и прятки
Играть под сенью тишины:
Нет ни своих, ни посторонних
Среди теней, но глаз вороний
Нас различает – мы смешны.

Но так серьёзны – я ли, ты ли –
Нам кажется, что мы любили,
Да где всё это? нет как нет.
Давно не люди – полутени –
От ветра лёгкого в смятенье
В закатном корчимся огне.

Горящий лист летит с вершины –
Пока мы есть, пока мы живы –
Но катится к ногам орех…
Ворона умыкнёт, конечно,
И даст начало нам, сердечным,
В прозрачной новой кожуре.

НЕПРИМИРИМОЕ

и места мне – признай! – на полтычка:
живи, как хочешь, признавай, что хочешь –
на деле же не перегнать сверчка,
и ты – всего цикада среди ночи:

стрекочешь и стрекочешь и стреко…
как будто бы маньяк какой, однако –
всё это разбитное рококо
не стоит жеста, мановенья, знака:

ты есть – я есть,
и это всё равно
тому, что мы с тобой несоразмерны,
как белое сухое (но вино)
и сгусток строго выверенной скверны –

и райский сад
безе
и бланманже
воздушное такое отпускное
как белый накрахмаленный манжет
у стен той самой примиримой Трои

мы меримся харизмой – или же
воображе-нием –
спасибо, муза!

и кажется дозрели до уже
непримиримого
как смерть
союза

а где-то всё пред-о-пре-делено
и кажется кому-то неслучайным
как ведьмино судьбы веретено
и случаем разгаданная тайна

ВЧЕРАШНЕЕ

пусть хоть кому-то будет хорошо
и ласково и трепетно и нежно
как будто белый жгучий порошок
ещё не снег в холодной тьме кромешной

как будто я живая и вокруг
всё мнится мне и значит существует
как старый добрый даже милый друг
не чающий застать меня живую

но вот подходит за руку берёт
и всё вокруг становится неважным
и снова он замалчивая врёт
а без него и счастливо и страшно

ЛИЧНОЕ

а иногда я плачу
потому
что никого ни ближе и не дальше
чем чёртов или божий – но хомут
убогой фальши

шумит в ушах – я думала: вино,
но нет – всего предчувствие отбоя
(когда вдруг свет, и титры, и кино
закончилось – не то чтобы плохое
но – не моё)
да здравствует ..!
да нет
остаться или выйти – как приспичит
и хочется кому-то мниться мне
кому – не расскажу, но почерк птичий
всё выдаст

и ему не привыкать
нет, не люблю – привязана всего лишь
какой-то строчкой давней дневника
и если ты позволишь (ты позволишь) –

теперь ты
зажигаешь
гасишь
ты
какие-то там звёзды
(небо, звёзды)
и проецируешь мои черты
в предгрозовой вибрирующий воздух

а я – не дождь
я – запах, петрикор
ты узнаёшь – ты знаешь – даже слышишь
подушечками пальцев мой укор:
ты мог бы выше!

НАТАЛЬЯ НОВОХАТНЯЯ

ИЗ ГОРОДА К.

КИШИНЁВ

Дома белеют, отутюжены,
вкрапленья золота – кресты,
и с прошлым он теперь не дружит,
и в будущее жжёт мосты.
Гостей встречает мамалыгою,
стаканом доброго вина,
а для своих в кармане фига,
и не одна.
О город, что когда-то под руку
с великим Пушкиным гулял,
твои осваивают отроки
все елисейские поля.
Плодится племя перелётное,
голь перекатная легка.
Холмы, холмы…
Трамплин для взлёта.
И мёртвая петля – река.

***

«если долго сидеть на берегу реки,
то можно увидеть,
как мимо проплывет труп твоего врага»

Я, наверное, много могу:
видеть чудо в каждом мгновении,
слово вымолвить в утешение.
Только, знаешь, на берегу
я маячу не для того –
враг мой, выживи, умоляю! –
представляю, как затихают
все обиды на Рождество,
как искрится летящий снег,
отражаясь в огнях небесных…
Что нам, враг мой, земные песни,
человечий недолог век.

И откуда течёт река,
и куда приведёт, не знаю,
но обидой полна до края,
сгинешь от одного глотка,
и повсюду, судьбу кляня,
в ожиданьи стоят статуи,
в сердце злоба, слова лютуют…
Враг, живи! Пожалей меня.

ЛИЧНОЕ

по зною жгучему струится ручеек
а может, лента памяти, не знаю
но влаги освежающей глоток
не утолит тоску воспоминаний

что было, то прошло
ищи-свищи
хоть соловьем, хоть иволгой залейся
и разве дождь неловко простучит
финальной точкой на исходе лета

что было, то прошло
не уходи! –
молением не разомкнутся губы
а значит, ворох листьев на пути
а значит…
нет, не думать, нет, не думать

но это завтра
а сегодня, здесь
любовью прежней догорает август
и маешься
как пережить, бог весть
хоть, в сущности, на донышке осталось

***

Не слишком избирательна в нюансах,
я это лето буду вспоминать
по косточке натруженной на пальце,
карандаша графитного печать.

Вокруг пейзаж такой же, что и раньше.
Домов минуя многослойный ряд,
летит в холмы всё выше и всё дальше,
подобно легкокрылой птице, взгляд.

Высматривает он с завидным рвеньем
то, что, как видно, рядом не найти,
и облако, чей профиль совершенен,
ухватит ненароком по пути.

А дальше как – направо ли, налево?
За взглядом не поспеет карандаш,
и от того глядит недостоверно
простой до умиления пейзаж.

Похоже, не туда свернув вначале,
я лучшего решенья не найду:
меж вертикалью и горизонталью
стирает ластик жирную черту.

***

Глянешь в окно – за домами поля,
Вслед за дорогой бегут тополя,
Ветер, листвою играя привычно,
Голос прочистив, свистнет по-птичьи
Так заразительно, что без причины
Взвизгнут в ответ машинные шины.
Мигом очнувшись от сладкой истомы,
Что недовольно бурчат водоёмы?..
Будто рукою ведомы умелой,
Звуки посыплются справа и слева,
Звуки рождаются молниеносно,
Мир удивительно многоголосен,
Сколько чудесных сонат и сюит
Прежде звучало и вновь зазвучит…
Только бы звуки страшной войны
Были бы в нём никогда не слышны.

***

Тоскую по тебе. Моя тоска,
как облака небесные, легка
и кажется приемлемой порою.
Что прошлое – автобусный маршрут,
давным-давно он не проходит тут,
а значит, нам не встретиться с тобою.
Что вдруг моя тоска меняет цвет,
давно поблекший за теченьем лет?
Быть может, дождь дарует искупленье…
И прошлого дорожки по щекам.
А после – белоснежны облака
желанным обещанием забвенья.

***

Со мной расставались, и я расставалась.
Так в море с судами судьба расправлялась.
Кто спасся – в награду нагретый песок
И волны, что кошками трутся у ног.
Иные тонули без стона, без крика.
Разлука смертельна? Разлука двулика.
А кто-то монеты приметит на дне –
Сквозь водную толщу блеснут при луне.
С упорством ныряет моряк одинокий,
Монеты ему станут в жизни подмогой.
А той, что скучая сидит на песке,
Колечко снесёт в огрубевшей руке.

***

(Кишинев – Яссы – Кишинев)

В субботу уехать из города К.
не то чтобы выход – иначе никак,
в назначенный час пронестись по перрону,
талон на побег сжимая в руках.

Стучите, колеса, гоните беду!
Когда бы запомнить спасительный звук.
Холмы и озера, поля и домишки,
и проч., и т.д. под ритмический стук.

Улыбкой прохладной чужих городов
закрыться на время от пасмурных снов,
от боли, обид, от навязчивых страхов,
от жизни, к которой всегда не готов…

За выдохом вдох. Возвращайся, дружок.
Стаканчик вина на посошок,
и в прежнюю жизнь. Посмотри, как кружится
летящий по ветру листок.

РОМАНС

Ветер вновь за окном завывает,
Лист слетает один за другим.
Накрывает тебя, накрывает
Этой осени сумрачный сплин.

Тянет к сердцу свинцовые пальцы
Вечер (с ветром они заодно).
Распростёрты небесные пялцы
За твоим безутешным окном.

Так узор на них пасмурно-чёрен,
Так угрюмо глазеет луна,
Что повсюду почудится горе.
Без вина им напьёшься сполна.

Но сверкнут утешением окна,
Вторят им светляки фонарей.
И звездою одной околдован,
Забываешь о грусти своей.

А она, понимая как будто,
Вдруг становится так хороша.
И от этого странного чуда
Оживает невольно душа.

***

Ни жимолости, ни гортензии
не оплести проклятый век.
К кому бы предъявить претензии,
что ты лишь слабый человек.

Тебе б выгадывать, высчитывать,
чтоб стороной прошла беда.
Не уничтоженных ковидами
война развеет в никуда.

А ты стоишь, сухое деревце.
Как ни зажмуривай глаза,
нет-нет да бросишь «что же деется».
И больше нечего сказать.

***

Между тьмой и фонарным светом
пролетать мотыльком бесцветным,
балансировать канатоходцем
в неизбывной тоске по солнцу.

Что ж, хороший мой, разве мало?
А иного не обещалось.
Из иного – лишь на орехи
за небрежности и огрехи.

Нас, таких, наберётся стая,
балансируем и взлетаем,
лбы сияют, как алебастр,
губы цвета увядших астр.

СЕРГЕЙ ПАГЫН

ДАЛЬ СТОИТ ЗА ВЕЩЕСТВОМ

УТРЕННЕЕ ПОДВЯЗЫВАНИЕ ВИНОГРАДА

Красная лента, белая лента…
Это движение неба и света
в зыбких прорехах листвы виноградной.
Это сплетение лоз над оградой.

Усики щупают воздух и вьются,
тонкие, нежные – страшно коснуться…
Это начало огромного лета –
белая лента, красная лента.

Мама нашла на досуге занятье –
их нарезала из ветхого платья –
платья в полоску, слезу утирала,
может, тихонько отца вспоминала,
может, другое прекрасное лето…
Красная лента, белая лента.

Ну, а теперь они словно из сказки –
эти её дорогие завязки,
словно из праздника давнего это –
белая лента, красная лента…

***

Тихая, тихая жизнь
глины, вещей и растений…
Что же им делать, скажи,
в этой стихии весенней –

в этом гремящем уже
ливне, разъявшем пространство?
Может быть, им по душе
этот обвал постоянства,

это крушенье, когда
небо проходит сквозь глину,
и утоляет вода
жажду ростка и кувшина.

***

Дерево заглядывает в дом.
Видит человека за столом,
он сидит, упёршись взглядом в стенку…

Дерево выходит за края,
за пределы инобытия,
и в окно протягивает ветку.

***

Вот колокол, стоящий на земле…
И мёртвый звон в его утробной мгле
не воскресишь ты напряженьем слуха.

Кустарником заросший и травой,
он слышит голос глубины земной,
он – медное надтреснутое ухо.

***

Мы так хотели праздника, чтоб сад
и стол дощатый, и горела лампа –
как тридцать лет, как сорок лет назад,
чтоб к снеди кот тянул украдкой лапу…

Мы выпили креплёного вина
на пустыре, заросшем дикой вишней,
заели хлебом… И ничья вина,
что давний праздник оказался лишним.

Мы спорили о мире и войне,
продолжили делами бытовыми.
А праздник плыл в отдельной тишине,
помигивая рюмками цветными,

позвякивая ложечкой в меду,
пока совсем во тьме не растворился…
И я теперь ищу, и не найду
то место в мире, где он приютился.

***

Август высветлил нас до прожилок,
прояснил, как живём мы и жили,
на невидимых взвесил весах,
и нашёл, что легки и мгновенны.
И не будет уже перемены,
даже если метели в глазах

лепестковые ли, золотые,
даже если ветра снеговые
продувают замедленный взгляд…
Мы легки, как тончайшие нити,
словно пламя чудесных наитий
или в зеркальце детском закат.

***

Памяти отца

Белый самолётик из фанеры.
Он из прошлой жизни или эры
всё летит в небесной пустоте
с тёмным нарисованным пилотом.
Он жужжит, спешит спасти кого-то,
вертится в бессилье на шесте…

Я шеста порой не замечаю.
Я на небо посмотрю, и знаю –
он летит среди ночей и дней,
и когда безмолвие на свете,
ищет ветер, и находит ветер,
дующий из памяти моей.

***

Какая даль стоит за веществом!
Вот яблоко на блюдце жестяном…
Уже совсем не яблоко – зиянье,
а если ближе, то округлый вход
в широкий сад, где яблоня растёт,
и всякий лист – открытость и дыханье.

***

Когда предчувствие стихает,
как дождь,
как шум ночного сада,
и ничего не обещает
последний выдох листопада,

не тешит сказкою старинной,
моей душе тогда отрадней
не сумрак с тёплой сердцевиной,
а холм и дол зимы бескрайней,

горчинка в воздухе морозном,
незамутнённость сна и взгляда,
под небом тонким и беззвёздным
горящая прозрачность сада.

«ФОНОГРАФ»

ВЕРОНИКА КОВАЛЬ

КРАСНЫЙ КОНВЕРТ
рассказ

Основательное двухэтажное строение было – единственное в округе – срублено из дерева, что вызывало зависть у владельцев мазанок. И ещё один плюс: удачное расположение – в километре от развилки двух дорог. Одна в город, другая в большое село. Но, ограждённый от них, словно ширмой, полосой обросшей кустами лесопосадки, дом находился вроде возле цивилизации, но на отшибе.

В то благоуханное июньское утро мимо дачников проскользнули к дому несколько автомобилей. Они припарковались возле дощатого забора. Здесь на уик-энд собирались друзья, которые когда-то занимались в детской театральной студии «Артошка». Их сплотила тогда общая страсть к лицедейству. Трепет маленьких сердец при выходе на сцену, чаепития с пряниками после премьер, вылазки в соседние города «на гастроли» запечатлелась в их памяти на всю жизнь под ником «счастливое детство». Бывшие «артошки» – всем уже по тридцать или плюс-минус – создали группу в соцсетях, активно общались и даже собирались по случаю дней рождения и юбилеев. А сегодня Рудик пригласил друзей в своё дворянское гнездо «на сюрприз», чем, конечно, создал интригу.

Рудик, режиссёр театра и ТВ, высокий, гибкий, слегка сутулился, словно стеснялся быть выше других. У него было типичное лицо интеллигента. Глаза спрятаны за стёклами очков, но наверняка они умны, а взгляд проницателен. В уголках рта таится лёгкая ирония. Рудик уже в студии проявил способности организовать действие и пространство. Был он на вторых ролях, тем не менее, ни один маленький артист не стал профессионалом, и только он не изменил Мельпомене.

Первым нырнула в лесок и через несколько минут припарковалась чёрная Toyota. Приезжий миновал распахнутую калитку. Про себя отметил, что участок перед домом отнюдь не походил на ухоженную усадьбу. По всему, у хозяина иные жизненные приоритеты. Гость направился к выщербленному крыльцу с деревянными балясинами. Рудик встретил его с распростёртыми объятиями:

– Мишаня, дорогой, я рад, что ты вырвался. Как дышит твоё издательство? Судя по твоей тачке, всё в шоколаде?

– Пока на плаву. Не перевелись ещё желающие осчастливить мир своими текстами.

В студии Миша имел амплуа комика, смешил всех, сочинял капустники. С годами его простецкий юмор трансформировался в тонкое остроумие, коим любил пощеголять, щуря искристые глазки и теребя аккуратную бородку. Частенько он заливал в фейсбук свои иронические «мишастики».

Вероника Анатольевна Коваль (1939-2023) – прозаик, искусствовед, журналист, автор и ведущая просветительских программ. Член Южнорусского Союза Писателей (2012), Национального союза журналистов Украины, Союза театральных деятелей (СТД). Родилась в 1938 году. Окончила Ленинградский государственный университет и аспирантуру МГУ по специальности «журналистика». Рассказы, статьи, очерки опубликованы в периодических изданиях – альманахах «Меценат и Мир», «Дерибасовская – Ришельевская», «Соты», «Палисадник», журналах «Южное Сияние», «Гостиная» и т.д. Лауреат литературной премии им. К.Г. Паустовского. Автор более чем 20 книг художественной («Последний выстрел Купидона», «Час Птицы», «Ближе к небесам», «Во всём виновата Мурасаки», «Я притворилась кошкой», «Предчувствие» и др.) и документальной прозы («История одной жизни», «Мы родом из войны», «О клубной жизни и о себе», «Твори – и дари», «Двойничество», «Негасимый свет таланта» и др.).

Гость загремел сумкой с бутылками, имитируя перезвон колоколов. Он приехал в цивильном костюме, и выглядел так, будто его самого только что отгладили. Рудику он объяснил, что ему нужно к понедельнику прочитать рукопись какого-то важного для престижа издательства автора.

Следом и вторая машина подкатила. Осторожно выбирающаяся из неё дама могла бы стать примой любого провинциального театра. Про неё хотелось говорить высоким штилем – «волоокая нимфа». Знавшая себе цену, она держалась степенно, ходила и говорила с ленцой. Она уже сходила замуж, развелась. Сегодня привезла нового претендента на свою руку – о сердце помолчим. Величали красавицу Светланой, но в этом кругу она была Гердой: так пристало к ней имя девочки из спектакля «Снежная королева», где она вызывала у зрителей слёзы умиления.

Плечистый парень в очень уж фирменном спортивном костюме, первым делом представился Рудику:

– Вячеслав, топ-менеджер фирмы «Орион».

В этой фразе явно читалось желание дать понять друзьям Светланы, что он соответствует стандартам претендентов на роскошную женщину. Но чёлка на лоб и нос аккуратной картошечкой выдавали в нём селянское происхождение, что тут же было не без ехидства отмечено Рудиком.

– О, знаю, вы монополисты на компьютерном рынке, – нарочито уважительно произнёс Рудик, блеснув очками. – Милости просим в наши пенаты.

Представившись, Славик бросился помогать копавшейся в багажнике Марине. Та, покрикивая на всех, вытаскивала снедь в горшочках, кулёчках и закоптелом казане. Худенькая, вёрткая, в мелких кудельках, она распространяла беспокойство и нервозность. Это Герда упросила кавалера захватить Марину, хотя он жаждал быть наедине с избранницей:

– Понимаешь, Славичек, она не наша, но её муж Степан в нашей студии был актёром номер один. У них был ранний брак, родилась двойня. Это помешало ему получить театральное образование, хотя он был талантище от бога. Два года назад Степан нелепо погиб. В память о нём мы Маринке и помогаем, чем можем.

– Где кухня? – спросила Марина, таща казан и пытаясь ногой открыть тяжёлую дверь дома.

– Не пыжься, – остановил её Рудик. – Соберутся все, тогда я устрою экскурсию. В доме есть что посмотреть.

Пока всё стали выгружать на стол и на затенённую скамейку под кустом жимолости.

Вдали пропела электричка, и Рудик сообщил, что скоро нагрянут «безлошадные». И точно. В калитку еле протиснулся из-за раздутого рюкзака с приторочённой гитарой мужчина с плотным телом спортсмена и лицом чернокудрого романтика. Видимо, ему все симпатизировали, потому что бросились навстречу, освободили от поклажи и дали испить водицы. Богдан, он же Кай в «Снежной королеве», и в детстве становился душой любой компании. Исходило от него нечто тёплое, а люди любят греться у чужого огня. Именно с ним у Герды была любовь не понарошку, но хватило её всего на два годочка.

– Привет, артошки! – салютовал Богдан. – Ну и теснотища была в вагоне! Справа от меня бабка с кошёлкой свежих окуней, слева – не дама, а реклама парфюмерного магазина. Амбре, скажу я вам!

Его мощный баритон оживил компанию, которой было уже невмоготу глотать слюнки при виде роскошного натюрморта на столе – словно с картины малых голландцев.

Рудик перебил Богдана, вызванивал кого-то:

– Вы таки умудрились повернуть направо, хотя сто раз говорено было: «От развилки налево»!

Минут через пятнадцать опоздавшие прибыли.

– Рудик, что это за бильярдный шар вкатился? – в ужасе шепнул Мишаня.

– Не узнал? Это же Лёвушка.

– Поперёк себя толще – чахлый Лёвушка?

– Давненько ты его не видел!

– Да, со студии. Помню, он любил театр беззаветно, хотя играл «кушать подано». А супружница его – чудо в перьях!

Никто из друзей не знал, чем занимается Лев. Когда спрашивали, где он трудится, он отвечал: «Да так…» – и уводил разговор в сторону. Его экстравагантная супруга Нелли, вся какая-то острая, ломучая, в боевом раскрасе, не хотела мириться с определением «бывшая гимнастка» и всячески доказывала, что могла бы выступать в юношеской сборной. Вот и сейчас она попыталась поразить публику, вместо приветствия забросив ногу с оттянутым носком выше головы, но под тяжёлым взглядом мужа застыла, как курица под гипнозом.

Начались общие приветики-ответики, целовашки-обнимашки.

– Ну что ж, все в сборе, – Рудик широким жестом собрал компанию вокруг стола. – Я как хозяин предлагаю следующее: перекус, без фанатизма, рюмка-другая – не более, чтобы мыслить трезво, потом я провожу экскурсию по дому.

– Стоит ли тратить время? Я на природу приехал! – запротестовал Богдан.

– А я сгораю от нетерпения, – перебила его Марина. – Рудик, наверное, что-то интересное прячет.

– Советую пойти. Уверяю, это будет полезно всем, – Рудик был настойчив.

– Да ладно, давайте уже по рюмашке, а то есть зверски охота, – капризно протянул Мишаня.

И народ кинулся дегустировать домашние заготовки и магазинные сыр-колбасу.

Вот уже и потянулась нить разговора, цепляясь за парящие в общественной атмосфере темы. К чести компании, проскальзывал только сленг, но не мат, считающийся ныне чуть не атрибутом интеллигента. Видимо, руководитель «Артошки» сумел вложить в питомцев органическое отвращение к словесной грязи и, возможно, к ценностям высокого порядка.

Никто не заметил, как возле Рудика возник парень с видеокамерой. Чёрная футболка, джинсы, спортивная кепка с длинным козырьком… Он был такой никакой, что взгляды скользнули мимо него. Он с аппетитом уплетал многоэтажный бургер.

– Да, – спохватился Рудик, – это Серёжа. Он учится на курсах телеоператоров. Ему надо сделать выпускную работу, так что он слегка поснимает. Думаю, вы не против. Ты, Сережа, и для нас что-то сотворишь?

– Не вопрос, – пробурчал парень, и все про него забыли.

Рудик торжественно отворил резную дверь, и на приезжих пахнуло, если можно так сказать, холодом величия. Да, он был не из тех сельских домов, где тканые дорожки, занавески в цветочек, стол под белой скатертью создают комфорт и успокаивают душу. Напротив, дом вызывал робость и некое оцепенение высотой, бревенчатыми стенами со старой пенькой в пазах, отсутствием мебели, гулким эхом.

На левой половине располагалась мастерская с верстаком, дощатым настилом. Валялась древесная стружка, громоздились заготовки.

– Дед изготавливал деревянных кукол, – Рудик вытащил из груды заготовок гладкое бесполое тулово без головы и одной ноги. Теперь можно было разглядеть немало торчащих из кучи кукольных ног и рук, недоделанных медведей, обезьянок. На полке шеренгой выстроились безликие головы-близнецы с пустыми глазницами. Их непрорезанные губы, казалось, прятали страшные тайны.

– Мне не по себе, – прошептала Герда и прижалась к спутнику.

– Я тоже чувствую себя, как в морге, – ответил тот. – Давай слиняем.

– Нет, я хочу весь дом осмотреть!

Рудик быстренько вывел гостей из ступора:

– Дед торговал своими игрушками на ярмарках. Отец велел ничего не трогать, сам делал здесь модели кораблей. Я их подарил детскому центру. Мы с мамой сюда никогда не заходили.

Он повёл друзей на другую половину, которая имела вполне жилой вид. Были даже кресла в плюшевых накидках, овальный обеденный стол и резной столик с шахматной доской.

– На втором этаже – четыре спальни и две туалетные комнаты. Кто хочет, поднимитесь взглянуть и выбрать ночное лежбище.

Никто желания не выразил. Всем хотелось вырваться из холодных объятий дома в жаркие объятия залитого солнцем дня.

– Не спешите, – с настораживающей интонацией произнёс хозяин. – Я имею сообщить вам нечто важное.

Рудик нарочито торжественно сел во главе стола. Остальные нехотя расселись, где придётся.

– Господа, – начал Рудик, – объявляю: я отбываю на ПМЖ в Германию. Знаете ли вы, что наш род – из обрусевших немцев? Так вот, взыграла во мне немецкая кровь. Потянуло на историческую родину. А, отбросив сантименты, скажу правду. Здесь я перебиваюсь разовыми театральными и телепостановками. Во Франкфурте мне дают театр. Правда, он полупрофессиональный, но если я подниму до соответствующего уровня, он будет зарегистрирован как профессиональный. Уже всё готово к отъезду. Так что, «плачьте ж, милые друзья, горькими слезами».

Присутствующие начали было бурно реагировать, но Рудик сделал упреждающий жест:

– Я позвал вас не только попрощаться. Дело в том, что я одинокий человек. Родители ушли на тот свет, не обеспечив меня братьями-сёстрами. Так вот оно, ключевое слово моей речи: дом. Я оставляю его вам.

– Как так?

– Шутить изволите?

– Кому именно оставляешь? – в один голос закричали гости.

– Всем вам. Дом и полгектара леса позади дома.

Нависла тишина, пронизанная токами неверия, восторга, изумления, настороженности, тихой радости…

– Дарственная, заверенная нотариусом, уже готова. Нужно только вписать фамилии.

– Так не бывает! – воскликнул Лев! Это же для нотариуса подсудное дело!

– Бывает, мой друг, бывает. Весь вопрос в сумме.

– Не бывает, чтобы такой домище задарма отдавать! – покачала головой Марина. – Хотя мои мальчишки быстро бы его обжили.

– У меня нет другого выхода. Я не могу его продать. Мне определили жёсткие сроки вступления в должность. А просто бросить жалко.

– А как же мы его будем делить? – вдруг истерично взвизгнула Нелли.

– Дело ваше. Думаю, коллективный разум примет правильное решение. Поделите поровну.

Рудик сделал мхатовскую паузу. И добавил:

– Но есть одно условие.

Компания насторожилась.

– Жизнь меня научила: человек не ценит то, что получил даром. Больше того, оно не идёт ему на пользу.

– Известно – бесплатный сыр только в мышеловке, – изрёк Богдан.

– Вот именно, – услышал его Рудик. – Поэтому назначаю цену. Я спрятал дарственную в надёжное место. Ищите красный конверт. Кто найдёт первым – тому солидная преференция. Поле деятельности – весь дом, включая чердак и подвал. Конверт я нарочно сделал из красной бумаги, чтобы легче было найти.

Новая волна изумления прокатилась по комнате.

Гости перешёптывались, переглядывались. Кто пожимал плечами, кто крутил пальцем у виска…

– Тут что-то не так, – Славик наклонился к Герде. – Только не пойму, в чём прикол.

– Ты не знаешь Рудика, – горячо зашептала Герда. – Он наша голова. Он не приколист. Проверено временем.

Славик только усмехнулся.

Мишаня, теребя бородку, с усмешкой заявил:

– Я в такие игры не играю. Отказываюсь от своего пая. Отказываюсь в пользу Марины.

Та благодарностью сжала его руку.

– Как это? – вскинулась Нелли. – Вкалывать будем поровну, а она получит два куска! Не пойдёт!

– Ну, как хотите, – в замешательстве протянул Мишаня.

Марина обвела взглядом всех присутствующих, ища поддержки. Но они молчали, отведя глаза. Она выбежала и села на крыльце, уткнувшись головой в колени.

– Решайте, кто куда пойдёт, – Рудик явно стремился замять неловкость, – а я займусь шашлыком. Нежнейшая свининка, с вечера томится в кефире. Обещаю обалденный хавчик!

Компания испытывала смущение. Однако из культурного слоя подсознания пробивался у цивилизованных людей первобытный инстинкт загребущей руки. Получить что-то на шару! Разве тут устоишь? Достаточно убедить себя, что просто участвуешь в какой-то лотерее, и принять её правила.

Славик потянул Герду в сторону, под пронизанный светом ясень:

– Уйдём, солнышко! Пошли на лиман, позагораем! Такая возможность побыть вдвоём! Зачем тебе эта подачка?

– Ты не понимаешь, Славичек, – взволновалась она. – Я давно мечтаю о домике в лесу. Или хочу хотя бы просто кусочек леса.

– Тебе он не достанется в любом случае!

– А вдруг повезёт? Ты же мне поможешь?

– Бред какой-то! Ну, вижу, тебя не отговорить. Надеюсь, конверт быстро найдётся под какой-то стрехой!

Махнув рукой, Славик покорился.

После прикидок, кто куда пойдёт, искатели двинулись к дому, но тут опять выскочила Нелли:

– А при чём здесь вы, Вячеслав, или как вас там звать? Мы вас видим в первый раз. Несправедливо будет, если вы получите пай наравне с нами. Мы же столько лет – как одна семья. А вы чужой.

Тот растерялся:

– Да я, собственно, не претендую. Я просто помогу Герде, как вы её называете.

– Нетушки! Вдвоём вы быстрей найдёте конверт. А надо по справедливости!

– Вы ведь тоже вдвоём! – усмехнулся Богдан.

– Но Лев – мой законный муж, а не любовник. К тому же, я год тоже ходила в студию.

– Что-то вас никто не заметил! – рассмеялся Мишаня.

– Я спорить не собираюсь, – смутилась Герда. – Славичек, подожди здесь. Помоги Рудику жарить шашлыки.

У Славика вспыхнуло желание не медля убраться из этой милой компании. Но, может, удастся хоть вечер и завтрашний день провести с прекрасной девушкой!

Он досадливо поморщился, чмокнул её в щёчку и ушёл за ворота.

Компания направилась к дому. Вослед Мишаня, дурачась, пропел на манер частушки «Ах, не ходите, ежики, да ежики, в туман, нету там лошадок, там один обман!», за что получил от Рудика дружеский щелбан. Издатель утонул в хромом парусиновом кресле, открыл ноутбук и вроде погрузился в чтение. Однако его намётанный глаз ухватывал все перипетии происходящего. Он с интересом ждал результата.

Лев и Нелли облюбовали мастерскую. Они уже приметили стеллаж высотой до потолка. На полках громоздились горы книг, папок с какими-то документами, стопки бумаг. Самое место спрятать конверт!

– Надеюсь, книги пролистывать не придётся, – проворчал Лёвушка. – Это уже был бы садизм.

– У меня идея! – жена вцепилась ему в плечо и с жаром затараторила. – Мы сделаем из дома мини-отель. А что? Несколько номеров, пансион. Место – лучше не бывает.

– Всю шкуру неубитого медведя хочешь? – Лев рассмеялся, хотя сама идея ему приглянулась. – А если клок шкуры достанется?

– Нет, Лёвушка! Мы его найдём! Должны найти! Поверь моей интуиции, конверт здесь.

Нелли сбросила отороченную мехом накидку, делавшую её похожей на летучую мышь, и брезгливо принялась обследовать завалы и стружек. Муж, почесав в затылке, приступил к разбору бумаг. Пару раз к ним заглядывал молчун Сергей, снимал с разных точек, даже на стеллаж залез. Нелли позировала как, профессиональная модель.

Марина выбрала кухню. Это была её стихия. Средневековый замок, притворившийся буфетом, пугал обилием комнат-ящиков. Марина тщательно обыскивала каждый. А мысли её метались. Обида на друзей Степана приглушилась: конечно, все хотят, чтобы участников было меньше, тогда куш будет больше. Но всё-таки никто из них не бедствует. А каково одной поднимать детей! Если ей что-то достанется, можно будет прикупить к собственной однушке ещё комнату, сделать детскую. «Пресвятая Богородица, – горячо молилась про себя женщина, – услышь меня, помоги мне первой найти конверт!».

Марина случайно заметила, что из створа дверей оператор снимает её – в подоткнутом сарафане, растрёпанную, среди завалов посуды.

– Нет уж, я хочу быть красивой, – запротестовала она.

Марина взбила кудельки, с улыбкой позволила запечатлеть себя, потом принесла кружку смородинного чая и поставила перед Сергеем. Тот быстренько выпил чай и исчез.

Богдану, только вступившему под мрачные своды, вдруг послышался странный звук: то ли бетховенский органный аккорд, то ли резкий всхлип своей гитары. А он верил в знаки свыше. Ему стало не по себе. Он даже попытался уговорить Рудика: «Брось ты эту хрень!», но тот похлопал приятеля по плечу и расхохотался. Он легко спрыгнул с крыльца и надолго застрял в сарае, отыскивая мангал.

В захламлённом подвале, среди останков чьих-то жизней Богдан был, как в фамильном склепе. Каждая вещь, даже самая ничтожная, казалась памятником своей эпохи. Сколько же слоёв времени здесь осело! Богдан спотыкался о сундуки, набитые утварью, перелезал через завалы изъеденной жучком мебели и ржавые велосипеды, выпутывался из паучьих сетей. «Где этот чёртов конверт?». Неожиданно обнаружил дырявую кольчугу и детский меч. Примерил на себя и принял облик викинга.

А сверху за ним неотрывно следил глаз объектива…

Богдан чувствовал себя, как вор. Он не хотел этого! Просто действительно нужно помочь Марине. Он пройдёт весь путь и тогда будет вправе сделать ей подарок. А ему самому такого не надо. Как наладчик оборудования на телефонных станциях он зарабатывал на хлеб с маслом. Бардовские фестивали, уличные перформансы, где можно блеснуть артистизмом, привалы в горах… Больше ничего ему в жизни не нужно. «Стоп! Не ври самому себе! – укорил его внутренний голос. – Ничего, кроме Герды!.». Заноза в сердце от нелепого расставания колола до сих пор. Вот и сейчас: в тревожную ноту, всё еще звучащую в ушах Богдана, влился, как показалось ему, крик Герды. Как она там, на чердаке? Она ведь одна!

Бросив поиски, Богдан взлетел по шаткой лестнице на чердак.

Лес в раме слухового окна был точь-в-точь, как картина Шишкина. Само окно было необычно большим для чердака. Герда выглянула. Поодаль за деревьями прятался домишко. Именно о таком она и мечтала. Домик в лесу, где можно спрятаться, когда город опостылел, когда под крик малолеток в интернате проклинаешь день поступления в медучилище. И была бы живая тишина. И утром стояла бы на крыльце кринка молока и каравай ржаного хлеба. «Рудик мог дать мне какой-то знак, ведь когда-то он…», – подумала Герда и тут же упрекнула себя за эгоизм.

Герда любила чердаки. Начиталась, наверное, книг о сокровищах в сундуках. Этот чердак был светлый и чистый. Никаких укромных мест. Но сундук был! Расписной сундук – как толстая баба в цветастом сарафане. Сердце Герды сердце заколотилось от радостного предчувствия.

Крышка отошла на удивление легко. С неё спускался мохнатый паук-альпинист. Пахнуло затхлостью. Справа в необъятном чреве сундука высилась стопка узорчатых скатертей, спрессованных временем. Герда, морщась, перебрала их. В глубине стопки мелькнуло что-то красное. Неужели? Увы, нет. Две красные салфетки с монограммой «NS». Зато обнаружила она на самом дне искусно сплетённый из берёсты короб. Там при свете дня блеснул ворох цепочек, пряжек, мотков серебряных и золотых нитей. Герда вытащила из него длинную, даже не почерневшую цепочку. Решила примерить. Но та, как змея, чей покой нарушили, уколола её в горло. Не так уж больно, но неожиданно, и Герда вскрикнула. Она стала распутывать цепочку, но жало вонзалось всё глубже. Герде уже стало казаться, что цепь не отпустит её, и она застонала.

Вдруг чья-то тень склонилась над ней.

– Помоги, Славичек, – всхлипнула она и тут поняла, что ошибочка вышла. – Богдан, ты с ума сошёл! Уходи!

А он распутал цепь и поцеловал ранку:

– Не уйду, пока ты не скажешь, из-за чего подала на развод. Я так и не понял. «Не сошлись характерами!» – это же смешно!

– Ах, оставь!

– Нет!

– Ну, тогда я скажу правду. Мне не нужна звезда перформансов. Я просто женщина, и мне нужно надёжное плечо. Я хочу хорошую квартиру, дачу, машину. Это что, слишком роскошно для меня? Извини за резкость, но не надо носить меня на руках. Я до ювелирного магазина и до бутика своим ходом дойду. Да, я такая! Я хочу выглядеть! Понял?

– Но ты же своего Славичку не любишь! Я это вижу, вижу! Я тоже правду скажу: ты вообще не умеешь любить. Тебе Снежную королеву играть!

И вдруг Богдан увидел, как исказилось любимое лицо.

– Что ты! – испугался он. – Я обидел тебя! Я сволочь!

Он нежно погладил её мягкие волосы.

В пылу спора они не заметили, что на лестницу выскочил, как чёрт из табакерки, оператор Сергей. Он зафиксировал момент и испарился.

На дворе тем временем каждый занимался своим делом. Рудик обихаживал пространство возле стола, соорудил длинную скамью из доски и двух табуреток, колдовал над мангалом. Он то и дело поглядывал на окна. Дом казался мёртвым. Трудно было предположить, что внутри кипят страсти.

Мишаня читал с экрана текст, то хмыкая, то хмурясь, то вдруг выдавая вслух афоризмы – непонятно, свои или автора.

Славик ушёл на лиман. Солнце, к которому боялась приблизиться свинцовая туча на горизонте, посылало на землю лавины ультрафиолета. Морская стихия подняла со дна застылой души топ-менеджера романтические бредни о яхтах под тугими парусами. Классно-то как! Он дельфином резвился в накатах волн, балансировал на осклизлом ракушечнике, делал стойку на руках, компенсируя тягомотину офисных часов. Но радость вольности отравляло ощущение того, что его «лоханули». С ним рядом должна лежать девушка в бикини! А он сыпал бы золотые струйки песка на вздымающийся животик так волнующей его девушки! Она же променяла его на какой-то призрак.

Ощущение праздника улетучилось. В Славике закипала злость. Он почти бегом бросился во двор и сходу накинулся на Рудика:

– Ты мужик или не мужик? Доброе дело хочешь сделать? Так отдай дом и всё. А ты кость бросил и ждёшь, кто схватит!

– Отвали! – не повышая голоса, отреагировал хозяин. – Не твоё собачье дело!

– Ах так?!. – вскипел Славик. – Надо ещё посмотреть, какую ты туфту замутил! Не верю я тебе, режиссёр!

– Зато все остальные поверили.

– Да чем примитивней обманка, тем сильнее в неё люди верят.

Славик напрягся и сжал кулаки, но вмешался Мишаня:

– Джентльмены, возьмите себя в руки! Нет причин для баттла!

– Вот и я говорю, – сказал Рудик миролюбиво – Иди лучше кромсай огурцы и помидоры.

Так прошло больше трёх часов.

Наконец, Рудик сложил ладони рупором и провозгласил:

– Эй, братва, рабочий день окончен! До завтра! Прошу к столу! Шашлык уже умоляет, чтобы его съели.

Из дома высыпали смурные, утомлённые борьбой с препятствиями почти неодолимой силы искатели заветного конверта. Ясно было, что госпожа Удача не улыбнулась никому. Они, молча, принялись счищать с себя пыль веков. Женщины переоделись, ожили и похорошели.

Компания потянулась к столу, над которым витал многообещающий дух обжоры и пьяницы Бахуса.

У Богдана заверещал айфон.

– Да, – ответил он. – Это важно? ОК, еду, пока электричка ходит!

Он обратился к друзьям:

–Труба зовёт! Покидаю вас. Надеюсь, вы меня учтёте при делёжке?

На этот раз возникла Марина:

– Ты тоже хочешь на шару? Нам ещё завтра муравьями ползать, а ты хочешь слинять!

Богдан опешил. Он ради Марининой доли ковырялся в старье, лодыжку вывихнул, а она туда же! Он взахлёб хохотал, уставившись на Марину, а все в недоумении уставились на него.

– Ладно, – пробормотал он, – Я пройду все круги ада!

А его внутренний голос добавил: «Но для себя!».

Вечеринка как-то не разгоралась. Мишаня в роли тамады выдавал юморные тосты, сыпал хохмами: «Две заповеди для интеллигента: „Не ешьте курицу руками и не ругайте Мураками!“». Только после обильных возлияний языки развязались. В нестройный хор голосов то и врезались истеричные взвизги Нелли.

Богдан дошёл до нужной кондиции и настроил видавшую виды гитару.

– Ну, – поморщился Мишаня. – Сейчас бардовские динозавры затянут: «Милая моя, солнышко лесное!».

– А почему нет? – пискнула Марина.

– Или, – не послушал её Мишаня, – с дрожью восторга грянут: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». Сентиментальный совковый вздор.

– Зато в точку! – со злой иронией бросил Славик.

Баритон Богдана подействовал колдовски. Все перестали жевать и присмирели.

Он не пел, он выговаривал:

Расставались они,
и она говорила:
я тебя не люблю
и вообще не любила.
А ему уже было
ни горько, ни сладко,
он молчал, на часы
взгляд бросая украдкой.[1]

Последние строки Богдан бросил в темноту внезапно упавшей влажной ночи с отчаянной лихостью.

– Ну, – отрезал он, жёстко прервав вздох гитары, – пора баиньки.

И компания рассыпалась. Только Рудик и Серёжа уединились под навесом. Но ещё долго, видели они, в окнах мельтешили вспышки телефонных фонариков. Кто-то очень уж хотел выиграть гонку.

В полночь Рудик свернулся калачиком на топчане в мастерской. Сон навалился на него мгновенно. Однако кто-то потряс его за плечо. Рудик, ещё не выпроставший из вязкого сна, увидел близкое оплывшее лицо Льва. Оно было напряжённым, морщины сошлись над переносицей. Он заговорщицки прошипел:

– Слушай сюда. На кой дьявол ты играешь в доброхота? Разбазариваешь не тобой нажитое? Продай дом мне. Всю цену я не потяну, но половину могу. Разве тебе бабло не понадобится?

– Теперь ты слушай сюда. Самый умный, да? Из горла готов вырвать? У друзей!

– Я же тебе гешефт делаю!

– Свободен! Будем считать, разговора не было.

Столб лунного света выхватывал стоящего на коленях перед топчаном Лёвушки. Таким его и увидел глаз камеры вездесущего Серёжи.

Ослепительное утро с волнами запахов бриза и степного разнотравья, ультрамарином сонных вод, пересвистом невидимых птах будто растворило мрачное вчера. Народ взбодрился. Никто не вспоминал свои поиски. Всем казалось, что ситуация почему-то переменится к лучшему.

По окончании трапезы кто-то снова потянулся к дому, но Рудик попросил всех вернуться. Так же торжественно, как вчера, он сверкнул очками и заговорил:

– Господа, прошу выслушать меня, не перебивая. Вопросы потом, договорились? Итак, первое. Поиски прекращаются. Не потому, что я передумал. Просто красного конверта не существует. Я его придумал, равно как и то, что я уезжаю. Равно как и то, что я оставляю дом вам. Второе: поиски прекращаются, поскольку Серёжа профессионально поработал, и я имею превосходный видеоматериал для участия в международном конкурсе видео в жанре реалити-шоу. Я туго закрутил сюжет, добавив элементы квеста – интригу с поисками конверта.

Компания напряглась, но молчала. В воздухе повисло наэлектризованное облако.

– Третье, – продолжил Рудик. – В порядке компенсации я действительно предоставляю вам дом на всё лето. Привозите, кого хотите, живите, сколько хотите.

– А когда можно приехать? – Марина и вытерла вдруг брызнувшие слёзы.

– Да хоть завтра, – отмахнулся Рудик. – Теперь четвёртое. Я уверен, моя работа получит приз, и фильм пойдёт по мировой сети. Вы станете популярными. Я вам, можно сказать, пиар-сессию сделал.

– А ты спросил, хотим ли мы этого? – взорвался Богдан. – Согласие на съёмку спросил?

– Да, я спросил вас, не возражаете ли вы, что Серёжа будет снимать, и все промолчали, значит, согласились. Впрочем, кто хочет, пусть подаёт в суд. Дело будут долго мурыжить, припаяют мне штраф. Если хочешь, я тебе его сию минуту выплачу.

– Скотина! – крикнула дрожащая от негодования Нелли.

– Спокойно, мадам. Вы так охотно позировали! А в принципе, вы все просто несколько часов играли свои роли в предлагаемых обстоятельствах. А уж кто какую роль – дело совести. Ничего страшного. Вы мне ещё спасибо скажете.

– Подонок! – процедил сквозь зубы Славик. – О совести он вспомнил! Я знал, что это туфта!

Рудик недоумённо повёл плечами:

– Я думал, вы поймёте, как для меня важно выйти на международный уровень. Поймите меня, откиньте свои амбиции. Мы же друзья!

– Какой ты друг! Ты предатель! – выкрикнула Герда, до того сидевшая с каменным лицом. – Ты всё порушил!

Лев молчал. На щеках его выступали багровые нити сосудов.

А Мишаня изрёк неопределённое: «Если посмотреть с нужной стороны, то и в чёрном квадрате Малевича можно увидеть светлое будущее»…

Богдан спокойно встал со ступенек крыльца, подошёл к Рудику и двинул ему в челюсть. Тот упал навзничь, но на лету успел крикнуть:

– Серёжа, снимай! Убойный кадр!

Богдан, ни на кого не глядя, уже уходил со двора.

Все вдруг засуетились, побежали в дом за вещичками.

– Куда же вы, господа! – захохотал Рудик, резво вставая. – Впереди долгий счастливый день!

Господа рассаживалась по машинам. Они не смотрели друг на друга, осознавая, что участвовали в чём-то постыдном, и оно развело их навсегда.

Мишаня выехал первым. Метрах в сорока от дома он нагнал Богдана.

– Садись! Рюкзак в багажник закинем, – бодренько выкрикнул Мишаня, открывая дверцу.

– Не-а, – досадливо отмахнулся тот, поправляя свой нескладный груз. – Я на электричку!

АЛЕКСАНДРА ЮНКО

ОСТАНЕТСЯ СТРОКА

ВЕЛИКАЯ ТИШЬ

и горький отечества дым
разносит шальная эпоха
над бункером серым твоим

***

В нашем городе
землетрясения
бодрят
и сближают слои населения

есть о чём потолковать
чем поделиться
как добрыми новостями

вас качало а вас
не так чтобы сильно
но долго
а у нас на шестнадцатом этаже
амплитуда ого
не то что у вас
на девятом

Александра Юнко (1953-2018) – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, журналист. Родилась и жила в Кишинёве. Работала в Доме-музее А.С. Пушкина, в газете «Молодёжь Молдавии», долгие годы сотрудничала с газетой «Русское Слово». Автор нескольких поэтических сборников, сборника эссе «Гадание на Пушкине». Последняя книга стихов «Слова на ветер» (2017) была издана по итогам конкурса и при финансовой поддержке Министерства культуры РМ. Стихи, проза, критические статьи были опубликованы в литературных изданиях Германии, Израиля, Канады, Молдовы, России, Украины, США.

В нашем городе
землетрясения
оживляют историческую память
густо заросшую сорняками

а вот в девяностом
когда ночевали на улице
жарили шашлыки
и танцевали под звездами

в 86-м была на сносях
и всё ждала
когда же начнутся роды
дочь родилась через месяц

77-й на юбилее в «Краме»
гул был такой
будто поверху шли танки
женщина билась в истерике
ползла по столу к выходу
скатерть в осколках
в крови
в коньяке
из гардероба исчезли шубы

перед войной
в 40-м
в ноябре
рушились здания
камни летели на голову
трещины по мостовой
бесновались собаки и кошки
чуя беду
а мы не догадывались
что нас ждёт

Бывало и раньше
но некому рассказать
только бумаги знают

В нашем городе
землетрясения
рождают свою мифологию

пьяный проспал всё веселье
и удивлялся
куда исчезли соседи

Люда – ты помнишь Люду? –
вынесла весь хрусталь
детей и мужа забыла
в одной семье
аккуратно сложили ценности и документы
степенно вышли
в исподнем

Постепенно всё затихает
люди ложатся спать
и только на тихой улочке
в одноэтажном доме
долго горит свет
а перед дверью снаружи
сидит под луной на стуле
молодая
простоволосая
кормит грудью младенца

ПОЭТ

Он проснулся, ещё не освоясь,
а вокруг растянулся пустырь,
бесконечный уродливый комикс,
где слова выдувают в пузырь.

Что он может? Не бог, не воитель –
умник, паинька, книжный червяк,
мастер снов и властитель наитий,
угодивший спросонья впросак.

Против китча любого обличья,
против пошлости, вбитой в виски,
он пехоту эпитетов кличет
и метафоры строит в полки.

Вышел в поле, прекрасен и страшен,
под шуршанье бумажных знамён!
Но никто не играет за наших –
все убиты, а тех легион.

И потонет бумажный кораблик,
самолётик застрянет в кустах…
Только он, оловянный солдатик,
одиноко стоит на часах.

УЛЕЙ

Мозг
растревоженный улей
гуденье нервное пчел
нарушен
налаженный ритм
ежедневной рутины

чужак ли вторгся
в родные пределы
или напал беспощадный
пчелиный грипп

первый за лето
пережили с трудом
второй
стал Катастрофой

много ересей
втайне никто
не верит
будто
сок цветов
превращается в мёд

и только матушка
в своей одинокой келье
молится
старому
Пасечнику с библейски
босыми ногами
и седой бородой до пупа
ПОМИЛУЙ НАС ОСПОДИ

ВЕСТЬ

1

не стану читать газеты
отказываюсь смотреть новости
отключу интернет

не хочу ничего знать
об этих ужасах

каждый осколок снаряда
попадает мне
в голову
в сердце
в солнечное сплетение

не могу
не читать
не смотреть
не знать

изрешетила меня
война
в дырах свистит
злой ветер

читаю читаю читаю
смотрю смотрю смотрю

слепну от боли

2

…когда целятся в грудь ребёнку,
чтобы не плакал,
и душат беременную,
чтоб не рожала,
когда бежит по траве живой факел
и поджигатель
глумится над мёртвым телом…
какое – к чёрту – искусство?!

небо необитаемо, бог
уехал на ПМЖ в другой космос,
чувства
атрофировались
и отпали, как хвост
примата,
культура,
деревенская дурочка,
отдаёт перезрелым сыром,
страницы книг,
плесневеющий хлеб,
склеиваются между собой,
хороня смыслы,
как старый склеп,
некому больше читать,
мир ослеп,
и сколько
ни пиши на заборе:
МЕНЕ ТЕКЕЛ ФАРЕС –
никто не заметит,
это всего лишь адрес,
здесь больше
никто не живёт, и весть
некому передать, почтальон
сдал свою сумку,
взял расчёт,
ушёл воевать,
не вернётся.

***

Пытает бессонница снова,
на правом, на левом боку,
и до половины шестого
забыться никак не могу.

Плыву сквозь обрывки дремоты
и вскакиваю впопыхах:
удавкой на шею намотан
давно перемолотый страх.

Попутчики дней и вокзалов
кричат сквозь помехи и шум:
я что-то им недосказала…
Скажу, напишу, надышу,

заштопаю рваные дыры
и новых, и старых потерь…

Из этого тёмного мира –
рывком за балконную дверь!
Плечами прижмусь наконец-то
к шершавому тылу стены.

Налей мне молочного света
в зелёный кувшин тишины.

***

Чернозём бессарабский
(щепку воткни – цветёт)
обращается в пыль,
и несёт её дальше ветер.
Урожай гниёт,
кручина гнёт,
глаза покрывает лёд.

В опустевшем дому
никому
никого не встретить,
только эху запомнилось:
прогибались полы
и стёкла от песен звенели…

Уронила на землю
тяжёлые гроздья
лоза.
Одинокое
в горьком пиру похмелье.
Улетели грачи.
Несжатая полоса.

***

За городской заставой холмы в осеннем,
синее небо выше и воздух чище.
В плащике тощем кто там бредёт, рассеян?
То ли сбивает орехи, то ли терновник ищет.

Для уха оглохшего и для души контуженной
лечебный режим, и вокруг тишина такая,
что на ветру звенит паутины кружево
да с опустевших крон листва стекает.

И, как снаружи, станет внутри просторно,
нет искушений, пока не придёшь с повинной, –
дадут на орехи, напялят венок из тёрна…
Торчат у дорог чёрные крестовины.

В этой копилке все времена и лета.
Трофеи везёт Геродот в каруцах тряских:
битые черепки днестровских гетов,
заржавленный пистолет,
сорванный эполет,
венецианский стилет,
скифский колчан,
подковы кобыл хазарских.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

«Зодиак изменился. Всё будет гораздо иначе – но рисунки и текст разлетевшихся пеплом страниц непременно запишутся в чёрный магический ящик…» – полушутя предсказал когда-то Саша Соболев, и как же больно сейчас это перечитывать… Да, стихи останутся, его серьёзные, горькие, глубокие, но человечные и доверчивые к миру стихи продолжат своё существование – здесь ли или ещё где-нибудь. Но его голоса, его уверенной поступи, ауры его убеждённости и доброты, спокойной и светлой силы – больше нет и не будет… В других мирах он продолжит свой магический поиск истины – в стихах ли, в прозе или в иных носителях, кто знает…

Его стихи совершенно естественно встраивают человеческую жизнь в прошлое и в будущее. Там для автора ни в коем случае не две тёмных неизвестности – а сложная структура, которая зависит от наших сегодняшних поступков, которой определяется сегодняшнее наше бытие. И поэзия, слово как действие тоже это будущее определяет:

Но то, что здесь вызревало (и станет большим там) –
немалое утешенье в путях неисповедимых.
Да славятся те, кто слово привил к твоим устам,
да будет за нас приветлив и милостив к ним Единый.
Ольга Андреева

ПО ПРАВУ ГОВОРЯЩЕГО

О СТИХОСЛОЖЕНИИ

1.

Сначала появляется строка…

…которая, вниманием владея,
туманно намекает на идею,
едва определимую пока.
И кто бы знал до этого момента,
что муза, залучившая клиента,
от всей души вручит кота в мешке?
Заявится восторженная нимфа –
и вертится заезженная рифма,
как вошь на гребешке…

Строка, не признающая отсрочки, –
с наивностью проклюнувшейся почки,
с томлением набухшего зерна
она и ждёт, и жаждет, и стремится –
а ты сейчас – и бездарь, и тупица.
Напрасно заунывная зурна
проигрывает бездну вариаций.
С три короба одних аллитераций –
а толку ни хрена.

Высматривая будущего знаки,
пожухлые лексические злаки
упрямо культивирует стилист.
Попробует на вкус – одна полова…
И фраза вяжет рот, и вновь ни слова
не выдавить на лист.

Александр Соболев (1952-2023) – поэт, автор шести стихотворных сборников. Произведения опубликованы в журналах «Нева», «Дети Ра», «Prosodia», «Москва», «45-я параллель», «Южное Сияние», «Ковчег» и многих других. Лауреат премии журнала «Ковчег» (2006), победитель конкурса «Вечерней Москвы», обладатель Гран-при фестиваля «Провинция у моря» (2016), финалист Волошинского конкурса (2021).

И он с досадой пёрышко кладёт
и даме объявляет нелюбезно,
что новые попытки бесполезны,
что дело не пойдёт.

2.

Но вот, когда ты музе дал отставку,
когда идёт здоровье на поправку,
когда, казалось, кризис миновал –
та самая, первичная идея
войдёт с неумолимостью злодея –
и поражает душу наповал!

Та самая, первичная строка,
блестящая, а может быть, скупая,
твои грехи мгновенно искупая,
приобретает функции курка
для напряжённой арбалетной стали.

А дальше… как любовь на карнавале,
где всё и можно, и как раз пора,
где всё определённо состоится,
где утром просыпается царица
в объятьях школяра.
И кто дарит, и кто овладевает…

Слагаются, растут, отвердевают
в едином непрерывном катаклизме
рифмованного смысла острова,
и остается только удивляться,
откуда, в самом деле, могут браться
в таком небезупречном организме
такие совершенные слова!
Но удивленью – миг, а делу – время…
…Ломает корку огненное семя,
и каждый вдох – короче и плотней,
а каждый выдох – стопами размечен,
и черпаешь из океана речи
по праву говорящего на ней.
Причудливые формы принимая,
реальный, как ведическая майя,
но лишь тебе открывшийся мираж,
отзывчивый на жадный голод крови,
изменчивый в самой своей основе,
ложится под граненый карандаш.
И мысли смелы, и слова покорны,
и гул преображающего горна
непререкаем, неостановим,
и благодарной радости избыток…
Когда бесстрастно свёртывает свиток
незримый шестикрылый серафим.

3.

Уже свершён над пропастью полёт,
уже дыханью попросторней стало,
а эта совокупность материала –
ну, что же, с этих пор она живёт.
Она живёт, и жить – ее забота.

Сметаются остатки шелухи,
стираются неточные штрихи…
Заслуженно-ленивая Суббота…
И, может быть, теперь возникло что-то
с названием «стихи».

ТРИ БАЛЛАДЫ

МОРСКОЙ ЭТЮД С ДРАККАРОМ

Дела принимают дурной оборот,
ревёт штормовая погода…
От мысов Бретани, от бранных забот
под режущим ветром на север идёт
норманнский корабль из похода.

С поклажей, пропахшей солёной треской,
идёт он, гонимый звериной тоской
к утёсам далёкого фьорда.
Белёсыми хлопьями пены морской
покрыта свирепая морда.

Идёт, сотрясаясь, идёт напролом,
как лошадь, порвавшая сбрую,
к черте горизонта, встающей ребром.
Текут из ларей пополам с серебром
ячменные щедрые струи.

А шторм, безобразный седой коновал,
хохочет истошно и яро,
роняя зарницы, топя острова…
Терзают и давят валов жернова
смолёное тело драккара.

Во мраке густом устремился к земле,
кленовым листом затерялся во мгле
на волю отпущенный ворон,
и стонут варяги, как дети, сомлев
в ладонях безумного Тора.

А буря, осеннюю жатву творя,
грохочет над их головою,
бурлит ледяная купель октября.
И только один однорукий варяг
припал на весло кормовое.

Но души людские уже не вольны
управиться с ужасом чёрным…
Восходит совиное око луны,
то в тучу ныряя, то в гребень волны,
над их кораблём обречённым.

Иглой под рукой неумелой швеи
идёт он, борта окуная свои,
вдогонку за вороном вещим,
и призрачным светом сырой чешуи
глаза деревянные блещут.

Идёт он, обрывки снастей полоща,
на скорые смертные муки.
Раскручена вихря слепая праща,
и стонут варяги… и доски трещат…
и руны поёт однорукий.

ТИГР

В сердце камня проникает стрела,
ощутившая крепость руки и душевную силу.
Классическое хокку

Он шёл, торопясь дойти, под мутной луною,
и большая часть пути была за спиною,
за поясом – два меча и лук за плечами…
А ветер бамбук качал, и совы кричали,
и двигались облаков тяжёлые клочья
и тысячи мотыльков,
подхваченных ночью.

Размашисто шёл стрелок в крылатой метели,
и пять совершенных строк родиться хотели.
Он думал, как в них сольёт мгновенье и вечность,
и бабочек жёлтых лёт в туманную млечность.
То тучи скользили прочь, то в ту же минуту
опять становилась ночь,
как ягоды тута…

И вот, за сквозной стеной сплетённых растений,
где воздух прошит луной и шаткие тени,
где духи ведут во мгле весенние игры –
увидел он вдруг к земле
припавшего тигра…

И горного ветра гул сменился затишьем,
рукав кимоно мелькнул летучею мышью.
В движении том была смертельная сила.
Ушла с тетивы стрела и цель поразила.
И, не усомнясь ничуть в посланце пернатом,
в долину продолжил путь
питомец Ямато.

Когда же расцвёл восток под пение птичье –
пришёл со слугой стрелок за редкой добычей…
И многие сотни лун с тех пор вспоминают
пробитый стрелой валун
и дух самурая.

БАЛЛАДА ОБ ИМЕНИ

Солдатам и офицерам Плесецка посвящается

Ты можешь словом заклясть огонь?
Хотя – не об этом речь…
Однажды прислали на полигон
летучую Рыбу-меч.

Солдатик-техник, из тех ребят,
ревнующих к небесам, –
он имя подруги, её любя,
на корпусе написал.
И вот, огнём дохнув горячо,
светя миллиардом свеч,
ушла в поднебесье крутой свечой
летучая Рыба-меч.

И снова секции головной
нацелили остриё,
и слово «Таня» белело вновь
на корпусе у неё.
И кто-то пришлый, из важных лиц,
настойчивый в мелочах,
на старт явился с проверкой-блиц –
заслушать и замечать.
Он был педант, и он приказал
следить неуклонно впредь,
чтоб так не баловалась «кирза».
А имя велел стереть.

…При слове «Пуск» ухмыльнулся рок
одним из кошмарных рыл:
он вырвал ракете её нутро –
и кратер жерло раскрыл.
Шатнуло громом лесную глушь,
плеснула заря за край,
и много мужских небезгрешных душ
отправилось прямо в рай…

Был новый запуск. Потом другой…
И милостив был Господь,
и был послушен теперь огонь,
спаливший живую плоть.
Но каждый борт непреложно нёс
способное уберечь
простое имя, что так всерьёз
присвоила Рыба-меч.

—

ДЕЖА-ВЮ В ТЁМНЫХ ТОНАХ И ТРЁХ ЭПИЗОДАХ

Эпизод 1

Солнце
        светить устало, и стал – закат.
Донце
        дня обнажилось. Сменивший масть,
скомкан,
        отброшен свет, и, как век назад,
кромка
        из огненной – в сизую налилась.

Облачной
полосой разделённый зенит –
Яблочной
кожурой в бирюзовой воде.
Племя
младое шатается и гомонит:
время
любить и на спинках скамеек сидеть…
Синее –
в черноту переходит. И все
линии
превращаются в смазанный штрих…
Купол
остыл, и на выпавшей звёздной росе –
купы
деревьев и всплеск электронных шутих…

Эпизод 2

Ночь знакома, как сон знаком,
а откуда – не вспомнить… да нет и смысла.
В бритву заточенным пятаком
воровская луна повисла.

Ночь – южн*а*. Обо всём целиком
заставляет забыть.
Аскорбиново-кислый
лунный свет укажет легко
казино под названьем «Счастливые числа»…

С пуговицей в руке – деликатно встрять
между новым русским и казнокрадом,
кинуть жетончик на «двадцать пять»
(это возраст подружки, сопящей рядом).
Поглядеть, как шарик исполнит каприз,
и с ненужным пучком салата в кармане,
приобняв за бедро ликующий приз,
со ступеньки шагнуть – и поплыть в нирване,
широко загребая её веслом,
преклонив колено на дне каноэ,
ощущая шеей дыханье хмельное, –
в темноту, за другим счастливым числом…

Эпизод 3

Ветер. Темно. Но, рискуя споткнуться,
скачет мелодия. Спать не хочет
август – и белобрысая «тутси»
в первом часу августейшей ночи.

Ветер…
И веет мистической жутью
от тела, которое в ритме «латино»
на негативе, засвеченном ртутью,
на тёмной террасе, на гулких пластинах
колеблется, гнётся, свивается штопором,
руки вдевает в размытые тени,
в сквозящую сеть серебристого тополя
и в перламутровых пятен смятение.

Телом, затянутым в тонкий эластик, –
ветер колдует белая мамба.
Воздух, раскроенный хриплыми ямбами,
склеен движений змеиной пластикой.
Ветер, пойманный магией пляски,
дует порывисто. Ветру лю-у-бо!..
Льнёт, с грудями упругими ласков,
и холодит приоткрытые губы,
и раздувает поздний шансон
шалый муссон.

Крутятся времени плавные лопасти,
сеют мгновенные млечные радуги,
переплетают с таинственной ловкостью
зрелость печали и юную радость,
и, грешную нежность своей натуры
замаскировав леопардовым светом,
теснее сплетается мисс Футурум
в насквозь эротичной ламбаде с ветром.
А он, покидая её коварно,
устав провоцировать вёрткую талию,
снова вливается в русло бульвара,
где бредят витрины прекрасной Италией…

Там, в середине огромного вороха
белого шума и белого шороха,
влажного лепета изобилия –
люди уснули и автомобили,
и саксофона ночной клаксон
усугубляет сон.

ВЕСЕННИЙ ЮЖНЫЙ ВЕТЕР. НОЧЬ

Отодвинешь задвижку, уйдёшь на крыльцо,
в темноту, как в футляр из уютного фетра,
распрямишься, вздохнёшь, – и охватит лицо
неожиданной лаской прохладного ветра.

Он настоян на стеблях, пустившихся в рост,
он течёт из прорехи небесного меха…
Зацветают черешни, и пригоршни звёзд
наливаются светом на ветках ореха.

Наплывающий хмель, одинокая трель…
Это даже не ветер, а ночи дыханье,
это лепет садов, это новый апрель,
полусонное листьев и неба коханье.

И качается сумрака лёгкая зыбка,
и весна, примиряя со мной бытиё,
неоправданно щедро, за так, за улыбку
наполняет усталое сердце моё.

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

ДЕВУШКА С ПРИЧУДОЙ

МИХАЛЫЧ

Из машины Михалыч уверенным шагом пошёл в противоположную от местной газеты «Сенеж» сторону. Если бы Михалыч не был человеком, то он был бы, наверное, танком.

– Михалыч, – газета не там.

– Да ты чо?

Уговаривать Михалыча – дело пустое. И мы оказались сначала у цветочных палаток, где тоскующие цветочницы пристально изучили шкиперскую бородку Михалыча. А потом перешли дорогу, разделяющую городок Солнечногорск на две неравные половинки яблока.

В скверике – серебряный Ильич – излучал оптимизм. Михалыч в своей защитного цвета куртке с москитной сеткой, штанах и с безразмерной корзиной, куда, если постараться, вошёл бы весь город Солнечногорск вместе с тоскующими цветочницами.

Защитный цвет – это, видимо, чтобы грибы не заметили!

Мы потоптались у Ильича, как первые христиане у мощей Учителя. Потом Михалыч уверенно повернул оглобли обратно, крикнув:

– Ну я же сказал, что мы не туда идём. Это ты меня запутал!

Михалыч глуховат. Он не говорит, кричит. Когда за столом, да ещё с женой, они орут вместе. Она орёт, потому что он туг на ухо. Он орёт, потому что с Севера. На севере все орут, заглушая завывание вьюги.

Поиски кроссовок превращаются в драму. Двери стучат, супруги кричат, лает истошно соседский пёс Боцман.

Наконец после долгих и безнадежных плутаний газета «Сенеж» обнаружилась в кирпичной пристройке к пятиэтажке. В газете «Сенеж» у Михалыча интервью.

На крылечке курит печальная дева Брунгильда, вышедшая покурить из озера Сенеж. В тесной комнатульке с незамысловатыми, как штаны Михалыча, узорами бьются с жизненными обстоятельствами две фактурные бухгалтерши.

– Димы нет. Газеты у него. И вообще Дима в отпуске!

Но Михалыча просто так не сломаешь: сибиряк, на медведя ходил в рукопашную:

– Я – Блинов! У меня интервью в майском номере. Дима оставлял мне газеты.

Упасть и не встать: Блинов!

Это в Губкинском каждая хромая собака с облезлыми боками знает, кто такой Блинов! Каждый медведь в берлоге, разбуди его синей и вьюжной полярной ночью. Каждая куроптака или разведёнка в продуктовом магазине. А город Солнечногорск недалеко-то Москвы. Всяких навидался. Эка невидаль: Блинов!

Решено ждать Диму, который уже выехал из отпуска на автобусе и будет через двадцать минут.

От нечего делать мы переходим дорогу. Зебра, как полоски судьбы Михалыча. Мы – на светлой. У Михалыча скоро выйдет книга, сейчас приедет из отпуска Дима и даст газету с интервью. А потом Михалыч поедет за грибами.

Корзина величиной с Камаз, куда можно вместить даже озеро Сенеж с пляжем, санаторием художников и русалками.

Михалыч говорит, что меньше двух вёдер собирать не привык.

Судьба обламывает Михалыча, но он упорно идёт ей наперекор. Лихачит. Говорит, что сейчас возьму и обгоню вот ту машину, что впереди, не проснувшись. А Рима, жена его, говорит, ну да обгонишь, как в прошлый раз и тебе дадут по морде. – Кто даст? – кипятится Михалыч. – Да в прошлый раз тебе дали по морде. – Да ты что? Это я ему чуть не дал. А если бы он дал, то получил бы у меня.

Михалыч в молодости занимался боксом. На гвозде, на даче висят боксёрские перчатки, похожие на бордовый помидор – только что с грядки.

На улице жара. Мы возвращаемся в газету. На крылечке курит печальная Брунгильда.

– Нашли! – говорят бухгалтерши.

Михалыч счастливый, он листает газету. Интервью нет.

– Да ладно, Михалыч, бери, что дают! Всё равно ведь читать не умеешь! – я шучу, бухгалтерши, колеблясь всем телом, как саламандры, смеются!

Дима летит на звездолёте. Духота наступает на горло собственной песне.

Мы ждём Диму. Я иду за кофе на меньшую половинку Солнечногорска, которая обложила железнодорожные пути, как монгольское иго. Михалыч, поникнув головой, увязался за мной.

Он не привык сдаваться. Кофе растворимый в маленькой будке, где готовят шаурму и загорают грустные чебуреки. Жарко, как в сауне.

– Как же Вы тут живёте? – спрашиваю я Гульчатай.

– Мы выбегаем на улицу.

Летний день длинный, как бабл-гам, но газету всё же находят. Мы прощаемся.

Я с газетой в руке, где большой портрет Михалыча и где он гордо говорит о том, что литература никому не нужна, поднимаюсь на мост, потом спускаюсь, на ступенях сидит парень с расквашенной физиономией. Вот, допижонился, как Михалыч, у него, поди, тоже были претензии к миру.

На платформе железные поручни посередине. Это чтобы не унёс мелькающий, как пуля у виска, сапсан. Михалыча и без поручней не оторвёшь. Он врос в землю, сроднился с нею, что гриб!

Объявление из репродуктора: *Запрещено курить и валяться на диване!*

Ну это только тем, кто сдался малодушно, думаю я. Всем остальным, не всем, правда, но можно.

Вот Михалычу можно!

У него почти уже вышла книга. И напечатали интервью!

Но, однако, жарко и скоро будет гроза.

Если Михалычу позвонить, то он и грозу отведёт.

Михалыч написал десять томов книг в твёрдой обложке. Он знает – что и как!

Михалыч любит, когда его хвалят, а когда ругают – нет. Тогда он начинает кипеть, как чайник. И из-под его пышных, как у кота, усов, валит пар:

– Да ты прочти сначала!

– Михалыч, кто ж нынче читает-то?

Писатель – это разведчик. Он пишет не для себя и окружающих. А для очистки совести. Потому что иначе не умеет, не может.

Его заслали в тыл врага. И крутись, как хочешь.

И Михалыч пишет. А народ не читает. А он всё равно пишет.

Про север, буровиков, медведицу, которая плакать умеет, про своё голодное детство, когда картофельные очистки, словно деликатес, лупил. Только бы сердце выдюжило. Всё хорошо и надёжно у тех, кто с севера. Вот только сердце нашенской сборки нежное, по-детски вспыльчивое и рано изнашивается.

Правда, в Губкинском, говорят, особое. Огнеупорное и водостойкое. Но у Михалыча – пошаливает.

Поршни постукивают, и насос хрипит.

Видать, что-то такое не докрутили, когда гайкой наживляли.

Болезни на Михалыча наваливаются зимой, летом его берёт. А зимой он сидит и перечисляет болезни: сердце, подагра, сосуды…

Небольшое приложение к северу, военному детству, интернату, лепешкам из сныти, спирту и морозу 70 градусов.

Михалыч сидит, а за ним в алмазной снеговой пыли летит, очертя голову, страна, чудесная сказка про оленьи рога, в которых рождается солнце для всех людей.

И персонально – для него, Михалыча!

ДЕВУШКА С ПРИЧУДОЙ

Эта история произошла черт-те знает когда. В начале нулевых. Тогда я работал в журнале «Юность».

Работы никакой не было. И денег тоже.

Но зато были мечты.

Под вечер в «Юности» собиралась разношерстная публика: жуликоватые прозаики и поэты, авантюристы, авангардисты, сталинисты, стюардессы, греческие певцы, волоокие девицы с видами на жизнь, мрачные студенты Лита, буддистские монахи, бомжи, жены бандитов и прочая.

Все эти забавные люди приходили в «Юность», словно возвращаясь в своё прошлое.

В то время, когда они не были прозаиками и поэтами, авантюристами и авангардистами. И всё ещё было впереди, а не позади.

Однажды «Юность» пригласили в библиотеку Одинцова. В библиотеке были одни старушки и дородная девица с ласковыми, как у коровы, глазами по имени Оксана.

– Оксана, – сказали мы ей, чтобы хоть что-то сказать, когда сказать уже нечего, а прощаться рано, – приходите к нам в гости.

И Оксана в следующий вторник пришла в «Юность».

На улице бушевал ноябрь, рубль корчился, как эпилептик, а «Юность» не унывала.

«Юность» не унывала никогда.

Вокруг бурлила жизнь, воевали, устраивали путчи, а в «Юности» ничего не менялось. Всё было покрыто плесенью.

Ни войны, ни землетрясения «Юности» не касались. Авторы, какие-то замухрышистые полубомжи или миллионеры в безумными глазами или медведи с северов, приносили деньги в авоськах.

В «Юности» не знали ни кризисов, ни дефолтов. Главный редактор появлялся на работе часов около восьми вечера, а мог и не появиться и вовсе.

А потом, словно со дна озера, как налим, всплывал, звонил и я плавал в этом топком, карамельном веществе и не понимал, что происходит, где я и зачем?

Оксана работала на фабрике «Причуда». «Причуду» купили французы, по телевизору показывали рекламу о том, что печенье «Причуда» – это вкус советского детства.

Французские эмигранты русского происхождения или бандиты пытались вернуть вкус светскому детству, канувшему в Лету.

«Юность» в то время была тоже с причудой. Особенно, когда ты входил в маленькую железную дверь в стене на Тверской-Ямской, поднимался на пятый этаж.

В сизом от сигаретного оттенка полумраке площадки пятого этажа стоял тазик с окурками, большое кресло, баночки, вазочки с помидорами и фикусами. За дверью лаяли собаки. А в кресле сидела рыжая халда в шортах, на её голове разгорался пожар в джунглях.

Когда очередной посетитель, как альпинист, взбирался на пятый этаж, спотыкаясь о дополнительную полу-степеньку бывшего доходного дома на втором этаже, халда басом спрашивала:

– К Валерке?

Халда – была из Харькова, приехала в Москву и поселилась на Тверской. Занималась она всем и сразу.

Халда была бандершей Тверской управы.

Валерка категорически не совпадал со временем. Ему казалось, что время спешит, и он пытался обуздать время, всегда опаздывая.

Валерка был поэтом.

Поэтому иной раз не приходил и вовсе. Но писательский и поэтический, разного рода окололитературный сброд, собирался и терпеливо ждал Валерку.

Главная интрига очередного вторника состояла в том: придёт или не придёт Валерка?

Валерка всем был нужен. Он это прекрасно понимал. Потому не все и не всегда были нужны Валерке.

Такая вот Валеркозависимая странность. В жизни должно быть всё непоправимо и странно.

Кто-то мечтает накопить денег и купить майбах, а кто-то – дождаться Валерку.

«Юность» был таким абсолютно не литературным, язык не поворачивался назвать литературой то, что там печаталось, но довольно странным местом тусовки.

Особенно по части гостей.

Так вот.

Оксана пришла во вторник с добрыми глазами коровы из Одинцова. Оксана с фабрики «Причуда».

Оксана, естественно, принесла с собой три пачки «Причуды». И мы стали пить чай с «Причудой», погружаясь в детство с его дурацкими шуточками и приколами.

В детском саду печенье с молоком давали на полдник. С густой и жирной, как веки у Вия, пенкой!

Вкус детства!

После того, как Оксана многословно и заковыристо рассказала о том, что работа на фабрике «Причуда» не сахар и что бригадир Юрка пристаёт к ней, все как-то оживились.

Юрка сразу всем понравился своей прямотой. Особенно Валерке. Юрка был простым и честным, как печенье «Причуда». И если хотел, то и говорил, чего он хотел.

Мы слушали Оксану, ели невкусное печенье, сочувствовали Юрке, осуждая Оксану за чёрствость. Но Оксана шуток не понимала.

Оксана возмущалась и спрашивала: как же так?

А мы ей цитировали Чехова:

«В купе зять ей: „Но чего вы боитесь? Что в этом ужасного? Разве вас убудет от этого?“».

Оксана со всей серьёзностью и непосредственностью провинциальной наяды с коровьими глазами говорила: почему я должна ему уступить?

Потому, говорили мы, давясь невкусным вкусом советского детства, что тебе это всё равно, что высморкаться, а для Юрки – это жизненная необходимость.

Пойми! У Юрки жена беременная, он с ума сойдёт!

Но Оксана не хотела ничего понимать. Не понимал и Валерка.

И на следующий вторник, словно очередной аргумент в пользу того, что она Юрке ничего не должна, она привела с собой подругу. Подругу с фабрики «Причуда».

Подругу тоже звали Оксана.

Оксана была меленькая и пугливая. Бригадир Юрка приставал и к ней, не добившись ничего путного от первой Оксаны.

Но и маленькая Оксана ему отказывала во взаимности. Оксана любила Леонардо ди Каприо. А некрасивый и всегда пропитой Юрка из Подольска не был похож на Леонардо ди Каприо из фильма «Титаник».

Но мы спрашивали и вторую Оксану:

Ну что же ты, Оксана?

Маленькая Оксана хихикала, как мышь.

А мы ели невкусное печенье «Причуда», говорили о литературе, которая умерла, о Чехове и ждали Валерку.

Иногда Валерка приходил. А иногда и не приходил, борясь с минутными и часовыми стрелками.

Когда однажды Валерка пришёл и увидел ещё одну Оксану из «Причуды», он очень развеселился.

Как мало надо человеку для счастья, Бог ты мой!

Он пил чай, ел печенье, смеялся. И казалось, что жизнь наконец всем улыбнулась широкой голливудской белозубой улыбкой Леонардо ди Каприо из фильма «Титаник».

И так будет всегда: молодость, печенье «Причуда», «Юность», две Оксаны…

А в следующий вторник Оксаны привели с собой ещё один аргумент в пользу того, что Юрке уступать нельзя.

Аргумент звали тоже Оксаной.

Три Оксаны сидели за столом с самоваром и рукописями, как матрешки. Одна большая, вторая, которая хихикала, как мышь, поменьше. И наконец самая маленькая и толстая Оксана.

Три Оксаны в фирменных комбинезонах. Третья Оксана в комбинезоне напоминала воздушный шар в корзине.

Третья Оксана работала на фабрике «Причуда», казалось, с момента её основания. И тоже знала Юрку.

Но Юрку она послала давно туда, куда Юрка и так хорошо знал дорогу. Дорога столбовая и хорошо утоптанная.

А в «Юности» третья Оксана сидела и молчала.

Она молчала три вторника подряд, а потом мы наконец спросили её:

– Оксана, ну скажите же хоть что-нибудь?

Третья Оксана улыбнулась и ответила:

– Блин, вы тут все люди такие интеллигентные, о книжках, о литературе рассуждаете, а я последний раз читала книжку в школе. Блин, я работаю на фабрике «Причуда». Работа у нас такая, что простыми словами о ней не расскажешь. Только матом. Поэтому я и молчу всё время. Извиняйте!

Очень нас растрогала третья Оксана. Растрогала своей честностью. Но больше всех она растрогала меня. Так растрогала, что я взял свою книгу и подарил ей.

Третья Оксана попросила, чтобы я ей надписал книгу. И я надписал этой героической девушке мою книжульку…

…Умчалась «Юность» угорелой электричкой, Валерка, не дождавшись срока, улетел на небо, как Божья коровка.

Нет больше юности и «Юности», хотя тогда казалось, что этот цирк будет здесь всегда…

Но я очень хорошо помню надпись на моей книжке:

Оксане, девушке с причудой!

Мне кажется, что это – самая удачная дарственная надпись, которую я когда-либо придумывал.

И я до сих пор не понимаю, почему Оксана на меня обиделась?

РАССКАЗ ПРО ГЕНКУ БАГАЛУРОВА

Мой однокурсник по МГПИ имени Ленина Генка Балагуров обитает в Королёве.

Плавает Балагуров в этом космическом пространстве, как карась на колхозном рынке, тычась в мутные стенки аквариума.

Полуслепой Генка с линзами такого огромного калибра, что похож на муху под увеличительным стеклом.

За человека его никто всерьёз не принимает. Каждый норовит потыкать его носом, как котёнка в кучу, либо отмахнуться, либо газетой пристукнуть.

Муха ведь!

Тёмно-зелёные перископы его очков по вечерам смотрят из окошка, с первого этажа, оттуда, где земная твердь, словно прибитая к бетонному фундаменту соткой, свинцовой струей дождя: помойки и магазины.

Смотрит Генка – наверх, где небо должно быть, из глубины взывая. А небо над Королёвым черно, как копоть. Нет неба над Королёвым. Там, где небо было, потолок. Белый, как застиранный больничный халат у медсестры «Ухо, горло, нос» в поликлинике.

Королёв припаян к жизни, как борцы за светлое будущее к своему пьедесталу. Королёв зимой зол, словно студень с хреном.

Полуслепого Генку не берут на работу. Он – инвалид, а стало быть, как и всякий человеческий хлам, должен в полной мере ощутить, что такое – приживала из чеховской пьесы, какой-нибудь Телегин.

Сердобольная соседка по подъезду, баба Рая, однажды, увидев Генку, молчаливо бредущего домой с батоном хлеба в сетке, сказала:

– Таких, как ты, Гена, не должно быть в природе. А ежели ты всё же появился, то надо было придушить во младенчестве, чтобы сам не мучился и других не мучил.

И Генка вдруг всё понял. Он осознал своё одиночество, он яростно кусал батон, запивая его чаем и решил, что соседи тоже ведь люди, им тоже надо над кем-то возвышаться и не только этажами и социальным положением. Но курьером он устроился.

Генка колесил с разными бумагами по Подмосковью, бросая якорь в пустых гаванях с ржавыми судёнышками: дом культуры с колоннами, гостиница, рынок, рюмочная с непременной серой котлетой на витрине, Ленин с кепкой, станция, скамеечки и лопухи.

Он останавливался на ночлег в городах, забытых своей судьбой, в гостиницах, напоминающих пустой вагон. С кислым запахом вчерашней, словно щи, жизни.

Вечно сонные и дородные сфинксы, консьержки с огромными астраханскими арбузами под кофточкой, лениво глядя на полуслепого Балагурова, ото всей своей души, переполненной добродушием, презирали его.

Генка смотрел на них и думал, что вот были люди, а стали сфинксы. Египетские сфинксы, загорающие на гранитной набережной Питера. Гена в детстве, увидав сфинкса, испугался, словно, раздвинул завесу времени и угадал то существо, которое будет в гостиницах драть с него деньгу.

Этот омертвелый зрачок судьбы, его родина. Неподвижно, как царица египетская в пирамиде, консьержка загробного царства заворожила всё пространство вокруг: магазин «Продукты», дома, жующего булку пешехода, и небо – в алмазах.

– Плати! – сказала ему консьержка.

– За что?

– За проституток!

– Так я не заказывал!

– Мил человек, если бы ты заказывал, это обошлось бы тебе дороже…

Гена не мог, а всё одно платил. И как же не заплатить, раз просят?

За проституток!

Генка любил русскую литературу, а потому проституток жалел!

Поколесил, побегал с бумагами, но оказалось, что безработным дома сидеть – выгодней. Не надо на проституток доплачивать свои к командировочным!

Взялся было Гена за статьи. Но и тут его ожидало фиаско.

Он без устали боролся со стилем. Вернее со своей физической немощью, советскими = газетными штампами и ежедневным стыдом за свою слепоту перед людьми и консьержками. Перед всеми!

Как тут быть или не быть?!

Тут даже Гамлет в своём Эльсиноре удавился бы от безысходности!

Подкинул я было Гене парочку текстов, чтобы он их, выдавая за свои, продвигал в местный серый бумажный кораблик, качающийся, словно зыбка в тёмной избе, по волнам житейского моря. В газетку местную.

Но Гена испугался собственной наглости. Да как же? Да можно ли? Да что это?

Гена сказал, что редактор сразу всё поймет: это написал не он. И принялся изо всех сил ухудшать тексты. И даже немало преуспел в этом. Он устраивал инверсии, накручивал вихри деепричастных оборотов, укорачивал головы прилагательным.

И ему всё же удалось напечатать статью про удава, который задушил свою хозяйку по чистой случайности или от любви к искусству, я уже, если честно, не помню.

Я всегда подозревал, что, конечно, способен на многое. И даже на большее. Что недооцениваю себя. И даже очень. Но про удава я никогда не писал.

– Гена! – кричал я в трубку, рыдая от смеха и слёз, – не писал я про удава! Не мой удав-то. Я вообще всех этих гадов боюсь. Всех чохом! Удава тем более.

А Гена в ответ захрипел, захрюкал радостно:

– Удав – твой. А то чей же? – ведь никто в здравом рассудке ему бы удава не подкинул! За здорово живёшь, задарма – удава? Продать – продали бы, как девок в гостинице, а просто так – не в жизнь.

Ну мой, так мой, решил я. Жизнь человека, гуманитария тем более – терниста. Почему бы и нет? Чего не бывает? Удавы, крокодилы, сфинксы, люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы…

И я всё подкидывал Гене темы, которые могли бы заинтересовать старенького с болезненным, как у старой мокрицы, самомнением, ответсека газеты то ли «Провинциальный вестник», то ли «Правда Королёва».

Но и тут Гена умудрился зайти в гулкий и тёмный переулок, окончившийся тупиком.

Он кричал своим слабеющим с каждой спетой им нотой в партии отчаяния голосом, захлёбывался в хрюкающем смехе и рыдании. В его голосе смешались страх и трепет, одиночество и отчаяние:

– Не могу-у нарастить объём!

– А сколько у тебя, Гена! – спрашивал я у него, и мне почему-то казалось, что на том конце провода не человек Гена, а добрый крокодил из мультика про Чебурашку, которого никак не хотят принимать в пионеры.

– 1000 знаков! – Гена был готов на всё, и даже – рассмеялся бы, если бы умел.

Тысяча знаков! Ну конечно, когда человека ежедневно шпыняют за то, что он на свет родился, ни у кого не спросясь разрешения и справку из ЖЭКа, что он мозолит глаза своим нелепым видом, словно карась на рынке, тычась слепой мордой в стенки аквариума, то и 1000 знаков – проблема.

Видимо, жизнь решила его доконать не только полной слепотой, но и немотой, чтобы он вообще ничего не мог путного из себя выдавить. Кроме жалоб на свою горькую судьбу. И только по вечерам смотрел в небо вечно добрыми и наивными зелеными перископами, словно из глубин человеческого отчаяния, как говорится, взывая:

– Господи, за что?

Но нас не возьмёшь голыми руками. Генка!

Мы – филологи!

А потому только вперёд. И с песней.

Сегодня будем учиться наращивать объём.

Мы нарастим объём, даже если больше некуда и ничего.

Мы накачаем его насосом, как раньше цыгане накачивали худых кобыл.

Не дрейфь!

Мы нарастим.

Генка! Ты – ведь Балагуров!

А потому – держись!

ДМИТРИЙ БУРАГО

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

РЫЖИЙ

Солнце не торопилось закатываться. Расположились иноки за садовым столиком старенькой избёнки. В монастырь вернуться уже не представлялось возможным: там разместили какое-то военное оборудование, так как высота, по словам солдата с шевроном «Кролик», была «то, що треба». Слава Богу, один прихожанин тихонько предложил для обескураженной братии две комнаты с отдельным выходом на задний двор. В большей из них оборудовали походный престол. Уклад владыка не поменял. Только приняли иноки на себя по очереди сухой пост и ждали.

Тогда, при обыске, в потайном кармашке подрясника у Рыжего обнаружилась красная пасхальная ленточка. Били коротко, незлобно, но так, чтоб и тени сомнения не осталось: это конец. Вся ненависть к русским попам выплеснулась на чёрный узел, в который судорожные пальцы заталкивали голову. Рыжего бросили в багажник, облепив для верности скотчем, а остальных насельников сфотографировали и тут же вывесили в соцсетях на обозрение – вот они, наводчики, коллаборанты.

За дни трепетных молитв и горьких предчувствий Рыжего почти что похоронили. И тут – чудесное возвращение. Он буквально выпрыгнул из джипа, инстинктивно махнул рукой водителю, поклонился и замер. «Скажи спасибо своему знакомому, а то бы никакой Бог тебе не помог, у нас с такими строго, бывай!» – по-приятельски резюмировал солдатик, и, развернув машину, запылил восвояси.

Мокрые от слёз глаза владыки встретились с лёгкой улыбкой Рыжего, и в них мелькнуло недоумение.

– Владыко, лучше бы я там остался. Там, в подвале, Он всё время со мною был. В глаза смотрел, когда муть сознанье моё застилала – не оставлял. Вот как вас всех сейчас вижу, так и Его, только ясней. Он…

Казалось, сам мир затаил дыхание.

– Он же не меня жалел. Он боль мою принимал, зубы сжимал, Сам в слезах был. А мне-то как? На его мучения как смотреть? А они, глупенькие, смертью стращают. Молился о них, только чтоб Ему легче было. Выходит, что Он за нас не только тогда, Он и теперь всё это за нас принимает. И как после этого быть? Обратно хочу. Никогда так светло и просто не было, как там.

На следующий день монахи двинулись в путь, чтоб не упала тень на сердобольного прихожанина. А Рыжий время от времени оглядывался, приотставал, потом словно что-то припомнив, припускался догонять владыку.

АД

– Что ты меня адом пугаешь, что крестишься? Мы сами уже в аду: здесь фирменный ад, где лучше сыщешь? То жара, хоть броник стаскивай, то морозец, что твой голубой и маленький. Грязь, кровь, дурь, суки вокруг, а мне хорошо. Прижился, освоился с этой мерзостью. А дома я кто? В трамвае меня любой пассажир мог подвинуть. Толиком кликали, Толиком за столиком. А здесь я Зебр, и никакая падаль не посмеет подшутить. Здесь я сам решаю вопросы жизни и смерти. Разрядка всегда полная. И ты вот мучаешься. А сколько тебе отведу, столько и будешь мучиться. Никто не осудит. Умрёшь через час-два или вмиг? Какая разница. Ад, говорю, здесь. И смерти не страшно, если есть ещё другой ад, то как раз для нас, считай, что и не умирали тогда. А вот рай – другой разговор. В рай – пуще самых зверских пыток боюсь. Ну как я там глаза открою? Подниму их, а на меня Богородица смотрит. Вот тебе казнь так казнь! Я сам себя видеть не могу, презираю до корней волос, а тут Она на меня смотрит. Его не боюсь, Он тоже в аду побывал, когда предали Его и на Кресте замучили. С Ним объяснюсь, Он поймёт, а что Ей сказать, как просить за себя? Она же пожалеть может, сжалится – так я и гореть буду в этой жалости хуже, чем в любой геенне огненной! Не надо мне этого рая! В ад хочу, чтоб света в глазах не видеть, чтоб все такие же, а может, и хуже. Мог же тебя спасти, успел бы, но замешкался с этим пленным. А у него ничего особенного, как у всех: фотокарточки, дурь да чуток денег. Самое ценное в нас теперь не душа –

обмундирование, так у меня, поди, лучше, чем у него. А ты тем временем сник, сдрейфил. Теперь укол не поможет – себе оставлю. А ты умирай, умирай, недотёпа. Только никакого рая не нужно, запомни. А я пока с тобой посижу, провожу тебя.

ВАНЬКА

– Отец почти не носил орденов и колодок. Если уж и приходилось, то это была совершенная необходимость. Он говорил, что на войне любой солдат совершает подвиг, когда идёт в атаку, лезет на верную смерть и бежит к ней навстречу, потому что это против самой природы. Преодолел животный страх – уже герой, а ордена, медали – это всё потом и не всегда по делам-заслугам. Кто больше отличился: лейтенант (их называли Ваньками – Ванька, встань-ка!), который поднимает взвод из окопа, или снайпер, убивший двух вражеских офицеров? Где такие весы – со шкалой героизма? А средняя продолжительность жизни Ваньки на передовой десять дней. Героическая скоросмертность, обыденность солдатская. Этим и сейчас никого на фронте не удивишь. Шути не шути, а в атаку ходить приходится.

Александр улыбнулся, вспомнил о чём-то:

– А вот и второй сюжет! Отец рассказывал, что стояли долго, в землю врылись, а враг совсем близко, так что иной раз слышно, как немчура переговаривается в окопах. У отца музыкальное подразделение было в Уральском десятом гвардейском добровольческом корпусе, музыканты-добровольцы променяли оркестровые ямы на щели да блиндажи. В самодеятельных музыкальных номерах участвовали, для солдат играли на чём приходилось, а тут – аккордеон у немцев завёлся. Вечером тянет его какой-то Фриц, а Наум, с которым папа и записался добровольцем из своего оркестра, загорелся его добыть, сам же Наум – аккордеонист великолепный. Всё изучили, спланировали и поползли к немцам за аккордеоном втроём: мой отец Валентин – скрипач, Наум и Ваня Мозговой. На чём играл Ваня – не помню, может, и ни на чём, товарищами были. Там Ваня Мозговой и погиб, когда под огнём тащили добычу. Наум особенно убивался: его идея, он подбил, а товарищ вот так рассчитался. Но здесь история не оканчивается. Уже в девяностые на каком-то мероприятии познакомился с пожилым музыкантом. Я в то время гастрольные туры по всей стране организовывал. Слово за слово он тем самым Наумом оказался. И аккордеон у него до сих пор – тот, трофейный.

Александр прервался, не сумев сдержать слёзы.

– Понимаешь, аккордеон тот же, о котором папа рассказывал, а Наум его Ванькой назвал. Так мы весь вечер в обнимку и проговорили. Больше и не виделись.

СЕРКО

– Уходи, ну пожалуйста, уходи! Нет другого выхода, понимаешь? Ты же всегда хотел свободы, это я тебя неволила, а теперь вот её сколько – весь мир. Ты умный, ты сам должен всё понять. И не прощай меня, пожалуйста, не прощай, а то когда прощают – забывают. Это всё рано или поздно кончится, и я вернусь. И тебя обязательно найду, а пока – уходи, выкрутишься, найдёшь себе что-нибудь. А в квартире ты долго не выдержишь. Хоть ванну воды наберу и кормов на год вперёд, а не выдержишь. Лучше на улице, пока нет морозов, обвыкнешься. Может, кошку себе какую найдёшь, я же не согласилась тебя стерилизовать, как все советовали, вот намучались мы с тобой, а теперь…

В глаза Серко невозможно было смотреть. Он совершенно не понимал происходящего, дико озирался по сторонам и опять смотрел на свою хозяйку: «Что это? Почему? За что? Какие чужие острые запахи. Хватит всего этого, давай домой». Дверь в подъезд уже захлопнулась, и Людмила с укором смотрела на своего кота.

– Сейчас война, неужели не понимаешь? Я сама не знаю, что будет со мной. Но всё решено. Иди, кому говорят, опаздываю уже.

Людмила развернулась и быстрым шагом покатила за собой бордовый чемодан. Она рыдала почти в голос и не оборачивалась изо всех сил. Только раз, уже издалека взглянула на Серко. Кот, казалось, сделал движение ей вслед, но остановился посреди дороги, царственно сел, как умеет только он, и тоже заплакал, только тихо-тихо, как плачут брошенные игрушки.

ГУСЫНЯ

Гусыня оглядывает свою хозяйку. Чуть отвернув шею в сторону, как-то снизу, словно жалеючи.

– Что ты так смотришь? Зарежу тебя к воскресенью. Ты бы о себе подумала.

А гусыня выпрямила шею, подняла голову и чуть покачивает своим розовым клювом, в глаза хозяйке смотрит, будто что-то там выискивает. По всему её положению видно, что не о том хозяйка думает, не о том. Развернулась гусыня и пошла к своим, что гогочут на проезжающий по дорожке велосипед.

Загрустила хозяйка, задумалась: «Резать – не резать? А если не резать, то как она будет жить сама без семьи своей зимой? В курятнике, что ли?».

Улыбнулась гусыне:

– Или как я?

ДЯДЯ ВАНЯ

«Фантастика какая-то! – думал дядя Ваня, выглядывая из окна комнаты в тёмный город. – Электричество и воду включают лишь на пару часов, а никто не уезжает. Какие хорошие люди вокруг, но…».

Он обратил внимание, что на детской площадке было шевеление, но не разобрать, кто там. «Вряд ли дети. Хотя теперь всё может быть».

Дядя Ваня был совершенно спокоен. Даже когда горел неподалёку дом, он не позволил себе ни на минуту потерять контроль над сознанием. И, когда раздался этот звонок, он тоже выдержал. «Да, сын. Да, он отец. Да, смерть, одна из множества теперь его смерть, личная, нераздельная с Мишкой. Понятно, до похорон нужно было ещё дожить». А за окном продолжали покачиваться качели. Теперь всё продолжалось, как будто в новой серии, где главного героя играет другой актёр.

«Конечно, это ещё ты, но ненастоящий, невзаправдашний, как и всё теперь».

Думать эту мысль стало скучно, и дядя Ваня отошёл от окна, оглянул черноту, на ощупь обошёл стол, шифоньер, этажерку с пластинками, добрался до дивана и, укрывшись тёплым пуховым одеялом, закрыл глаза. Теперь только сон казался непризрачным, настоящим. Дядя Ваня представил своего племянника, которому когда-то вслух читал «Маленького принца»: Алёша сидит в грязном окопе и готовится выстрелить в Мишу. Долго, по-детски, старательно целится.

«Война когда-нибудь выдохнется, но зло останется, оно уже укоренилось в нас, как баобабы, большое, фантастическое зло, и не столько ненависть, на неё силы нужны, дерзость, а это вакуум в душе, пустошь такая, что и слов не выдумаешь. Никакой барашек уже не поможет. Даже если не Алёша, то всё равно один из них. Но и Миша взял оружие, значит, мог тоже убить Алёшу. Если убрать все реалии, то и подраться им было незачем, не то что убивать друг друга. Жили себе в параллельных мирах: Мишка в театр, Алёшка в кино, Мишка на футбол, Алёшка на бокс. Только на семейных праздниках и пересекались. А теперь во как!».

И не мог дядя Ваня нащупать зла на Алёшку. «Даже жалко его, дуралея, тоже, не ровён час, сгинет ни за что. А Мишки уже нет». Это фантастическое **нет** перекрывало все накатившиеся невзгоды и при этом было нереально, как тёмный город, сводки с фронта, настороженные соседи. Наконец сон помиловал дядю Ваню. И всё стало как прежде: светло и понятно. За раскосыми шторами солнечное утро, Мишка доедает яичницу, звонит Алёшка, дядя Ваня снисходительно улыбается и, задев блюдце, опрокидывает чашку, она медленно переворачивается, выплёскивая кофе на стол, и начинает падение, но замирает сразу за скатертью, как на стоп-кадре, только кофейная гуща медленными шлепками падает на пол, а дядя Ваня никак не может поймать, спасти эту чашку и беспомощно смотрит на расползающееся по кафелю пятно.

ФОЛЬКЛОР

– Какая глупость этот фольклор. И зачем из-за этого секонд-хенда мучиться. Профессор совсем сдурел, требовал ещё и цитировать на зачёте. А я ему рэпом по башке, чтобы отстал. А он мне в ответ: «Реп этот поизотрётся со временем, отшлифуется и тоже станет фольклором, если повезёт». Он утверждает, что только фольклор выживает. А я ему: «Так Гомер же сохранился?». А он мне: «Фольклор – ваш Гомер». А я ему: «А Шекспир?». А он: «Тоже фольклор, значительно поистёршийся уже. Вот вы его не читали, а о Ромео и Джульетте мне хоть сейчас перескажете. Чистейшей воды фольклор». «А может быть, тогда и вы фольклор?» – вырвалось у меня, нахамил малость. Думал, выдворит до пересдачи. А он так чуть ли не грустно. И смотрит как-то пристально: «К сожалению, у меня слишком мало оснований стать частью фольклора. Своё уже протранжирил, а у вас это время есть. Так что дерзайте». Сумасшедший какой-то, ещё и зачёт поставил. Вот и мы с тобой, брат, в этом окопе фольклором станем, обязательно станем, если повезёт. Прав был профессор, что цитировать заставлял.

НАТАЛЬЯ СТЕРКИНА

ТРОЛЛЕЙБУС ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

СУХОЙ БУКЕТ

Этого человека я уже однажды видела – он стоял на приставной лестнице и прибивал доску. В парке было безлюдно, тихо. Стук молотка напомнил детство, дачу.

– Вы голубятник?

Что-то я слишком громко. Смутилась.

– А чего? Птичек любишь?

– Да я так. Из любопытства.

– Ну, иди, иди своей дорогой, любопытная.

А потом были страшные летние грозы, и мы с матерью занавешивали окна одеялами, чтобы пугаться сверкания молний.

И вот октябрь, и я снова в парке. А на аллейке возле голубятни появился маленький блошиный рынок. Чего только люди не выносят! Вот веер, ещё вполне приличный, запонки, забавные, кстати. Какой толстяк колоритный! И скатерть вязаную так эффектно держит на растянутых руках. А вот… Ну да, тот самый, голубятник в резиновых сапогах. А предлагает он сухие букеты! Лицо у него, оказывается, совсем не старое, а как-то по-старинному красивое.

– А зачем вы их?

– А-а, любопытная. Так всё просто. Тебе вот розы дарят иногда?

– Иногда.

– И они же не всегда осыпаются, да? Засыхают. Стареют красиво. Да?

– Ну да. Мне ещё учитель рисования указывал на красоту засохших лепестков. Я много раз зарисовывала все эти изгибы-извивы.

– Ну, вот. Значит, понимаешь. А если розы никто не дарит, значит, не будет вот этого.

Фу, суёт под самый нос.

– Красоты. Воспоминаний не будет.

Чудной, не знает, что ли – чужие воспоминания не приживаются. Розы, в конце концов, можно самой себе купить и засушить.

– А мне продадите?

– Тебе так отдам. Для магии.

– Это ещё что такое?

– Сны будут навевать. Особенные. А то ты в яви-то скучаешь частенько. Так ведь, любопытная?

Вспомнила! Видела однажды, как кто-то выпустил голубей. Взмыли вверх, как пушистый шар, разделились, покружились над крышей голубятни и исчезли. Он и выпустил, конечно.

Что мы тут обсуждаем? Нелепый разговор. Но принесу домой историю.

– Бери-бери да иди. Ко мне вон покупательница спешит.

Ну, взяла. Ну, пошла. Но любопытно же, какая. Вот это да! Как из сна явилась – высокая, статная, волосы белые, высоко заколотые и чёрный бантик. И ведь покупает, правда!

Нужно опять завести привычку сохранять сухие букеты. Есть, есть в этом обаятельная магия, приятная сентиментальность, добрые отношения со временем. Ну, и к голубятне стану наведываться. Из любопытства.

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Толпа внесла в вагон. Пропихнула к дверям. Припёрла. Не пошевелиться. Перед носом огромный рюкзак, слева – сумка, справа – коляска.

Поезд дёрнулся и понёсся, а двери за спиной вдруг начали медленно раздвигаться. Пахнуло холодом, плащ сзади вздулся пузырём. Схватилась рукой за рюкзак, и чуть сдвинулась вперед за ним. А ветер все тянул и тянул назад. Ухватившись за рюкзак покрепче, вылетела из подъехавшего к перрону поезда. А плащ остался – его защемили затворяющиеся задние двери.

Молодой человек, поставив рюкзак на скамейку, что-то перебирал в карманах. Остановилась рядом, дрожа, вцепившись в ремешок сумки.

Поймав взгляд, спросил – что?

– Холодно. Сквозняки.

– Что-то случилось?

– Случилось. Но вы не поверите.

– Происшествие, которого никто не заметил. Инфернальный ветерок. Ну, раз вы коснулись меня, значит, и меня коснулось… Давайте-ка вылезем на солнышко.

Послушно пошла следом.

– Меня чуть не унесло!

– Ну, это вряд ли. Тут рядом есть неплохой «Секонд». Зайдём. А то простудитесь. Плащ-то будете искать среди забытых вещей?

Шутит? Шутит!

Купила тёплый шарф, завернулась. Надо бы попрощаться и идти, но как-то всё ещё колотит, страшновато.

– Мне показалось – у вас в рюкзаке что-то шевелится.

– Да, там сидит некто.

И там, значит, некто…

– Ну, спасибо вам за поддержку… Я пойду.

Они стояли под аркой серого дома, солнце слепило, но было прохладно.

– У меня там свин. Декоративный. Красивый. Воспитанный и очень умный.

С облегчением засмеялась и всё никак не могла остановиться, повторяя: «Свин! Свин!».

– Простите, наверное, реакция.

Повернулась, пошла.

– Подождите. Я же вам верю. Со мной вот тоже однажды было: вошёл на « Третьяковке» в вагон, не обратил внимания, что все вышли, а он как понесётся. Вагоны эти, змеёй, я один. До тупика долетел и обратно. Наверное, меня обнаружили. Понять ничего не успел, вышел на ватных ногах.

Утешает? Сочувствует? Веселит.

– Ну всё-таки давайте уж познакомимся. У меня тоже день такой… Вот надо было Петрика забрать. Подруга передумала. Собирались вместе жить, свина дрессировать. А она вот передумала…

Растерялась. Неожиданно. Зачем подробности чужой личной жизни? Но имя назвала.

И он назвал.

И опять сделала попытку уйти, но вспомнила холодок этот неприятный, и опять о чём-то спросила.

А потом попросила свина показать.

– Ну не здесь же. Я рядом живу. Пойдёмте чай пить. С сушками.

Вот, напросилась… Зачем? Неловко.

На лавочке у подъезда пожилая пара, оба в тёмных очках. Сидят неподвижно. У неё на руках маленькая собачка.

Он прошёл мимо, не поздоровавшись. Удивилась – вроде, доброжелательный такой, не ладит с ними, что ли.

– Они не настоящие.

– Кто?

Просто опешила! Застыла у лифта.

– Да-да. Ненастоящие. Хотите прикоснуться?

– Опять шутите? А вы-то настоящий? Теперь ничему не удивлюсь.

Подступили слёзы.

Пропустил её вперед, нажал пятый этаж.

К её удивлению, не открыл дверь ключом, а позвонил. Дверь отворилась, но в прихожей никого не оказалось. На кухне звякнули чашки.

Поёжилась. Хотела размотать шарф, но передумала. Как он сказал? Инфернальный холодок?

– Здесь не опасно.

Из рюкзака выскочил свин с колокольчиком на шее, милый, персикового цвета и, стуча копытцами, убежал вглубь квартиры.

Прошли на кухню. Чашки на столе. Сушки. Кто всё это поставил? Постаралась незаметно прикоснуться к чайнику. Горячий.

– Заинтригованы? Это ничего. Не всему же на свете должно находиться объяснение.

– Нет, ну что вы демонстрируете? Какой урок мне преподаёте? Зачем? Тоже мне сказка « Аленький цветочек».

– Шутка. Разыграл. Это соседи мои, конечно. Сестра моя дверь открыла. Я ей смс написал. Не заметили? Теперь всё в порядке? Грызите сушки.

– Вкусные… А про девушку и дрессировки правда?

– Неважно.

– Значит, никакой мистики…

– Жалко?

– Ну, как-то так… Да, сушки вкусные.

– С собой дам. А шарф вам идёт.

– Сохраню на память о приключении. Где, интересно, сейчас мой плащ? А вообще-то неважно.

Проводил до автобуса. На метро не решилась.

Окна горят – все дома. Пожалуй, не стоит рассказывать. Пусть будет тайна. А всё-таки, он просто стал успокаивать, придумав эти реальные скучные объяснения – смс, соседи… Нет, не так всё. Знаю, нас обоих коснулось…

ПОБЕГ С УЛИЦЫ ЛУРЬЕ

Проснулся от боли в ноге. Точнее, в пятке. Ну, если ничего не болит, пусть болит хоть что-то.

Оказывается, ночь кончилась. У меня. А она спит? Наверное. Накричалась, нарыдалась. Подольше бы. Как проснётся – вернутся горечь, досада, а с ними – надежда.

Вчера, когда ждал её, наблюдал за птицей. Птица ходила туда-сюда по крыше, от одной пальмы к другой. Интервал тридцать секунд. Ей некуда спешить. Мне тоже. Я уже приехал. Это по счёту уже день второй нашей совместной жизни. Позади – первое объятие, радость, волнение. Уже наступила обыденность. Я должен работать дома, она – в офисе. Потом встречаться, обедать… И так далее.

Мы так стремились к встрече – столько преград спалили своим желанием! И вот, оказывается, пока я смотрел на птицу, а она косилась на меня, завершился десятилетний этап моей жизни. Кончилось помешательство на этой женщине. До возвращения домой я вёл себя обычно. Валялись на песке, пили вино, смотрели на закат. А потом… Потом я сообщил, что уезжаю. Да, уезжаю. Круг пройден, я не смогу быть с ней.

Как она удивилась… Да, именно, сначала просто очень удивилась.

Покалывание в пятке странным образом помогает сосредоточиться и всё точно вспомнить.

Потом сказала… Ну, банальности, конечно, что я спятил, перегрелся, переутомился. Но я твердил своё и запихивал вещи в рюкзак.

Точно ли я не хочу вернуться к ней? Ей даже и прощать не понадобится, ведь у неё есть надежда и иллюзия понимания. Не хочу. Может быть, дело в квартире? Она тоже так подумала и всё кричала, я сменю её, сменю. Нет, квартира очень понравилась. Особенно садик, где мы сидели в первый вечер в удобных креслах и курили. Нет, отвечал я, не в квартире. В чём? В чём? Она захлёбывалась от крика. Вот говорят же – выходить из себя. Она именно выходила, выскакивала. Её так корежило… Честное слово, я видел, как каталось по полу, билось об стены что-то полупрозрачное, почти бесплотное. И одновременно я наблюдал за ней, лежащей на диване, в ярком платье, специально для меня купленном, в неудобной позе, с раскрытым перекошенным ртом.

Когда-то давно, рассматривая в музее картину «Бойня», вполуха слушал экскурсовода: выяснилось, что художника заворожили изумрудные глаза страдающего животного, насыщенный, густой цвет крови. Меня тогда слово «заворожили» покоробило. А теперь я сам был заворожён страшным, безобразным и, да, очень колоритным зрелищем.

Но это я сейчас могу сравнивать, анализировать, а в тот момент просто чувствовал душевную щекотку, зуд, напряжение нервов. Азарт.

Вообще, страшновато как-то. Не знал за собой такого. Вот и пятка прошла. Не на что отвлечься.

Жалко её? Жалко до мути, до спазмов. Вот она кричала про сглаз, про морок. Что же со мной случилось? Помню, всё твердил – хочу, чтобы мне стало легче! Что значили эти глупые слова? Тяжело-то мне не было…

А вот сейчас… Сейчас всплывает, выкарабкивается на берег сознания нечто очень тревожное: я стою в дверях, смотрю на неё, лежащую на полу, измученную рыданиями, и кто-то касается моего плеча. Оглянулся – увидел, как к окну двинулась прозрачная фигура. Я наблюдал, как, нервно оглядываясь, взмахивая руками, она убегала по крыше соседнего дома.

О, понятно – это моя душа сбежала от неё! Я видел.

И поэтому-то напоследок погладил её по волосам, прося прощения. Легко, бездумно.

Но стоп! Не ошибаюсь ли я?

А её-то душа куда делась? Как металась – помню, как об стены билась… А потом?

Чёрт, даже в пот бросило.

Не сбежала ли она от невозможности терпеть меня? А тогда… А тогда что же получается? Моя рванулась на поиски, вслед за ней? И взгляды кидала победные – вот тебе, вот тебе, получай! Затеял, ишь, побег с улицы Лурье, как же…

И что это вползает в окно клочком тумана? Тень птицы. А, посланница той, что выявила только-только наметившееся, самому ещё неясное. Или внушила?

А ну, пошла вон, инфернальное нечто!

ПРОТИВОГАЗ И ФАРТУК

Сначала подумал – муляж.

Пригляделся – живые. Руки выдают – кожа, форма кисти, длина пальцев.

Странное контрастное сочетание: противогаз и фартук. Впрочем, понятно. На каждой скамейке – по фигуре. Наивный рисунок на ткани и хищные окуляры, уродливый хобот.

Прислонился к парапету, хлебнул.

Взывают. Меня вызывают?

Пусто на набережной, даже собачники ещё спят. Фартуки в пол скрывают и женские ножки в балетках, и мужские в кроссовках. Тут уж безгендерно.

Ещё глоточек, что ж. Сон – то был страшноватый: разрезанный пополам живот, в прорехе – белые зубы. Пытался стянуть, соединить половинки, скрепить… Но всё расползалось под пальцами.

Сидят, не шелохнутся. Где-то подобное видел. И не во сне.

Выпьем и глянем. Во, в музее заснято. Мелкая пластика, 2-1 вв. до н.э. Глаза – лепёшки с дыркой, нос – коротенький хобот. Так рисуют инопланетян.

Это же надо, сколько веков мир цивилизовывался, цивилизовывался и вновь всё та же хтонь.

Сидят, смотрят сквозь свои круглые стекла, и я смотрю на них. А что я могу-то?

Кто придумал противогаз? Знал – не знал – забыл.

И, через глоток, опять к телефону-информатору. Интересно – «очковый узел». Нравится, как звучит. А придумал ещё в девятнадцатом американец, в двадцатом – в Первую мировую – наш, Зеленский, усовершенствовал. Спасибо, крошка viki.

Ну, вот и будильник. 6. И первый бегун с собакой.

Пора будить сестрицу-красавицу, сумасбродку-авторку. Вот, копала-копала и раскопала историю наших предков, живших в 1924-1934 в Зиновьевске, ныне Кропивницком, когда-то Елизаветграде, до недавнего – Кировограде. Поехала что-то уточнить. И приехала… Еле выбралась. И принеслась, прибежала, родная, на ручки к брату. Кормлю, пою, баюкаю. Вот приду, по щеке поглажу, из темноты с закрытыми глазами на солнечную террасу выведу, аккуратно, всё так аккуратненько. Спит урывками, всё кошмары, кошмары.

Ну, по последней и…

О, свистят. Мне свистят. Что это за писульку сунули?

Пусть вызовут дроны. Сфотографируют. Пусть осветят в прессе.

Нужен резонанс.

Я вызову. Я сообщу. Я возвещу.

Разжимаю кулак – пусто. Улетел лепесток на запад. Здесь – восток. И стою я возле палисадничка с чахлой пальмой. Камни, камни, камни…

Это я, я хотел застыть в молчаливом протесте на набережной возле серой воды. Это я должен был…

Оглянись, друг, ты ж не в Питере. И сестрица твоя похоронена где-то кем-то.

Ну, с прибытием. Фляжка пуста. Смятая постель, задёрнутые шторы. Спать, спать…

Но что это птицы опять разорались?

Хочу в Питер, хочу в Питер…

А я здесь живу, а я здесь живу…

Ой, заткнитесь, заткнитесь. Ну, заткнитесь же!

НА БАЛАТОНЕ

– Твоя любовь родится сегодня. И сегодня же умрёт.

Я плачу, плачу – всё сбылось! Наваждение исчезло и мне его не вернуть, никто не станет подкидывать меня на руках, чтобы дух захватывало, никто не подразнит необъяснимым. Цыганка шепнула на ухо и пошла себе, метя длинной юбкой. Цыганка с колдовскими глазами.

Всё началось вчера. Паника набросилась и лишила здравого смысла, когда я вернулась из галереи, – на моём номере табличка 456 вместо 457! Топталась, не решаясь вставить ключ. Из игровой выскочили дети в масках – два зайца и отвратительная обезьяна, начали носиться по коридору, обезьяна коснулась меня, я отбежала к чужой двери, на которой был мой номер. Детей призвала к порядку крупная девица в шортах. Аниматор. Я стояла и прислушивалась. Тихо.

В конце коридора показалась горничная. Кинулась к ней, стала что-то сбивчиво объяснять, она спокойно поменяла таблички, усмехнулась и загрузилась со своей тележкой в лифт. Что-то в этом коридоре таилось опасное. Кто и зачем подшутил надо мной? Открывала дверь и тряслась, да, номер мой, всё то же, только я – другая…

На галерею наткнулась случайно. Бродила по улицам, увидела афишку. Дверь отворена, вошла и сразу встретилась взглядом с цыганкой в зелёном платье. Портрет был так хорош, что, мельком осмотрев ещё три картины, перебрав безделушки на полке, вернулась к нему.

– Нравится? Золтан Ж. 1963 год. Не продаётся.

Хозяин появился неожиданно. Познакомились, разговорились. Архитектор, переехал из Будапешта на Балатон. Галерея – хобби.

– У вас мне очень нравится. И эта цыганка…

– Да, хороша хозяйка! Приходите…

И вот после завтрака вышла на пляж, вчерашнее приключение стёрлось сном. Свежо, весело. Ярмарка на озере – зонтики цветные, носки, миски, пучки трав. И тут она подкатилась… И вчерашний страх вернулся. О чём это она? Шутка? Опять шутка! Цыганские штучки.

Он стоял на крыльце, как будто ждал, отступил – с яркого солнца в полумрак – я за ним. Нет, не так – какое-то время пребывала в центре раскачивающейся призмы, прозрачной, пронизанной лучами, а потом уже оказалась перед портретом.

Вращаюсь вокруг своей оси, а давно забытая, изжитая, выплаканная, выруганная, выблеванная в истериках боль обрушивается на меня. Слезами заливаюсь, тянусь к нему – не дотягиваюсь. Почему так нужно, необходимо коснуться его руки? Тянусь, не дотягиваюсь. Падает со стола банка, разбивается, синие цветы рассыпаются по полу.

Он поднял меня.

– Перегрелись? Балатоновское солнце коварное, особенно, если ветер.

И вот лежу. Шторы задёрнуты. Там, над озером, солнце в дымке. И всё кончено. Просто вот раз – и кончено! И ещё, и ещё возвращаюсь назад – таблички, маски. Цыганка… Цыганка!

ТРОЛЛЕЙБУС ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Рюкзаки, чемоданы, сумки… На остановке столпотворение. В чём дело? Троллейбус будет через семь минут, может, пешком? Вот, уже подходит. Затолкали в салон, задние всё напирают. Как бы выбраться? Духота, суета. Но нет – пихают и пихают в спину, заставляя всё дальше отходить от двери. Вдруг всё стихло. Кто-то потянул за руку, плюхнулась на сиденье. Оказалось, что всем хватило места. Странно, конечно. Рядом оказалась женщина с клеткой. Маленький разноцветный петух спокойно клевал зёрна из деревянной резной кормушки. С бокового сидения неожиданно поднялся седовласый загорелый мужчина.

– Извините, вздремнул. Переутомление. Итак, перекличка.

Кажется, это заказной троллейбус, все знают, куда они едут. Надо дождаться остановки и выйти.

– Ваш номер называют, что же вы?

Соседка доброжелательна улыбается.

– Но у меня нет никакого номера. Я по ошибке села не в тот…

– Подождите, а О-786? Где О-786?

– Это не я. Получается, что я бесплатно, зайцем. Но я сейчас выйду.

Пассажиры гудели – странно, тест прошла, всё оплатила и не пришла. А эта откуда взялась, за просто так едет?

Седой, видимо, главный, заставил всех замолчать.

– Теперь это всё равно – одно место зарезервировано. Пол женский. Гендерное равновесие не нарушено. Если мы её выкинем, не будет кворума.

– Как это «выкинете»? Я сама выйду. Я же сказала.

– Вы себя слышите? Выйдет она! Все, кто на ПМЖ, едут без остановок.

Хотела опять возразить, но махнула рукой. Троллейбус нёсся уже по шоссе, поля, поля, поля, редко-редко домики.

А как же провода, думала она вяло, непонятно, непонятно. На неё, как и на всех в салоне, навалился сон. С трудом поднялась со своего места, подошла к кабине водителя.

– Я…

В кабине сидел робот.

Кто-то положил ей руку на плечо.

Седовласый печально улыбался.

– Не повторяйте, что вы случайно.

– Да, знаю. Не бывает ничего случайного. Но всё же скажу. Я, понимаете, хотела на распродажу элитного женского белья. Всего-то две остановки. Могла бы пешком… Значит, не могла.

Седовласый пожал плечами.

– Ну, мне только любопытно, почему не пришла та, ну, номер О-786. И какая она? Очень, очень интересно! Хотя абсолютно бесполезно…

ЕЛЕНА КОРО
ОКСАНА ДЕНИСОВА

САНО ЧАРА[1]

Малая ль ты птица, моя древняя родина?
Греки считали их варварами,
называли людьми гор – таврами, а их землю – Таврикой.
Но это было древнее племя индоариев.
Из вибраций далёких времён мы попытались
услышать первое имя нашей земли.

О.Д:
Кто миру даёт имена?
Коро:
Духи!
О.Д:
Как они рождают слова?
Коро:
Звуки
извлекают Жрецы из света, камня, тени, листвы, рассвета…
О.Д:
Слышишь там вдалеке
Бубен?
Коро:
Начинают, спешим!
О.Д:
Будем!

Коро:
Ликами горлиц
трактом в текст
россыпь сурьмяных сутр
Сурья Чара оки утр
бирюзой рос в ризах
образа ликов гор
лиц горних птиц
Сано Чара, оглянись
огневиц рдеет мысль
в рутах сутр сурья
говори со мной
горним говором гор
лиц немь меной
на разговор ок
сурьмой рос
сумеречья птиц
пророчьих лиц.

О.Д:
Ты сквозь воду ковшом зачерпни вина,
лозы – арфы и в каждой жива струна.
Горло в небо прольёт закипевший звук,
и по кругу – не размыкая рук.
То ли танец, то ли земля плывёт,
В бубен-сердце кровь предков бьёт,
а запутавшийся в ресницах взгляд,
смотрит пристально, только в себя, назад.

Из клубка наречий, молитв, имён:
– Сано Чара! – из глубины времён.
Тот алтарь не бывает пуст –
Дэви Сурья – из мёртвых уст.

Коро:
Сано Чара перекрестьем рук
ты ведёшь тех, кто входит в круг.
Дэви Чара – сквозит зовом скво
сто сот троп птичьих скал
скол сутр медом медь уст
Заратустр Дэви Сурья
сурьмой мист
истри искр зрищ
Сано Чара! Сердца жар
в благодар.
Ококрылые птицы текут речью
течь вам единой стаей, окрыляя
уста светозаров сутр
Сано Чара!
Малая ты птица, древняя моя родина!
Совет птиц и гор навек договор:
Светозар в свете чар да блюдет мир маяком скал!
Междоусобицы междометий да уйдут навеки из речи!

О.Д:
Сколько над морем птичьих скал!
И лишь на одной
ПЕРО,
что помнит имя Её.

[1] सानो चरा *(непальский)* – малая птица.

ПЕСНЬ СТЕПНОГО ЗАЙЦА
(диалог поэтов)

Не пытайся покинуть внутреннюю Калмыкию

Е.К.
Заяц-Ветер степи
Прядёт ли седой ковыль
Черная женщина ночь?
Или прячет уши свои Туула[1]
Северный ветер, развевая
Косы её седые, прядёт лунные сны
Словно степной ковыль.
Чёрная женщина слышит
Песню степного ветра
Дуй Туула – Калмыкии!

Звенят колокольцы степи
Тамтам Полярной звезды
На пути Туула
Заяц бежит по степи ли,
Ветер ли свет звезды
Шаманов севера
Песней степного зайца?
Слышишь тамтамы в песни ветра?
Заяц бьёт в барабаны духа,
Пора нам петь его песнь,
Чёрная женщина, Калмыкия.

О.Д.
Ветер-Заяц степи и
ковыль на холмах его
пух. Туула! – крикнула
выпь и затаилась в слух.
Заползает туман-дремота,
тишина тяжела висит…
Туула! – горько и одиноко, а
он жёлтый глаз косит.

Е.К.
Камыш принишк, не шелохнёт
мышь, выпь не в высь кысь, в топь
змеей, знай, зай, за ум заумь,
за инь июнь, за-юн баюн,
за речь, за звук,
зай-прыгун,
знай крылышкуй уш
за ковыльем, Туула,есть
земля людей зай.

Выпита топь болот,
Бирюзу озёрных зеркал
жёлтый глаз отразит,
петлями тайных троп
свистом Туула, рассеян
туман
зарит заревой зарью
Огнит серебро росы,

Полощет чёрная женщина
косы свои в алеющей
бирюзе
Туула! – Заяц-Ветер
свистит
Сагу сайгакам степи.
О, Калмыкия сердца моего!

О.Д.
Калмыкия: холмы и я.
Калмыкия: к Алмы? И я!
Калмыкия: Хал мыкая,..
Калмыкия: каймы к ия
Калмыкия: Каль, мы и я.

---

[1] Туула – по-калмыцки – заяц, по-фински – ветер.

Комментарий к «Песни степного зайца» с точки зрения квантовой лингвистики

Елена Коро:
Песнь степного зайца с точки зрения бинарности Туула: заяц (по-калмыцки) vs ветер (по-фински) восходит к мифу о зайце, принесшему с луны человечеству весть о бессмертии. Парадокс зайца заключается в том, что ни одно движущееся существо не обгонит друг друга: ни Ахиллес черепаху, ни заяц улитку с точки зрения движения самой Земли относительно движения других планет Солнечной системы. Крупный метеорит, мгновенно рассекающий атмосферу Земли, каким бы огромным он ни был по отношению к Земле, утрачивает автономную скорость, и становится частью общей системы движущихся тел Земли, и скорость его становится равной скорости самой Земли относительно скорости движения других тел вне планеты Земля.
Туула! Таков парадокс Зайца-Ветра!

Оксана Денисова по принципу дополнительности:
В древней и устойчивой системе степи Ветер – переменная, описывающая её состояния и разрушающая всё, что угрожает устойчивости системы.
В её координатах Заяц – начало движения. Питаемый травой, то есть Степью, он жертва, приносимая для жизни системы: начало движения и его бессмертие.
Поэтому ТУУЛА – ветер и заяц на разных языках.

АНДРЕЙ ИВОНИН

БЕЛЫЕ ЛОДКИ НА ЧЁРНОЙ ВОДЕ

ГЕОМЕТРИЯ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА

Пол. Потолок. Четыре стены.
Геометрия замкнутого пространства
без надежды на выход. Чувство вины
за то, что не сбылось, за постоянство
памяти долгой как жизнь. Любой
скажет, впрочем, что всё это блажь, пустое.
Сублимация сна в совершенно конкретную боль.
Но даже она терпима и вряд ли стоит
твоего внимания, заострённого на
узкой полоске света на вертикали
задёрнутых штор, ведь только она одна
и имеет какой-то смысл. Да и то, едва ли.

МОРЕ

В том городе,
провинциальном, южном,
ничем не примечательном на первый взгляд,
до умопомрачения пахло розами.
Они росли всюду:
в небольших скверах, под окнами домов,
на многочисленных клумбах –
розовые, белые, алые.
Был полдень, и деревья почти не давали тени.
Поливальная машина ехала по центральному проспекту,
оставляя после себя совершенно зеркальную поверхность
влажного асфальта.
Продавщица в ситцевом халатике
продавала квас из большой жёлтой бочки.
Загорелые девушки, попадавшиеся на встречу,
приветливо улыбались.
Голуби деловито сновали туда-сюда по тротуару
и сосредоточенно клевали кем-то заботливо рассыпанное пшено.
В городском парке, на площадке для аттракционов,
играла негромкая музыка.
Небо, на горизонте почти прозрачное,
ближе к зениту более насыщенное,
поражало своей глубиной.
А солнце светило так ярко,
отражаясь от стен аккуратных домиков,
выкрашенных ослепительно белой краской,
что, поднимаясь вверх по оживлённой,
наполненной праздно гуляющими людьми улице,
казалось, вот ещё чуть-чуть
и покажется море.

СИАНУКВИЛЬ

Лачуги из фанеры,
кафе и казино.
Считают деньги кхмеры,
Баранги[1] пьют вино.

Варяги, голодранцы –
сомнительный народ.
Поэты, самозванцы
и всякий прочий сброд.

Смешные доходяги.
С законом все на «ты».
Бездельники, бродяги,
философы, шуты.

Весь день на Очителе[2]
тусуется толпа.
Без денег и без цели
гуляет шантрапа.

В отелях постояльцы
за рюмочкой сидят.
Богатые китайцы
скупают всё подряд.

Момент, и дело в шляпе.
Махнём без лишних слов.
Ну что, идём в «Блэк Папи»[3]?
Встречаемся у «львов»[4]?

Измерено шагами
всё вдоль и поперёк.
Жара. А под ногами
скрипит, поёт песок.

---

[1] Баранг – европеец, белый человек в Камбодже.
[2] Очитель – пляж в Синуквиле.
[3] «Блэк Папи» – бар в Сианукви ле.
[4] Львы – известная скульптура на одном из перекрёстков Сианукви ля.

РЫЦАРЬ

Стоя перед зеркалом, надеваю доспехи:
кольчугу, наплечники, поножи, железный панцирь.
Беру щит и копьё,
чтобы суметь защититься от ударов судьбы,
от отравленных стрел, косых взглядов.
Выходя из парадных дверей, опускаю забрало.
Вот я и неуязвим.
Где-то там, глубоко, под грудой металла
еле слышно бьётся сердце.

ГУГЛ

Вот всё, что так, увы, знакомо –
проекция пустого дома,
где я сижу, забившись в угол.
Поговори со мною, Гугл.

Пусть я внимания не стою,
поговори хоть ты со мною,
поскольку рядом, право слово,
нет собеседника иного.

Поскольку, как замыслил Бог,
мир угловат, жесток и строг,
а вовсе не пушист и кругл –
поговори со мною, Гугл.

***

Летят со скоростью мгновенной
часы и дни.
В холодной, сумрачной Вселенной
мы не одни.

Среди покровов ночи чёрной
и немоты
кромешной пропасти бездонной
есть я и ты.

Кто не лукавил пред богами,
тот будет свят.
Ты видишь – ангелы за нами
с небес глядят.

Мир удивителен и странен.
Зажжём свечу.
Возьмёмся за руки и встанем
плечо к плечу.

И прозвучат благие вести.
Отступит мрак.
Отныне и всегда мы вместе.
Да будет так!

ОХРИДСКОЕ ОЗЕРО

Белые лодки на чёрной воде.
Столики под навесом.
Как называется это дерево
на македонском? – *Бреза*.[1]

Ночь. Разговор. Бутылка вина
выпита наполовину.
Озеро рядом – не видно дна,
как и в глазах у Павлины.

И продолжает медленно течь
слово от края до края.
Общее слово, славянская речь.
Разбираш ли ме? [2]– Понимаю.

---

[1] Бреза – берёза *(македонский).*
[2] «Разбираш ли ме?» – «Понимаешь меня?» *(македонский).*

***

Все девушки похожи
на музыкальные инструменты.
Вот эта на скрипку,
та на флейту,
а эта на пастуший рожок.

***

Девушка спрашивает: « А ты, правда, поэт?».
«Да» – «А прочти что-нибудь!» – «Ладно».
Читаю: рондо, канцона, сонет…
Слушает. «Надо же» – говорит – «Складно!».

«Складно?» – Улыбаюсь. День выходной
тянется, и у поэта
на душе весна, а за стеной –
осень? Зима? Лето?

ВЕРЛИБР

Голые слова,
неприкрытые
ни размером, ни рифмой,
словно
Адам и Ева
в раю.

БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

1.

Бог уже никуда не торопится – всё, шабаш!
Не звонит корешам ни в минада, ни в райотдел.
Он лежит на диване и дремлет под «Отче наш».
Он сто лет, как на пенсии, и давно отошёл от дел.

В его доме содом, и сквозит изо всех щелей.
А за печкой возня мышей, пересвист сверчков.
Он давно не следит, что там деется у людей.
Да и разве увидишь чего-нибудь без очков.

Бог вздыхает, вставая с дивана, идёт, кряхтит –
Беспокоят одышка, давление и артроз.
Он на кухне клеит модель Вселенной 1:5,
Напевая «Царю небесный…» себе под нос.

2.

Бог играет в шахматы сам с собой.
Сам себе объявляет: «Шах и мат!».
Негодует, злится, трясёт бородой.
С енохианского переходит на мат.
Багровеет, из-за стола с трудом
поднимается, трёт виски.
Переворачивает мир вверх дном,
фигуры сбрасывая с доски.

3.

Бог сидит у камина, кутаясь в плед,
в старом свитере и в трико.
Читает новости из газет.
Пьёт с мёдом тёплое молоко.

Считает, сколько осталось дней
до пенсии. Произносит: «Итить твою мать!».
Встаёт, закрывает окно плотней,
выключает свет и ложится спать.

***

Вкус осени горек,
как дым от сжигаемых листьев,
как горечь внезапной утраты,
как запах полыни.
Бездомные птицы
снуют в остывающем небе,
навеки прощаясь
с насиженным счастьем,
с оскоминой лета,
с любовью.

Подняв воротник,
наблюдая за самосожженьем
природы,
сквозь призму тумана,
сквозь ржавую сеть листопада,
вдоль мёртвых аллей,
по вороху воспоминаний,
по высохшим листьям
идти,
про себя повторяя:

вкус осени горек…

ЯН КУНТУР

ИЗ СОТ ЦВЕТУЩИХ ЛИП

ИЗ ДИККЕНСА

Застывший на воде корабль,
везущий пестрых эмигрантов,
которых ненасытный краб
не расчленил. От транспарантов
бессмысленных (когда они –
лишь только совести очистка
без самосохраненья, – нимб
для новомученика списка
расстрельного) плывут-бегут
в Австралию они и дальше,
надеясь: волны – изумруд
и бриллиант подарят, краше
которых нет. Ведь нет примет
их прошлых жизней и мытарствий
в той неизвестности, где свет
так сед, где воздуха лекарство
латает душ лохмотья, где
ты по-другому видишь, слышишь,
и понимаешь жизни текст,
где розы прут до самой крыши.

***

Есть добрые люди на свете,
спасут, не потребовав мзды,
от чистого сердца. И ветер,
и самый порывистый ветер,
играющий в пар или в дым,
склонится болотною птицей.
Пускай же трещат, как горох,
они в калебасах, крупицей
спасая гоморрцев от блох
вулканских, селитровых, серных.
Они – как внезапный подвох
всем тем, разбивающим меры
для личного кайфа. Мой вздох
продлён через них; я – химера –
создание их из кривых
нелепых фрагментов в Шумерах,
святых, архаичных, чудных.

***

Зимней омелы
не видно в коронах.
Зелень царит, прикрывая изъян,
и выпускает путём проторённым
лозных акаций лиловый фонтан.
Гроздья каскада латают ограды
и отдают новый цвет, новый ритм,
новые вкусы блудному чаду.
Пламя зелёное жарко горит,
не обжигая, сжигает, лишь пепел
в тучи швыряя, как жертвенный дым.
Он оседает на ватманы сепией,
предохраняя иных от беды.

***

Голубь пляшет,
как испанский гранд,
на жабо (вернее – зоб) надеясь.
Утро не излечивает ран,
лишь стрелу пускает мимо цели,
лишь сдирает старые бинты,
как в бреду – израненная жертва.
А в кустах то дятлы, то коты
обнародуют свои прожекты,
утверждая право на эфир,
звукоизвлеченье и пристрастье.
Время травы косит на гарнир
некой звёздной тёлке, безучастной,
но весьма прожорливой, её
охраняет золотистый овод.
Голубь-гранд без устали снуёт,
страстью и инстинктами закован.

***

Махровой лаской затылок гладит
и отправляет на четыре стороны…
И нету больше никакого сладу
с руками и ногами; но больным
не будет он, не станет, не изволит,
не сдастся на дорогах окружных;
лишь плоть свою, как грядку переполет
и станет новой почвой для весны,
которая когда-нибудь пробьётся,
когда его уже не будет… Пусть…
У каждого – свой срок, и ни на йоту
его не изменить. Небесный руст –
без малой щёлки – перуанской кладкой –
изволит сыпать водяную пыль.
Любителя жестокого порядка
ранжир еловый он не позабыл.

***

Не вино, так, может, кофе,
может, кофе мне поможет.
Мнутся песенные строфы,
и мотив их рёбра гложет.
Степь так широка, и вьётся
чёрный ворон, как идея
надоевшая, в колодце
отражаясь то и дело.

Прибалтийский мой амиго,
в чистом янтаре застывший,
пусть пески раскроют книгу
для тебя и явят тыщи
уникальных артефактов.
Только ты прочесть их сможешь.

Не найти мне лотофагов,
может, кофе мне поможет.

***

Цикорий снова смотрит на меня
так искренно, восторженно, влюблённо.
Жду каждый год его. Готов с пелёнок
тот взгляд как откровение принять.

А память – то ли скрежет, то ли скрип –
сечёт стекло души своим корундом.

Смягчает боль, но только на секунду,
мёд воздуха из сот цветущих лип.

***

Где когда-то шумели леса,
нынче только лишь полупустыни.
По Декану блуждают глаза
синекожего бога, и стынет
на Кайласе пустынник настырный…
Ну а здесь тройка венгров взахлёб
вспоминает любимых артистов –
дождь фамилий стучится о лоб
старых парковых широколистов.
Их кора отстаёт от стволов
от того пыла-жара беседы:
всяк имеет богатый улов
и готов им делиться с соседом.
Ветерок разбивает жару,
будто взгляд синекожего бога…
Передышка, ещё один круг –
до вершины, осталось немного.

***

Рыжий конский хвост на бунчуке.
Кони сыты. Бог Сульдэ сраженью
рад. Куманы – где-то вдалеке,
бросивши предателей. Вторжение
началось. На стенах Буды ждут
чуда потерявшие беспечность
венгры. Как плотину смявший пруд,
заливают степь монголы. Печень
гордеца терзает жадный кречет
где-то рядом с Шайо. Как же так –
бывшие красою и грозою,
отхватив ни славы, но позора,
тьмою тьмущею накрыты… Так бардак
в головах приводит к катастрофе.
Началось. На стенах Буды ждут
чуда потерявшие беспечность
венгры, и на несколько минут
раскрывается над ними вечность.

СТАНСЫ

Под Шашхедь-горою
мышью полевою
я не норы рою,
а нутро харонье.

Прыгают вороны
на горячих тронах –
серым эскадроном
по стезе наклонной.

Сердце зноя кокон
захватил. В глубоком
обмороке строгий
шорник домостроя.

В шкуре Будапешта,
в зелени кромешной,
шествуют поспешно
всех оттенков пешки.

Пешки-пешеходы
кочевой породы –
в перьях новомодных
и в пушинках-кодах.

Коды идентичность
выдают с поличным,
дно берлог столичных
и замашки птичьи.

Под Шашхедь-горою
мышью полевою
я не норы рою,
а нутро харонье.

РОМАН СМИРНОВ

КАЧЕЛИ ВМЕСТО КАРУСЕЛИ

***

Нездешним эхом жизнь встревожена
и тронута, как за плечо,
но как была она прохожая,
так и осталась ни при чём.

Что ей извне прикосновение?
Она лишь форма, аватар.
Затем и ловится сна веянье
в расставленные невода,

чтобы оно тебе напомнило,
зачем страдаем и живём,
а после полностью наполнило
ему назначенный объём.

***

второй апрель похищен
для тех, кто любит счёт,
а девочка всё ищет,
а мальчик всё идёт.

в умах палата пищи.
свобода зуб неймёт.
а девочка всё ищёт,
а мальчик всё идёт.

весна пробила днище,
не выдержав литот,
а девочка не ищёт,
а мальчик не придёт.

***

Куда бы тебя ни закинуло,
и где бы ни вывело из,
отеческой кашляешь глиною,
и слушаешь лёгочный свист,
и дышишь новинкой-свободою,
до этого спятивший от
того, как любовью народною
забили и уши и рот,

но вместе с бедой или около
ходило и ходит в любой
сезон это небо и облако,
вернее, твоё над тобой.

***

Полгода-полгода, как символ,
который к одежде пришит.
На карте сгорает спасибо.
Наверное, надо спешить.

С долгами, делами, словами,
и с теми, кого так давно
в макушку мы не целовали,
не брали на мульты в кино,

и к тем, кто как будто не помнит,
но ждёт дни за днями звонка,
в простой геометрии комнат,
подобием маятника,

и к тем, кто нас ниже и выше,
кто свечкам стихать не даёт…
Я тоже на улицу вышел.
Там снег будьздоровый идёт.

***

когда захочется домой
я стану проще
как между датами прямой
короткий прочерк
как незакрытое окно
в начале ночи
как непрощённое одно
простивший отче
как боли хочется найти
другую вместо
я буду по полю идти
в святое место
и где-то в дальнем уголке
сердечной суммы
родство признаю в угольке
сгоревшим всуе.

***

Нет, ничего: слегка простыл,
снега идут, дела не тянут
суставы, сердце и бразды,
а ум не вытек от питья, но
что толку с этого ума
и рук, привязанных к движенью.
Зима над городом, тюрьма
за городом, и тир с мишенью.

Не говори, мол, всё тщета,
пройдёт, забудется, во благо.
Нет ничего. Одна черта,
и замерзающая влага.

***

Даже если даровано сверх,
по незримым спускается хордам,
это время касается всех,
мимоходом.
Забирается в быт бытия,
искажает лицо и повадки,
Это я, говорит, это я,
наклонилось над детской кроваткой,
и пою на своём языке,
и жалею, другого не зная,
спи спокойно, Иезекииль,
а пока что побуду без сна я.

***

Лене Скачко

Вчера был страшный ливень. Началось
с поскрипыванья высохших деревьев.
Раскачиваньем справа и налево
продолжилось. Стемнело. Полилось.

Бадьи, кастрюли, впадины… Вода
мгновенно всё заполнила до верха,
и переливом, словно чья-то веха,
ушла в земные подвиги труда.

О том, что это было в день Ильин
подумалось сегодня ближе к полдню,
что душу с самых утренников полнит,
необъяснимый чем очищен сплин.

Назавтра обещали облака,
где одному другого быть белее,
чтоб проплывать над нами еле-еле,
и радоваться, что издалека.

***

Нудить ещё раз не слабо
абракадабру октября.
Любовь рифмуется с Ли Бо;
вокруг полно того добра.

А если вышел до шести
с конторы в эту красоту,
домой не хочется идти.
Я тоже быстро не пойду.

Листочек жёлтый как банан,
летает ближе к пустоте.
Я вспомню песенку-банал,
и клип великий ДДТ.

Рвануть бы с места, как дурак…
Зажмуриться. Считать до ста.
Нет зависти, Джек Керуак –
тоска…

***

Прощай, дворовый постмодерн,
дельфины, вкопанные в землю,
ракеты в рост, привет, Жюль Верн,
качели вместо карусели,

белья сушилка и турник,
песочница, береза, лавка,
изрезанная, как дневник –
Петро, Наташка, Тёмыч, Славка…

Я вспоминаю утром звук
молочника с его товаром,
где шёл с бидоном чей-то внук,
а следом кандидат наук,
и дядя Вася с перегаром…

Я вспоминаю этажи
опасного подъезда рядом:
там собирались типажи,
там участковый на девятом.

Я много помню, но прошу
понять, как прошлые обиды.
Прощай, прости, что я пишу
сорокалетний и небритый.

***

Когда меня не будет, ты придёшь
туда, где я когда-то был с тобою.
Там старый стол и стул, окно, и дождь
за тем окном, там звёзды на обоях.

Когда меня не станет, стает снег –
последние подарок и услуга,
а всё что ты почувствуешь во сне,
окажется тяжёлой правдой в руку.

Однажды время вылечит само.
Вернёшься ты в наш домик в междуречье.
Откроешь дверь, и выпадет письмо,
и я уйду – теперь уже навечно.

«ОКОЕМ»

Для нашего журнала уже стало доброй традицией раз в год публиковать рассказы лауреатов премии «ДІАС», учреждённой в честь выдающегося философа и писателя Диаса Назиховича Валеева. Конкурс продолжает набирать обороты: в этом году поступило 163 заявки от авторов из 11 стран, в том числе зарубежные страны (Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Израиль и т.д.) – 12, Россия – 146, не указали страну и населённый пункт – 5 участников.

1 июля 2023 года жюри традиционно подвело итоги. При этом некоторые члены судейской коллегии огласили имена своих фаворитов, удостоившихся специальных призов.

В декабрьском номере журнала «Южное Сияние», являющегося постоянным информационным партнёром конкурса «ДІАС», публикуются три работы, вошедшие в личный топ-13 нашего постоянного автора и члена жюри Елены Севрюгиной. Это рассказ Эдди Крока «Где-то на Крайнем Севере» – немного мистический, немного философский и основанный на древней мифологии, трогательная история Елены Пальвановой «Гадкий чертёнок», из которой мы узнаём о том, что даже зло способно перейти на сторону добра, и описанная Еленой Южаковой судьба старого дома, наделённого человеческой душой. Рассказ так и называется – «Душа моя».

Знакомьтесь с нашей рубрикой и помните: в мире нет ничего важнее любви, доброты и сострадания.

Желаем всем приятного прочтения!

—

ЭДДИ КРОК

Нижний Новгород

ГДЕ-ТО НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
рассказ

Решил старый, больной Танат умереть. Послал младшего сына за шаманом Нилгыкином. Пришёл шаман Нилгыкин с бубном, поплясал вокруг яранги. Накормили его вяленой олениной и дали моржового жира.

– Зачем помирать собрался, старый Танат?

– Пора мне в путь к Полярной звезде. Покажи туда дорогу, Нилгыкин.

– Знаю, что жил ты правильно: помогал людям, совесть хранил, с огненной водой не дружил. Услужу тебе.

Велел шаман сыновьям Таната прощаться с ним и уйти подальше на четыре ночи. Окурил ярангу можжевельником и положил старика головой к Северу. На скудной чукотской земле не растёт можжевельник, он его у южного шамана Омнотамота на настойку из мухоморов выменял.

– Ты умрёшь, но будешь меня слышать. Ничего не бойся, слушай меня. Не каждый может проскользнуть в Верхний мир. Остерегайся дыма – в него не входи, но и не убегай.

Танат добро посмотрел на Нилгыкина, белого шамана добра. Глупые чукчи верят, что чёрный шаман Нувкин сильнее. Он даёт почти всё, что они просят: приворот, колдовские зелья, транс и внушение. От этого чукча становится ещё глупей, платит ему отрезанным куском своей души. Шаман Нилгыкин помогал только добрым людям: не заманивал, не приносил жертвы, а призывал к труду и совести. «Трудитесь много, помогайте друг другу, живите честно. А придёт время и перед Великими Духами я за вас заступлюсь», – говорил он.

Пора.

– Стукну раз – вдох, стукну два – выдох.

Восемнадцать раз стукнул Нилгыкин. Таната последний выдох. Девятнадцатого нет – ушёл.

Таната больше нет, есть только Он. И Он знал, что лучше сразу дотянуться до Неё. Если не получится, потом будет труднее. Вот она, великая нора к Ней, к Полярной звезде.

Длинна нора, но Он летел силой Духа Севера навстречу с Великим Светом.

Шаман Нилгыкин яростно бил в бубен ярар, который превратился в мегалоцероса. Они неистово неслись за горизонт Наружной Вселенной, откуда приходят олени и ещё дальше.

– Не думай, сын Ворона и Матери Моржихи. Отгоняй мысли.

Увидел Он Великий чистый Свет и постиг его. Но шаман Нилгыкин не оставлял его:

– Мало постигнуть Свет, прими его. Ты это Свет. Свет это Ты.

– Как же я могу быть Светом? Я это Свет? Или Свет это Я?

Свет стал тускнеть. Нилгыкин сильно забил в бубен, разгоняя дым. Мегалоцерос стал обычным оленем.

– Увидишь дым – уходи от него прочь. Ты Свет! Прими его! Ты и есть Полярная звезда! Стань ей!

Великое было рядом. Не сумел Он, бывший Танатом, поймать Его. Мысли – дым. Помешали.

– Смотри на Себя. Вот Твоё тело, но оно – не Ты. Пойми это и найди Себя. Теперь Ты, как Ворон, но не Ворон. Лети на Свет.

Старается Он, но понимает, что не хватает хвороста для Великого пламени, способного выкинуть Его вверх.

– Что я сделал неправильного в этой жизни?

Снова появился дым. Бежит Он от него, как учил шаман Нилгыкин. Но дыма стало больше. Впереди забрезжил свет. Туда Он несётся.

Впереди большая фигура Человека-Оленя. Убоялся сначала Он. Но Нилгыкин кричит: «Не бойся! Кого увидишь – говори со всеми. Полюби и смотри на них, как в зеркало».

– Кто ты, Человек-Олень?

– Я Твоя совесть. Посмотри на меня – что Тебе мешает?

– Очень тяжелы твои рога.

– А кто на рогах у Тебя?

– Стыдно мне, Человек-Олень. На твоих рогах моя дочь Тыгрынкэ. Я её бросил больную и ушёл на охоту. Она умерла.

Сбросил Человек-Олень свои рога вместе с мёртвой Тыгрынкэ. Превратилась та в куропатку и упорхнула ввысь, навстречу лучу, а Он пошёл дальше на следующий свет вдали.

Впереди фигура Человека-Моржа на солёном морском валуне. Убоялся сначала Он. И опять кричит Нилгыкин: «Не бойся! Говори с ним. Полюби и смотри на него, как в зеркало».

– Кто ты, Человек-Морж?

– Я Твоя совесть. Посмотри на меня – что Тебе мешает?

– Очень тяжёлый ты и на камне давишь самого себя.

– Посмотри, а может, Ты давишь Себя?

– Стыдно мне, Человек-Морж. На тебе сидит охотник Твыткульын. Хотел я ему долг отдать, но не отдал.

– Плюхнулся Человек-Морж с большого камня вниз, в солёную воду, а Твыткульын, оттолкнувшись от его спины, стрелой вылетел за морской горизонт. А Он пошёл дальше на следующий свет вдали.

Долго так блуждал Он по тундре. Разговаривал с Человеком-Медведем, с Женщиной-Росомахой, Девочкой-Евражкой и даже со Стариком-Мухомором. Каждый скидывал с Него тяжесть, которую Он нёс из законченной жизни. Нилгыкин что-то подсказывал, но в дыму было плохо слышно.

«Наверное, когда Я сброшу весь груз, то смогу полететь к Полярной звезде», – подумал Он. Но дым повалил совсем густой, и Нилгыкин наконец докричался: «Чем больше Ты уверен, тем больше дыма. Спокойно наблюдай и всё само придёт. Мысли – это дым».

И дошёл до Него смысл увиденного и услышанного. Возлюбил он Человека-Оленя, Человека-Моржа, Человека-Медведя, Женщину-Росомаху, Девочку-Евражку и даже Старика-Мухомора, как самого Себя. Ведь это и был Он, который враз принял всю мудрость Великого Света. Дым рассеялся, и Он увидел Путь.

– Иди туда! Туда!

За Его спиной из звёздной пыли выстилался путь к Полярной звезде. Фиолетово-серебристое сияние Нового Бытия вселяло восторженное стремление его постигать, великое счастье открытия и, одновременно, страх потери всего, что имел раньше. Лучи безграничной Свободы ослепляли, манили и требовали Великой Платы… Не сдюжил Танат туда смотреть, отвернулся и… Он сделал выбор…

***

Лёгкий ветерок принёс с океана зов сотен моржей. Чукчи пойдут на охоту. Сопки под солнцем постепенно теряют суровый нрав старухи-зимы и молодятся.

Шаман Нилгыкин стоял на коленях и в трансе вращал головой, мыча что-то из старых чукотских молитв. Бубен валялся рядом. Три дня он камлал рядом с телом Таната. На четвёртый огонь в яранге потух. Сыновья усопшего вывели обессиленного шамана наружу. Он вырвался и жестами показал, что в помощи не нуждается. Пьяной, шатающейся походкой он побрёл к крайней яранге стойбища и протиснулся сквозь входные шкуры. Молнией в его уши вонзился первый крик новорождённого.

– Вынесите его на снег. Ему больше не надо дыма.

ЕЛЕНА ПАЛЬВАНОВА

Москва

ГАДКИЙ ЧЕРТЁНОК
рассказ

Чёрт, стуча копытцами, промчался по преисподней. Пока он бежал, его три раза толкнули, дважды дёрнули за хвост и ещё пять раз подставили ему подножку. Подзатыльники он не считал.

Выскочив из-под земли, чёртик первым делом пихнул карапуза на детской площадке, подставил подножку спешившей куда-то старушке с пакетом мандаринов и походя дёрнул за хвост пробегавшего мимо кота. Карапуз заревел, барахтаясь в снегу, старушка рассыпала мандарины, а кот выгнул спину и зашипел. Чёрт довольно потёр руки. Хорошо, что у них в аду учатся на собственном опыте. Иначе он бы не представлял себе, что делать на земле. А так-всё понятно.

Это был ещё маленький чертёнок. Ничего толком не умел и был на побегушках у старших чертей, но надеялся получить повышение, чтобы его уважали и боялись. Вот тогда он всем покажет…

Однако сейчас времени не оставалось: пора было браться за работу. Он нырнул в ближайший подъезд и юркнул в первую попавшуюся квартиру. Там была в разгаре ссора: жена осыпала мужа упрёками, а тот огрызался, не отрываясь от телевизора. Достав мешок, чертёнок стал складывать туда все обзывательства и колкости.

Весь день он бегал по домам и, если где-нибудь ссорились, сразу раскрывал мешок. Туда летело всё: угрозы и проклятия, издёвки и насмешки, ругательства и оскорбления. К вечеру мешок был набит до отказа, а чёрт валился с ног от усталости.

Выбравшись на улицу, чёртик развязал мешок, запустил в него руки и ойкнул, напоровшись на острую, как битое стекло, насмешку. Чёрт сунул пострадавший палец в рот. «Какой я молодец, – зализывая ранку, думал он. – Вон сколько всего насобирал! Может, мне за это награду дадут. Или хотя бы разрешат поджарить какого-нибудь грешника. Ну я его…».

Замечтавшись, чёртик поднял глаза к небу и вдруг заметил ангела. Тот летел, взмахивая крыльями. Его белоснежное одеяние развевалось, а над золотыми кудрями сверкал нимб. В руках ангел бережно держал что-то небольшое и светящееся. Чертёнок зло оскалился и сузил глаза. Он ненавидел ангелов! Летают тут такие красивые, чистенькие, важные. Аж противно! Чёрт набрал побольше воздуха и проорал что-то обидное. Но ангел его даже не услышал. Тогда чертёнок вытащил из мешка первое попавшееся проклятье и метко запустил в ангела. Снаряд попал в цель. Ангел вскрикнул, схватился за крыло и выронил свою ношу. Она упала вниз, прямо к ногам чёрта. Недолго думая, тот схватил её и юркнул в подворотню, где ангел не мог его видеть.

Выждав пару минут и убедившись, что погони нет, чертёнок принялся разглядывать добычу. Повертев её в руках, он догадался, что это чья-то Просьба. Просьба была совсем лёгкой, мягкой и тёплой. От неё веяло чем-то приятным. Кажется, это запах надежды. А ещё Просьба светилась. Такой Просьбой удобно освещать дорогу в кромешной тьме преисподней. Греться об неё, если холодно. Подкладывать под голову, как подушку. И просто смотреть на неё, когда грустно. Чертёнок крепко прижал Просьбу к себе и пробормотал: «Моя. Не отдам». Тут он вспомнил, что время поджимает. Сунул Просьбу под мышку и, подхватив мешок, провалился сквозь землю.

Бес, заведующий пунктом приёма брани, был большим, толстым и длиннорогим. Когда чертёнок, пыхтя, втащил в кабинет мешок и вывалил все оскорбления и проклятия, бес обнажил клыки.

– Явился! На целых две минуты опоздал!

– Зато я столько насобирал… – залепетал чёртик. – Может, мне за это…

– Поджарить бы тебя за это! Иди отсюда!

Чёртик, подгоняемый острыми рогами разъярённого беса, пулей вылетел из кабинета и поспешил восвояси. Найдя укромный уголок, он забился туда, вытащил Просьбу и, прижавшись к ней щекой, заснул.

А в это время два ангела стояли в больничной палате и смотрели на супружескую пару. Женщина, сгорбившись, сидела на стуле у постели, на которой лежал мужчина. Он казался таким бледным, что напоминал восковую фигуру.

– Нигде нет. Просьба исчезла, – убито проговорил один из ангелов, с повисшим крылом.

– Надо, чтобы она послала Просьбу ещё раз. Тогда мы отнесём её, и всё будет хорошо…

– Она не пошлёт, – вздохнул раненый ангел. – Она потеряла надежду.

Второй ангел скользнул к женщине, обнял её своими крыльями, зашептал что-то на ухо. Но та даже не пошевелилась.

– Ты прав, – наконец промолвил он. – Иди, тебе надо отдохнуть. Я с ними побуду.

Раненый ангел с трудом поднялся в воздух и на одном крыле вылетел в окно.

Чертёнок проснулся. Что-то жгло ему щёку. Он с изумлением обнаружил, что его Просьба стала твёрдой и горячей, полыхала и слепила глаза. Чёртик понял: она превратилась в исступлённую Мольбу. Испугавшись, что сейчас кто-нибудь заметит свет, чёрт поспешил выбраться из ада. Мольба обжигала ладони, и чёртик выпустил её из рук. Мольба упала. Чёрт чувствовал себя обманутым. «Раз ты так, то и валяйся тут», – буркнул он и пошёл прочь, но, сделав пару шагов, зачем-то обернулся. Мольба сиротливо лежала на земле. Её запах изменился: теперь от неё веяло не надеждой, а отчаянием. Чертёнку стало не по себе.

«Не надо так на меня смотреть, – сердито зашипел он. – Скоро какой-нибудь ангел тебя подберёт».

Он задрал голову. В небе, тяжело взмахивая одним крылом, и правда летел ангел. Сейчас он спустится и унесёт эту вредную, кусачую Мольбу. Чёрт затаил дыхание: в первый раз он увидит ангела так близко! Но ангел не снижался. Он был погружён в свои невесёлые раздумья и вообще не смотрел вниз. «Стой!» – закричал ему чёрт. Но ангел опять его не услышал. Тогда чёртик схватил Мольбу и побежал за ангелом. «Стой, подожди!» – надрывался он, но тщетно. Ангел поднимался всё выше и вскоре пропал из вида.

Чёртик понятия не имел, что делать с Мольбой. Угораздило же его с ней связаться… Он нерешительно посмотрел вверх. Где там эти Небеса? Может, получится добросить?

Чёрт подкинул Мольбу. Она взлетела и шлёпнулась обратно. Чёртик поднатужился и подбросил её ещё раз. Мольба опять упала. «Надо забраться повыше», – решил чёрт. Он огляделся. Совсем рядом стояла украшенная ель, такая высоченная, что звезда на её верхушке терялась среди небесных звёздочек. Собравшись с духом, чертёнок взял Мольбу в зубы и начал карабкаться по толстому стволу. Лезть оказалось сложно: руки коченели от холода, копытца соскальзывали, не находя опоры, а ёлочные иголки больно кололись. Звезда на верхушке светилась, вселяя в него суеверный ужас, а земля внизу казалась пугающе далёкой.

Наконец Чёртик добрался до самой звезды. Отсюда она уже не выглядела такой страшной. Стараясь не смотреть вниз, чертёнок изо всех сил метнул Мольбу в небо. Как маленькая комета, та взмыла в воздух. Она удалялась, постепенно становясь всё меньше. Чёртик зачарованно следил за ней.

И вдруг Мольба начала увеличиваться: она снова падала. Изловчившись, чертёнок поймал Мольбу, но не удержался и рухнул вниз. Он летел, ударяясь о ветки, и ждал, что вот-вот расшибётся в лепёшку.

Внезапно падение прекратилось. Почему-то чёртик стал подниматься в небо, словно его несла какая-то неведомая сила. Наконец он увидел под ногами облака и опасливо ступил на одно из них. Облако оказалось мягким, но пружинистым. Чёртик сделал несколько шагов и замер, почувствовав, что на него смотрят. Только сейчас он с ужасом заметил на облаках ангелов. Среди них был и тот, которому он собственноручно подбил крыло. Чертёнок отступил назад и зажмурился. Сейчас его ка-ак столкнут вниз! Их много, а он один.

Кто-то тронул чёрта за руку. Испуганно вздрогнув, он приоткрыл один глаз и обнаружил перед собой того самого раненого ангела. С отчаянной обречённостью чёртик нагнул голову, направляя на него рожки. Но ангел смотрел не на него, а на Мольбу.

– Скорее! – Ангел повлёк за собой сбитого с толку чертёнка. – Скорее, она же сейчас сгорит!

Растерявшись, чёрт поспешил за ним. Впереди показалась сверкающая радуга. Ангел указал на неё.

– Клади сюда.

Чёртик робко приблизился к радуге и положил на неё Мольбу. Та заскользила вперёд, как по рельсам, и вскоре скрылась из глаз.

– Теперь всё хорошо, – улыбнулся ангел. – Мольба будет услышана. Идём?

Он снова взял чёрта за руку, и они взмыли в воздух. Чертёнок не знал, куда они летят, но его страх отступил. Он искренне наслаждался полётом. А самое удивительное, впервые в жизни он не испытывал ненависти к ангелам. «Не такие уж они и противные», – великодушно думал он.

Между тем они с ангелом влетели в какое-то окно.

– Смотри, – шепнул ангел.

В комнате со слезами на глазах обнималась супружеская пара. На них, широко улыбаясь, смотрел ещё один ангел. При виде вновь прибывших он прошептал:

– Очнулся!

И оба ангела тихо засмеялись.

Чёртик смутился. Он ничего не понимал и чувствовал, что он тут лишний. Пользуясь тем, что на него не обращают внимания, чертёнок вылез в окно и побрёл прочь. Скоро нужно будет брать мешок и тащиться на работу. Не хватало только опоздать ещё раз…

Вдруг сзади послышался голос.

– Это тебе.

Вздрогнув, чёрт обернулся и увидел раненого ангела. Тот протягивал ему что-то красивое и воздушное. Этот предмет напоминал Просьбу: такой же тёплый, мягкий и светящийся. Только он был гораздо больше Просьбы, и веяло от него чем-то другим.

– Что это? – выдохнул он, прижимая к себе подарок.

– Благодарность, – ответил ангел. – Она твоя.

Чёртик растерянно смотрел на Благодарность. Куда её девать, такую огромную? Её ведь не спрячешь. Значит, с собой нести нельзя.

В это время Благодарность вдруг воспарила и окутала его невесомым, светящимся ореолом, напоминающим нимб. От изумления чёрт потерял дар речи. В это время ангел спросил:

– Ты новенький?

Чертёнок недоумевающе уставился на него.

– Крылья ещё маленькие, – серьёзно объяснил ангел.

Чёртик повернул голову и скосил глаза себе за спину. Действительно, там трепыхались два крохотных крылышка. Так вот что не дало ему упасть с дерева! Только сейчас он заметил, что хвост и копытца пропали. Чёрт ощупал макушку и лицо. Рога тоже исчезли, а пятачок уменьшился и превратился в обычный нос. Чертёнку захотелось по привычке выругаться от удивления, но почему-то стало неловко, и он сдержался.

– Крылья со временем вырастут, – успокоил его ангел. – Полетели?

И бывший чёрт неумело захлопал крыльями и самостоятельно поднялся в небо. Он ещё не осознавал, что с ним произошло, но чувствовал: он будет ещё не раз благодарен судьбе за то, что случилось в это Рождество.

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

Псков

ДУША МОЯ
рассказ

Может, померещилось? Уж две зимы никто не приходил. Он прислушался. Снаружи спешили люди, шумели таксомоторы, суетились птицы. Дворник сгребал к стенам снег и чертыхался. На ветру хлопала рваная портьера – перед Днём города в такие затянули все старые дома, чтобы спрятать разбитые окна и трухлявые стены. Вроде всё как обычно. Он насторожился. Нет, не послышалось – шёпот и шаги.

– Жуткие эти заброшки! Не знаю, что ты в них находишь?

– Вика, это же настоящий модерн! Лестница, колонны – как можно было такую красоту бросить? Отреставрировать бы и музей открыть.

– Ну так вперёд, Ань! Я в новостях видела: его продают. За рубль. Никому и даром не надо. Представь, сколько мороки с ним! Проще снести и новый поставить. Место козырное: центр, рядом все достопримечательности, туристы сразу подтянутся. Для отеля и ресторана самое то!

На лестнице заскрипели половицы: девушки поднимались наверх. Он рассмотрел их. Аня – брюнетка в цветастом платке и длинной стёганой жакетке – ступала несмело, осторожно, как будто перетекая с места на место. Вика выгля-

дела уверенно и решительно. Она старалась говорить тихо, но у неё это не получалось. Пыталась ступать неслышно, но с такими массивными ботами это было невозможно. Из-под беретика выбивались фиолетовые кудри, а рот был таким ярким, что впору вызывать пожарных. Ох, как простому особняку прошлого века привыкнуть к тому, как выглядит новая молодёжь?

– Поэтому и надо фотографировать, – Аня прищурилась, разглядывая лепнину на потолке, навела объектив и щёлкнула. – Если вдруг кому-то в голову придёт дикая идея снести эту красоту, она останется хотя бы в моём архиве. Для истории.

– А меня сфоткай! Тоже для истории. Посмотрят праправнуки, какая бабуля была! Давай, как будто я муза декаданса.

Вика изогнулась, прикрыла глаза и томно закинула вверх руки. Подбоченилась и выставила носок ноги, как балерина. Обернулась вполоборота, спустив шубку из овчины с плечика. Щёлк!

– Дай посмотреть. Огонь! Прям Ахматова. – Вика засмеялась. – Кстати об истории. Если делать в этом доме отель, можно сказать, что здесь привидения. Или что Ленин жил. Это вроде особняк какого-то дворянина?

– Да, Миловидова. Построил этот дом для невесты. Я читала, он долго ухаживал, добивался её руки. Но когда сыграли свадьбу, началась революция. Он сбежал за границу с золотом и драгоценностями, а она осталась здесь, милостыню просила и умерла в нищете.

В точку, барышня! Только он её не бросал. У них любовь настоящая была, как в романах. Она звала его «душа моя», а он её – «друг мой сердешный». И жили бы они, добра наживали, если б не Октябрьский переворот, голод и холод. Барин ушёл добывать дрова. Ровно сто лет назад. Так и не вернулся. Месяц, второй прошёл – она ждала. Все драгоценности конфисковали, из ценного остались только письма и фотография мужа – ждала. Каждый день выходила на улицу и спрашивала у прохожих: «Где душа моя?». Это тихое помешательство спасло её от ареста. Барина, скорее всего, убили – как молоденького офицера, который прятался в доме напротив. Что до Ленина – он больше по Германиям. А вот Блок бывал. Читал стихи прямо на этой лестнице. Но давно и неправда.

– Ничего себе! Я знала только, что здесь медучилище было.

– Это в 70-е. До этого – казармы и склад с лекарствами. В 90-е – клубешник. А потом дом заколотили. Вик, спасибо, что за компанию согласилась пойти. Одна бы я со страху померла – мне всё время кажется, что на нас кто-то смотрит. Мы с Юркой собирались, но всё пошло не так.

– Ты ещё убиваешься из-за него?

– Да ну! С чего ты решила? Глянь, какая роспись!

– Не переводи разговор. Я же вижу, что тебе хреново! Он так и не позвонил?

– Зачем ему? Два месяца прошло. Всё и так понятно.

– То есть человек не берёт трубку, не отвечает на сообщения, игнорит, а ты молчишь в тряпочку? Давай нагрянем к нему – он должен объяснить, что произошло.

– Никто никому ничего не должен.

– Раз так, сама тогда не депрессуй. Я тебя не узнаю. Невелика потеря – другого найдёшь. Это раньше добивались, ждали, сейчас жизнь быстрая: дольше трёх месяцев любовь не живёт. Надо всё успеть. И экзамены сдать, и денег заработать, и роман закрутить, и заброшки пофоткать.

– А смысл? Знаешь, Вик, у меня такое ощущение, что всё вокруг исчезает. Раньше идёшь по Гоголя – видишь киоск, в котором мороженое покупали, через дорогу – дерево, мы прятались под ним и целовались, когда дождь. Ещё дальше – на стене он мне нацарапал: «Люблю». Сейчас ничего этого нет. Словно взяли ластик и стерли. Пусто. Вот как в этом доме. Всё, что мне остается, – кричать в пустоту: Юраа!

– Киоск переехал, дерево срубили, надпись закрасили – не драматизируй! Ань, там дыра в полу, доска качнётся, и – отойди от греха подальше!

Если бы барышня знала, как близка она к тайнику, где хозяйка спрятала письма и фотографию! Пара шагов и… Аня смотрела в провал и вдруг тоненько запела:

И качнётся бессмысленной высью
Пара фраз, залетевших отсюда.
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду…

«Яблочко», «Очи чёрные», «Милая моя», «Миллион алых роз», «Владивосток две тыщи» – чего только не пели захожане миловидовского особняка! Но эту песню дом слышал впервые. Он подпевал Ане как мог. И плакал вместе с ней. А когда она покачнулась и чуть не упала вниз, выдвинул потихоньку самую крепкую свою доску для опоры, там уж Вика подхватила её за руку.

– Анька, ты что, совсем рехнулась? Не стоит он того! Ну, давай напишем его имя на бумажке, порвём в клочки и выбросим в окно. Или сожжём. По мне, так классная идея.

– Всё в порядке. Нет, правда. Я думаю, он вернётся. Ему просто нужно время, чтобы разобраться в себе. Он боится настоящей любви, думает, такое невозможно. Может, в семье проблемы какие-то. Слушай, у меня всё время ощущение, что здесь кто-то есть. Фоток хватит, давай сворачиваться.

– Так я ж тебе сразу сказала: жутко здесь.

И они ушли. На улице всё так же валил снег. Казалось, в белом мареве исчезает всё – улица, фонарь, люди. Через минуту уже не было видно реку, а на месте Воскресенского храма зияла снежная мгла. Дом Миловидова вздохнул и снова застыл в молчаливом ожидании. Как та, в платке узорном до бровей.

«ГОРИЗОНТ»

От редакции: с 2019 года являясь информационным спонсором Международного Грушинского Интернет-конкурса (МГИК), журнал «Южное Сияние» размещает на своих страницах произведения победителей и призёров этого ежегодного конкурса. В нынешнем номере рубрика «Горизонт» посвящена 12-м Международному Грушинскому Интернет-конкурсу (2023 г.), мы публикуем конкурсные произведения Ольги Баракаевой (Москва), Юрия Бердана (Нью-Йорк), Алексея Жукова (Рига), Соэля Карцева (Дортмунд) и Натальи Холмогоровой (Самарская область).

ЮРИЙ БЕРДАН

Нью-Йорк

АПРЕЛЬ В ОДЕССЕ

Весна была запойна и звонка,
Томились почки, как соски под блузкой.
Один короткий, длинных три звонка –
Щербатый двор на Малой Арнаутской…

Ночь уходила в мёртвую петлю
И корчила луна смешные рожи…
Мне женщина сказала: «Не люблю…».
Я ухмыльнулся: «Здорово! Я тоже…».

Ещё сказал: «Но без тебя помру!».
Она вздохнула: «Что ж, всплакну у гроба…».
И продолжая древнюю игру,
Мы обнялись и рассмеялись оба.

Гудело море – ни границ, ни дна…
Любовь и смерть переплелись в том гуле:
Рождаясь в муках, корчилась война
В двух сантиметрах вверх по карте в Гугле.

Парил над степью серый крест – орёл,
Вздымались руки женщин: «Где ты, Боже?!».
А мы любили, зная, что умрём –
Я никогда, она на вечность позже.

Покинул порт круизный теплоход,
Последнего трамвая стихли трели…
Две тысячи четырнадцатый год…
Меня убили год спустя. В апреле.

Вдова-весна брела по ковылю,
Чернели почки обгоревших вишен...
И женщина шептала в ночь: «Люблю!».
Но я её сквозь вечность не услышал.

БОГ КАРПАТ

Случайно или нам назло,
Как зверя мехом,
Под утро город занесло
Последним снегом.

Был юн и нежен бог Карпат
И мы бессмертны…
В твоих зрачках по сто карат
Метались ветры.

И мы виной одной больны,
Святой и грешной…
За много вёсен до войны –
Чумной, кромешной.

Был полдень тих и город бел
И небо сине.
Тоскуют губы по тебе
Невыносимо.

ПАМЯТЬ

Не надо врать,
что память вечна…
Бросьте.
На том погосте
разметало кости…
Не воется, не плачется,
не стонется –
мир молча умер,
Градами прошит,
И только память
красным порошит
над девочкой,
стихов моих
поклонницей…
Пусть раненые клёны
ей поклонятся
у тех обломков,
где она лежит.

———

СОЭЛЬ КАРЦЕВ

Дортмунд

КОМАРИНОЕ ПОЛЕ

1.

Привести в беспорядок дела,
удалиться, в чём мать родила:
пусть потом разбираются, что ли,
те, кто знают как лучше и как
с наших зевсом забытых итак
уходить в комариное поле,

где ни страха, ни зла до поры,
только злые снуют комары
и пищат. Для того чтоб напиться,
не хватает им крови, и мгла,
как лукавая чья-то молва,
затеняет их узкие лица.

Я бы плыл к незнакомым мирам,
возвещая, что *мир комарам*,
и кричал бы, на них непохожий,
о добре, о любви, о делах,
что остались, – от ног моих прах
отрясал бы, в невидимость вхожий.

2.

Увеличить фасеточный вид,
а внутри – не зудит, не болит,
как на пляже в каком-нибудь суссе,
поводя комариным зрачком,
в комариные дали влеком,
наблюдать, как над полем несусь я.

Для души растаможка – пустяк:
как приспущенный в трауре стяг
позволяет отмерить живущим,
что до вечности пара шагов,
так и ей, выходя из оков,
не ломиться в геенны и кущи.

Не фантом, а набросок, эскиз –
комариное поле, и вниз
с эмпирея срываюсь в него я.
Ни угла, ни шатра, ни норы –
только злые снуют комары
и мешают постигнуть иное.

КВАДРАТУРА КРУГА

Научись говорить по-птичьи, потом молчи –
для того и лежат под лавой твои помпеи.
Заходи и увидишь стены: они ничьи
в нескончаемой эпопее.

Это небо с землёю спорит, рождая злак.
Тут листва опадает, там лето в саду Эдема.
Шорох жёлтого с красным слышишь, как тайный знак,
что молчанию служит просто уход от темы.

Синеглазой наяды ласки в её ручье
нарисуй, как рисуют пчёлы своим жужжаньем
собирание мёда. Знаешь – Его речей
нам неведомо ожиданье.

Задержись у прилавка в стужу. Глотай глинтвейн,
становясь частью речи, пеплом её останков.
Застилает планету белым, и всё сильней
проступает скелет молчанья в словах-подранках.

ПАСТИ СНЕГА

Пасти снега на пастбище рассвета…
Окончилась зачем-то ночь, и это
становится у фразы поперёк.
Уже молчу и чествую молчанье,
и хлеб в горсти, и ялик мой причален,
где времени чуть видимый парок

струится над бегущею водою.
Смотри, смотри, такого вот покоя
Иезекиль, похоже, не видал.
Дорога свой разматывает свиток,
орлы, полёвки выстроились в свиту,
ямайка упирается в ямал.

———

АЛЕКСЕЙ ЖУКОВ

Рига

ТЕНЬ АНГЕЛА
рассказ

Затаив дыхание, я смотрю на снежинки за окном. Белые хлопья кружатся, взмывают и падают, танцуя под известный лишь им мотив зимнего ветра. Иногда они ложатся на стекло и замирают, будто пытаются похвастаться своей красотой, но тут же соскальзывают прочь, оставляя лишь слабый влажный след. Однако я успеваю заметить хитросплетение ледяных узоров: хрупкое и мимолётное, как сам полёт, но исполненное того неосязаемого изящества, что всегда остаётся незамеченным.

Я впитываю их красоту и смотрю сквозь белое мельтешение на дом напротив.

Квадратные бреши окон в серой громаде светятся жёлтым. Многие из них зашторены, некоторые сияют огоньками гирлянд, однако есть и такие, что и вовсе не спрятаны от стороннего взгляда. Но это вовсе не оттого, что их обитатели жаждут чужого внимания. Просто даже в свете неброских светильников и ярких люстр люди порой забывают про свет иной, что теряется среди насущных дел, невзгод и неурядиц.

Вот, на втором этаже, молодая пара. Парень и девушка размахивают руками, пучат глаза и выкрикивают что-то дрожащими от возмущения губами. Слёзы готовы навернуться на глазах обоих, но обидные слова, хоть и будучи неслышными, заставляют вздрагивать даже тишину разделяющей дома улицы.

На четвёртом, в крайнем справа, сидит старик и разглядывает в слабом свете торшера, бережно придерживая пальцами за уголки, глянцевое фото. Позади виднеется неряшливо украшенная пластмассовая елка, а подле, на столе, лежит перевязанная лентой коробка с куклой. По сухим морщинистым щекам текут скупые слёзы.

На пятом же светится ангелок, сплетённый из приклеенных к стеклу диодных лент. Фигурка маленькая, свет слабый, но он всё равно выхватывает из темноты пухлощёкое личико мальчугана, положившего подбородок на скрещённые на подоконнике руки. Он не плачет, однако зелёные глаза исполнены такой печали, что хочется разрыдаться самому. Потому как в соседнем окне видны двое взрослых: мужчина, кидающий вещи в распахнутый чемодан, и женщина, спрятавшая лицо в дрожащие ладони.

Я не слышу их голосов. Звонкий мороз и заклеенные на зиму створки служат надёжной преградой. Но даже если распахнуть окно настежь и спугнуть снежный морок, я всё равно не разберу слов. Потому как куда громче звучит застывшая на заунывной ноте тяжёлая и вязкая печаль.

Я сижу в тёмной комнате. Родители понимают, что мне так нравится и не противятся. Но дверь за моей спиной притворена не до конца, и прямоугольник жёлтого света отражается в окне. Словно тюрьма моего недуга может стать крепче из-за какого-то щелчка щеколды.

Зато я прекрасно слышу их голоса, хоть они и пытаются говорить как можно тише. Но их шёпот настолько пронизан эмоциями, что даже безмолвный диалог одними губами не смог бы укрыться от моих ушей.

– Лариса! – голос папы резок и груб, но я понимаю, что это из-за давно и крепко въевшейся усталости. – Он неизлечим! Ну не лечится такое! Сколько мы уже перепробовали? Сколько денег спустили? Все без толку!

– Но Пётр Иванович сказал… – отвечает мама и замолкает. В её словах усталости не меньше, но уже почти нет той привычной дрожи, что всегда сопутствовала запертым слезам. Всё-таки надежда, хоть и слабая, не желала тонуть в солёном омуте.

– Твой Пётр Иванович – шарлатан! – слышится шуршание газеты, и папа читает язвительно-насмешливым тоном. – «Доктор Соколов, сенситивно-психологическая терапия». Ты хоть видела его диплом? А лицензию? Можешь не отвечать, я и так знаю, что нет! Сколько он уже с тебя содрал? Я ради него, что ли, в две смены пашу?

Я не понимаю, почему папа ругает доктора.

Пожилой и улыбчивый, тот сразу попросил называть себя просто дядей Петей. Другие врачи либо смотрели на меня, как на несмышлёного зверька, листая бумажки и изучая подключённые к моей голове приборы, либо сюсюкались, как с младенцем, хотя в уходящем году мне исполнилось уже целых десять лет. А дядя Петя говорил со мной, как с нормальным, взрослым мальчиком, без дурацкого лепета или игнора.

– Признай наконец, – говорит папа уже без злости. – Просто признай. Андрей – дебил. Мне тоже больно, поверь. Но нам нужно принять это.

– Не говори так! – теперь уже голос мамы наливается звонкой яростью. – Серёжа! Не смей говорить такое про нашего сына!

Несмотря на свой серьёзный возраст, я не понимаю ещё многих слов. Даже тех, что зачастую слышу от сторонящихся меня людей. «Дебил», «неполноценный», «умственно отсталый». И до сих пор не гадаю, что такого наговорил дядя Петя маме, после чего я на её лице вновь стала появляться улыбка. Наверное, как раз из-за неё я и запомнил ту странную речь доктора. Которую он, опять-таки в отличие от своих коллег, не пытался говорить у меня за спиной.

«Видите ли, – сказал тогда дядя Петя, – Ваш сын живёт в совсем иной плоскости восприятия окружающего мира. Мы ещё не до конца изучили данный феномен, но он однозначно имеет место быть. Да, мальчик не почти не способен управлять собственным телом. Но нарушение синаптических связей, работы нервных клеток и общего функционирования организма – это лишь следствие. Биологическая составляющая просто никак не может поймать связь с той тонкой сущностью, с той эмоциональной параллелью, в которой на самом деле существует сознание Андрея. А оно существует, уж поверьте, и наверняка куда богаче, да и глубже, чем наши с вами умы вместе взятые».

Я так сильно задумался над словами доктора, что даже не услышал, как скрипнула дверь и в комнату зашёл папа.

Сильная рука разворачивает коляску. Отец садится передо мной на корточки и слабо, но улыбается. Я пытаюсь улыбнуться в ответ и даже сказать что-то, но губы едва шевелятся и вместо слов слышится только сиплый хрип. Наверное, улыбка тоже выходит не очень – плечи отца вздрагивают, но сам он не перестаёт улыбаться. А потом протягивает руку и взъерошивает мне волосы.

– Андрюха, ты как? – папа не дожидается ответа и продолжает. – Ну и молодец! Мужик! Слушай, я на работу – присматривай за мамой, ладно? Ну и слушайся, конечно! Я же могу на тебя положиться?

Я снова пытаюсь что-то ответить, но только хриплю. Тогда папа кивает, хлопает меня по плечу и выходит. Слышится стук железной двери, и целых долгих пять минут в квартире царит тишина, прерываемая лишь маминими всхлипами на кухне. А потом появляется и она.

– Андрюша, милый, не проголодался?

Под глазами красные круги, волосы растрепаны, как будто в локоны впивались напряжённые пальцы, но улыбка по-прежнему та, да и огонёк в глазах, что разгорелся после последнего визита к дяде Пете, так и не угас.

Я пытаюсь сказать, что нет, но снова лишь мычу, и мама всплескивает руками:

– Ну конечно! Совсем мы с папой заболтались. Ты погоди, сынок. Я сейчас тебе кашу разогрею. Гречку, твою любимую, – она хлопает себя ладонью по лбу и с шутливой горестью вздыхает. – Ах да! Совсем забыла, прости.

Мама подходит к ёлке, нагибается и щёлкает кнопкой возле подставки. На ветках тут же вспыхивают десятки разноцветных огоньков.

Мы поставили ёлку ещё вчера, а наряжали сегодня утром. Я говорю «мы», потому что мама всегда развешивает игрушки, только дождавшись, когда я проснусь. Тогда она достаёт коробки, ставит коляску поближе и непременно спрашивает, какую и куда повесить. И пусть я не могу ничего сказать в ответ, её пальцы всегда безошибочно выбирают нужную ветку.

Через какое-то время на кухне гремят кастрюли, радио мурлычет новогодний мотив, а мама ему тихо подпевает. Я же смотрю на переливы ярких светлячков, сплетённых воедино запрятанным в хвое проводом.

Я знаю, что по нему бежит ток, и что именно он заставляет сверкать миниатюрные лампы в пластиковой обёртке. Но я вижу ещё и нечто другое, текущее по невидимым нитям меж гирлянд и стеклянных шаров. Белый, незамутнённый полумраком свет, волшебный до самой глубины своего естества. Волшебный, ибо вбирает в себя всю силу, всю выжимку добра и тепла, что рождается при виде перебора цветных искорок, запаха хвои и наивного ожидания чуда.

Я вдыхаю и вбираю в себя этот свет. Чувствую, как упругой волной разливается он по телу, гулко отдаётся в висках и жжёт кончики пальцев. Руки сжимаются на поручнях коляски, и я рывком разворачиваюсь к окну.

Думаю, что этой энергии вполне хватило бы на то, чтобы обрести власть над своим телом. Наверняка, хватило бы.

Возможно, когда-нибудь… Да, когда-нибудь.

Но только не в этот вечер.

Я протягиваю руки, и белые нити срываются с кончиков пальцев, устремляясь к окнам дома напротив. Они касаются жёлтых пятен за стеклами, проникают за прозрачную гладь и растворяются внутри облачками алмазной пыли.

Молодая парочка резко замолкает. Секунду парень и девушка смотрят друг на друга, а потом хлёсткий, как искра, порыв сплетает их в объятиях, не оставляя места для тяжёлых фраз. И я поспешно перевожу взгляд дальше.

Пенсионер вздрагивает от звонка и неожиданно резво бросается к двери. Уже через секунду он судорожно отпирает простенький замок, и на шею ему, радостно вопя, бросается курносая девчушка. Светлая тугая коса взметается ввысь, разгоняя полумрак старческого жилища, и будто пытается мне на что-то указать. И я послушно поднимаю глаза.

На пятом этаже мальчуган жмётся что есть сил к отцу. Под локтем зажат плюшевый медвежонок, и ему очень неудобно его держать. Но он и не думает разжимать тонких пальцев, скрещённых за спиной мужчины. К тому же сбоку их обоих пытается обхватить женщина, на глазах которой так и не высохли слёзы. Но это уже совсем другие слёзы. И никто не смотрит на брошенный и такой ненужный чемодан.

Я заглядываю и внутрь себя. Волшебства почти не осталось, но на дне сердца ещё что-то плещется. И этих капель как раз хватает на то, чтобы на моём лице наконец появилась настоящая улыбка.

Жаль только, мама не видит. Но когда-нибудь она увидит. И папа, и все-все-все. Обязательно! Ведь правда?

В конце концов, ангелы красивы всегда.

И потому, когда в следующий раз вам где-нибудь встретится неказистый человек: с несуразными чертами, изломанными движениями или попросту застывший в коляске – не спешите брезгливо отворачиваться. Лучше взгляните на тень за его спиной. Вдруг там трепещут изголодавшиеся до полёта крылья?

ОЛЬГА БАРАКАЕВА

Москва

АРШАЛУЙС И ВЕРОЧКА
рассказ

– Давай мальчиков навестим, Вера. Ты не всех знаешь, я познакомлю.

Крепкие ноги Аршалуйс в мужских ботинках шустро ступают по каменистой земле Поднавислы, приминая невысокую, уставшую от южного солнца траву. Энергичный голос становится тихим, мягким. Женщина показывает пальцем издалека:

– Это Серёжа Ломакин, Сергей Фёдорович, командир стрелкового батальона, он из моих женихов самый красивый. Глаза прозрачные, серые, будто вода в Чепси. Люблю в них смотреть, отражение своё искать. Смотрю и молчу. И Серёжа молчит. По вечерам спать его укладываю, как маленького, колыбельную армянскую пою, ему нравится, быстро засыпает. А это Стёпушка, джигяр. Белобрысенький, хорошенький, самый молодой здесь. Любит, когда полковые газеты вслух читаю. Сохранились штук пять, искрошились на сгибах. Уже наизусть могу – одно и то же по очереди. Мальчишке обе ноги выше колена оторвало, какой фронт? А так кажется Стёпке, что он сражается, а не лежит без дела, мамалыгу почём зря ест. Ваня Василенко, старший сержант; не смотри, что полноватый: бегает быстро, стреляет метко. Мыкола. Ранение в голову, зрение потерял. Коле письмо от жены читаю. Одно письмо пришло, больше не приносили; видать, неживая она. Кудрявый, черноволосый – Игорь Саркисян. Тяжёлый был, три недели его

выхаживала, супом с ложки выкармливала, точно птичку. Не хотел есть. Иногда завлекал: поправлюсь – женюсь на тебе, Аршалуйс. Единственный из них знал, как моё имя переводится.

– Как? – спрашивает подруга.

– Рассвет. У тебя хорошее имя, военное. Для врача подходящее.

– Вера? Вера – военное имя?!

– Конечно. Нельзя на войне без веры. Тем более докторице. Мальчики все, кроме Игоря, Шурой кличут, а Шусей – только ты. Да и не случилось других подруг, сама знаешь, ты у меня разъединственная, разговариваю – наговориться не могу. Надоело, поди, про белого бычка слушать? Терпи, моя золотая, ведь никого на хуторе нет, одна векую. Кроме тебя, не с кем словом перекинуться. Брат и племяшка в Горячий Ключ звали: там электричество, телевизор, вода из крана. А как солдат оставить? Они просили – не бросай; клятву я дала, что не брошу, пока жива. Днём в колхозе работала, вечером к ним бежала – кому сказку рассказать, кого песенкой порадовать. Радио слушала, новости ребятам рассказывала. Так полвека и усвистало.

Ездила я в город. Красиво, не спорю, удобства всякие. Провода, как прыгалки, между столбами висят, на них птицы – чернявые, клювастые, что мой Игорёк. Ночью светло: фонари на улицах. Домой вернулась – скала нависает, Чепси шуршит по камням, убаюкивает, любимки спокойно спят. Вон там – братская могила, двести человек лично похоронила, чуток левее – ещё триста, а всего – почти две тысячи в Поднависле. Каждому камень приносила, отмечала, кто где упокоился. Под розовым большим камнем – командир. Запомни место.

Сколько за них перед скалой молилась! Храма нет, отсюда до ближайшего села – двенадцать километров. Помнишь бои в сорок втором, Вера-джан? Страшные какие бои… Гитлер здесь на Северный Кавказ хотел прорваться, в газете писали – главный удар: за нефтью шёл. В нескольких километрах от Поднавислы его остановили. Не вышло ничего у фрица. Папа и братья на войну ушли. Дедушка, царствие небесное, всем Ханжиянам наказал: русская земля нас приняла, кров дала, братья по вере армян от турок спасли, и теперь свою новую Родину мы защищать должны до последнего.

Сначала пять раненых в дом принесли. Потом ещё, ещё. Я не санитарка, никто и звать никак, никем и не числилась – доброволец. Ничего, всему научилась – уколы ставила, капельницы держала, разве что не оперировала. В одной комнате операционную сделали, в других – лазарет. Дома ступить негде, новеньких под деревья клали. Жара, осы, мухи роятся, зато фруктов много. Пациенты плакали, кричали, еле успевала от одного к другому бегать. Мы с хирургом спали по три часа. Потом тебя на помощь прислали, солнышко рыжее, конопушчатое. Вер, до чего же мы молодые были! По двадцать восемь, кажется?

Иду с ведром воды однажды, гляжу – сидит лейтенант носатый, длинный нос повесил совсем. Поздоровалась по-армянски – барев дзез. Не понял. Спросила – армянин? Нет, грек. Совсем расклеился: руку оторвало, кому калечный нужен? Я рявкнула: чего удумал – духом падать! На фронте нужен, одной рукой запросто стрелять можно! Меня и дед, и отец к оружию приучили: охотники. Ружьё одной правой схватила, в воздух пальнула, зыркнула построже. Наверное, жёстко, но так надо. Ожил парень.

В другой раз безногий Володя-тракторист скис. Вовке мягче сказала: после войны мужчин мало уцелеет, каждый наперечёт, женишься на доброй красивой девушке, детей нарожаете. Учись, мозги хорошие, образование получай! Обе руки на месте, одна нога имеется, необязательно трактором управлять. Владимир Петрович в восемьдесят пятом приезжал: Шурочка, помнишь меня? Молоком поила, жить учила – так выучился я, нынче сам учу – детей в школе.

В октябре хирург вызвал, сказал – все на фронт уходим, раненых подводами вывезем, тебя защищать некому, собирайся в эвакуацию. Отказалась. На кого могилы оставлю? Кто ходить за ними будет?

Так крепко ты на прощание меня обняла… на всю жизнь слово твоё запомнила, Верка, – что вернёшься. Твёрдо пообещала – вернёшься, глазищами намокла и к грузовику помчалась, а я стала ждать, пока довоюешь. Терпения, чай, не занимать. Слезу не подпускала: бойцы хныканья не любят, к чему их огорчать?

Шептала-журчала, перекатывалась на голышах год за годом Чепси, уносила тревоги, смывала горести.

Днём в колхозе, вечером с солдатами – так и сложилось. Женихов немало сваталось, да не вышла замуж: предназначение другое. Не рассказывала никому, открою историю давнюю. Лет пятнадцать мне было, через реку переправлялась – арба перевернулась, и понёс меня горный поток, притопил в холодной воде. Я за воловьи хвосты схватилась – дотащили волы до берега. Долго в горячке лежала, с неделю, родители не верили, что оправлюсь, глаза выплакали.

Где-то в других мирах оказалась. Сначала увидела лестницу с резными перилами, по ней поднялась – открылся сад, на местные не похожий. Беседки каменные в рядок выстроились, возле них – фруктовые деревья невиданные. Кипарис лианами навроде глицинии до верхушки опутан, а глициния – каких на земле не встретишь: ярко-синяя, сыплется сверху бархатным дождём, под исцарапанные босые ноги коврик стелет; до чего хорошо, до чего благостно на сердце! Полупрозрачный старик в белых одеждах

наверху стоит, смотрит не на меня, а словно внутрь меня – и ни слова не произносит. Так захотелось в том саду поселиться! Прилечь на топчан, кожицу диковинного плода отшелушить, сладкую мякоть попробовать… Спросила – можно? Старец губами не шевельнул, но я услышала: нельзя, главное предназначение на земле не выполнено, а какое – узнаю, когда время придёт.

Спит моё предназначение под скалой. Смотри, оградки из ивы сплела, чтобы слаще спалось. Командиру куст посадила. Тощенький прутик за столько лет расщекастился, живым зонтом накрыл.

Привыкшими к работе руками в оплётке толстых сизых вен Аршалуйс ловко выдёргивает сорняки, переходит от могилы к могиле. Худая жилистая фигура закутана в тёмную самовязаную кофту, на седой стриженой голове – пёстрый платок. Подруга рядом, «роднулечка», так Аршалуйс её зовёт. Куда Шуся – туда и Вера, хвостиком всегдашним. В тысячный раз Шусин рассказ слушает; помочь не может, зато слушать – сколько угодно.

– Колхоз перестройкой растрепало. Растила кукурузу в огороде, держала несушек – прокормилась. Захотел местный буржуин дачу в урочище строить, бульдозер пригнал. Захолонула душа, Вер. Выскочила, растопырилась. Выглядывает паренёк – уйди, бабушка, у меня приказ, расчистить территорию надо. Не растерялась, отвечаю – у меня тоже приказ, покажу, только домой сбегаю, обожди! Тот вылез, прикурил, а я за ружьишком метнулась. Перед ковшом встала, осадила: убирайся отсюда, здесь святое место, солдаты спят, да не шуми: разбудишь. Передай своему начальству: захоронения военных времён, ничего перекапывать не позволю! Дурак молодой рассердился, своей гремучей железякой попёр, я первый выстрел – в воздух, упредила, второй – в лобовое стекло. Удрал на бульдозере.

Потом чиновница приехала. Понимающая баба оказалась: у самой деды в войну сгинули. Распорядилась богатеев не пускать, денег раздобыла на железные ограды. Мальчики довольны, и мне легче. Готовые оградки помыть быстрее, чем из лозы плести: силы-то не те уже, глаза подслепли. Умру скоро, чувствую. Умирать нестрашно, страшно с солдатиками разлучиться, вся жизнь моя – за их могилами ухаживать и тебя ждать. Ты же тогда, в сорок втором, обещала вернуться, с той поры и жду. Пятьдесят лет жду!

– Здесь я, с тобой всюду хожу, за плечом твоим, – успокаивает Верочка старуху, – просто ты меня не видишь. Хочешь, расскажу, что дальше случится?

– Хочу, матахгнэм.

– Ты потеряешь зрение. Когда умрёшь, племяшка твоя станет хранительницей. На поляне выстроят армянский храм, сможешь молиться не скале, а настоящей иконе. Местные жители соберут миллион рублей, представляешь, целый миллион! Хотя как ты представишь, если даже пенсию отродясь не получала… Вот здесь поставят большой памятник: немолодая женщина, опустив голову, сидит на скамье, справа от её руки – простреленная каска. У ног всегда живые цветы – гвоздики, ромашки. Шуся, это ты! Не бросила своих солдат, осталась при них.

По вечерам невидимая Вера подсаживается к бронзовой подруге, гладит родные морщинистые щёки. Скамейка длинная, места обеим хватает. Аршалуйс под шёпот любимой Чепси негромко и ласково напевает бойцам армянскую колыбельную.

А.К. Ханжиян признали Женщиной 1997 года в номинации «Жизнь – судьба». В 1998 году её не стало. Аршалуйс Кеворковне присвоили звание Почётного гражданина Горячего Ключа, того самого города, куда она отказалась переезжать.

НАТАЛЬЯ ХОЛМОГОРОВА

Клявлино Самарской обл.

НЕМТЫРЬ
рассказ

Любку в родной деревне кличут «немтырём» или «немкой». Спроси у девки: сколько годов стукнуло? Она растянет большой рот в улыбке, вытянет тонкую шейку, напрягая жилы, с трудом вытолкнет из себя воздух – «п-пать». Стало быть, пять лет…

Любка маху не даст ни в поле, на косьбе, ни на току, ловко орудуя деревянной лопатой и ссыпая золотое семя в кузов. Сызмальства приучена Любка к труду – жать, сеять, пахать за троих. А говорить по-людски не умеет! Да и как уметь, коли с рождения косноязычная? Язык есть, а толку мало.

Фельдшерица однажды заглянула в Любкин рот, поводила там холодной железной палочкой. Долго всматривалась внутрь, нацепив на лоб металлический зеркальный кругляш. Любка, не моргая, смотрела на тётку в белом халате, и слёзы крупным горохом катились по побледневшим щекам.

– Чегой-то там, у моей Любушки? – с тревогой в голосе спросила Любкина мать.

– Короткая уздечка языка, по-медицински – анкилоглоссия. Потому и говорит ваша дочка плохо.

Фельдшерица сделала запись в больничной карте, вздохнула:

– В Москву вам ехать надобно. Пока девочка маленькая, операцию перенесёт легче. Иначе, как была ваша Люба немтырём, так им и останется.

– Ой, худо! – запричитала Любкина мать. – Отколе денег-то взять? В хате – семеро по лавкам!

– В кубышку мало-помалу откладывайте, Авдотья Павловна. Как накопите, так и приходите. Я направление вам выпишу в Московскую клинику.

Авдотья кисло улыбнулась и, отмахнувшись от фельдшерицы, как от надоедливо поющего комара, схватила Любку за руку:

– Пущай пока так ходит. Нэма у нас денег. Нэма!

Любка так и проходила, без малого, ещё три года, пока, как велела фельдшерица, кубышка в доме не наполнилась.

Батька у Любки (не глядите, что колченогий!) для любимой старшей дочки расстарался. Те, у кого увечье какое – народ обычно выносливый, как кремень, если, конечно, «горькую» не потребляют.

Любкин отец лишнего не пил. Зараз мог выпить грамм двести первака – и баста! Да и то, не кажный день, а так, с устатку. И лудить, и паять, и скорняцкие работы выполнить – всё умел Михайло Ильич. А уж в плотницком деле равных ему в селе не было! За калым, как некоторые мужики, водкой не брал. Либо продуктами, либо деньгами. Так и скопил нужную сумму для поездки в Москву.

Похожи отец с дочкой – как две капли воды! Непослушный жёсткий волос, крепко сбитое тело, а характер у каждого – упрямый и настырный. Ежели что удумали – возьми да выложь! А если вскипят ненароком, как пузатый, чищенный до блеска самовар, то отходят быстро.

Любка себя в обиду ни за что не даст! Если кто-нибудь из ребятни начнёт передразнивать несуразную Любкину речь, может и в ухо схлопотать! Рука у Любки тяжёлая, как у отца…

Но на Боженьку Любка не в обиде. Язык – это полбеды! Вон, у батьки культя вместо правой ноги, и ничего, живёт! А у председателя колхоза – того хуже, один глаз стеклянный… Если язык короткий, лишнего-то не взболтнёшь! Вон, у соседки, не язык, а помело, не то, что у Любки. Если девчонке секрет доверить – это могила! Только прозвища обидные Любке не нравятся. Скажут «немтырь» – будто оглоблей огреют.

Любке снится жуткий сон…

Будто стоит она на железнодорожных путях, а на неё, как дракон огнедышащий, сверкая красными глазами и извергая пламя, мчится паровоз. Любка хочет бежать, да ноги не слушаются. Хочет позвать на помощь, да язык к глотке прилип. Ничего не слышно, кроме глухого мычания и шипения.

– Любушка, доча, вставай, – мать ласково тормошит Любку за плечо. – В Москву с батькой поедешь, поезд вас ждать не будет.

Любка тряхнула головой, прогоняя остатки страшного сна, проворно соскочила с кровати. На спинке стула – коричневое платье, перешитое из мамкиного, ещё почти нового – крепдешинового. Чулки с резинками, шерстяная кофта, заботливо связанная мамкиными руками…

Старый деревянный чемодан мамка отскребла ножом от копоти и грязи, керосином почистила заржавевшие застёжки, и теперь он, раззявив ненасытную пасть, красовался на кухне, в самом центре стола.

– Са-аа-ла? – Любка тыкнула пальцем в газетный свёрток.

– И сало солёное поклала, и хлеба, и яиц вкрутую сварила. Ты за батькой, Любушка, приглядывай! Он, охламон непутёвый, ишшо потеряется в Москве-то.

Любка молча кивнула, натянула розовые панталоны, волосы перетянула резинкой.

– Ах ты, Боже ж мой! Николая Чудотворца запамятовала положить, – мать сняла с киота небольшую икону. – Это наш первый помощник и заступник в делах, без него никак нельзя.

Любка нехотя выпила молоко с булкой и выскочила из-за стола. Негоже рассиживаться, когда впереди маячат огни Московии!

– Готовы? – батька заглянул в избу.

– Готовы, Михайло, готовы!

– Ну, присядем на дорожку, и в путь…

Любка никогда прежде не ездила на поезде, оттого ей было и страшно, и весело одновременно! И даже батька, всегда такой уверенный, показался ей перепуганным не на шутку. Он поставил чемодан у ног, осторожно сел на краешек деревянной скамьи и, словно провинившийся школьник, аккуратно сложил на коленях большие натруженные ладони.

– Располагайтесь, граждане, – сказала проводница, – до Москвы ехать ещё долго, почти сутки.

Любка шикнула на отца, быстро скинула туфли, до блеска начищенные то ли вазелином, то ли гуталином, с ногами забралась на полку, прильнула к окну… Она даже представить себе не могла, что мир так огромен!

Мимо проносились деревни и полустанки, леса и поля, чуть тронутые первой осенней позолотой. Вагон сильно раскачивался из стороны в сторону, даже сильнее, чем если бы Любка ехала верхом на колхозном мерине. В вагоне сильно пахло мазутом, крепким табаком, жареной курицей и ещё Бог знает чем.

– В первый раз на поезде едешь, милая? – ласково спросила бабушка с соседней полки.

Любка застеснялась, молча кивнула в ответ.

– В первый раз, – поспешно ответил за Любку отец.

– В Москву-то в гости едете, али как? – не могла угомониться бабушка, вновь обращаясь к девочке.

– По делам, – строго сказал отец, и горькие складки возле губ прорезались ярче.

– Нешто девка немая? Или стесняется? – прошамкала старушка.

Любка наклонила голову низко-низко – так, чтобы никто не увидал слезы, бегущей по щеке…

Московский вокзал встретил Любку суматохой, неразберихой и толкотнёй.

– Граждане пассажиры! Внимание, внимание! – гремел откуда-то сверху женский гнусавый голос. Таких противных голосов Любка ещё в жизни не слыхала!

Все куда-то бежали, как сумасшедшие! Носильщики, тётки с торбами, дядьки с чемоданами…

Паровоз пыхтел, издавая клубы вонючего дыма. Перрон под Любкиными ногами качался, и ей казалось, что стоит она не на твёрдой земле, а шагает по зыбкой гати. По такой же примерно гати, что находится за дальним лесом, и куда она однажды ходила с отцом.

Михайло Ильич, расталкивая острым своим плечом встречных-поперечных, шёл напролом, словно племенной бык из колхозного стада. Шёл так скоро, что Любка испугалась за его протез.

– Ба-ать-ка, – Любка старалась не отставать от отца ни на шаг. Но её вдруг отжали, оттеснили, оттолкнули куда-то влево. Любка поскользнулась и упала на грязный привокзальный асфальт. Чей-то ботинок едва не отдавил ей пальцы… Совсем близко прогромыхала тележка носильщика. Любка кое-как поднялась, отряхнула платье и замерла на месте, прижав руки к груди, словно в немой молитве.

Вокруг неё текла река, но не такая, как у них в деревне – спокойная, мирная… Людская река была другой! Она кипела, бурлила, обнажая подводные камни и постепенно затягивая Любку в омут, увлекла на самое дно.

Любка напрягла все силы, задрала лицо кверху и, привстав на цыпочки, закричала:

– Ба-а-тька!

Но Любке только казалось, что она кричит. На самом деле, лишь хриплый воздух вырывался из её груди.

– Ба-а-тька!

Всё происходило почти так, как в страшном Любкином сне…

Люди бежали мимо, паровоз кричал навзрыд, предупреждая о своём убытии, колёса стучали о рельсы, а где-то совсем близко гудела, тормошилась Москва.

На Любку накатило вдруг странное равнодушие.

– Ты потерялась? – интеллигентная тётка участливо наклонилась к Любке, заглянула в глаза. – Ну, чего ты молчишь?

Любка кивнула в ответ.

– Как тебя зовут, девочка?

Любка молчала.

– Ты с кем? Тебе куда надо? Адрес помнишь?

– Бо-бо-иця!

Любка хотела выговорить слово «больница», но у неё не получилось.

– Кто боится? Ничего не понимаю… Ты можешь ответить нормальным человеческим языком?

Любка отрицательно замотала головой и разрыдалась в голос.

– Странный ребёнок, – отмахнулась женщина и, постукивая каблучками, поспешила прочь…

И вдруг откуда-то сверху, раздался Небесный Глас. Он был тот же самый – противный и гнусавый, немного скрипучий и немного встревоженный.

– Внимание, внимание! – вещал Голос. – Девочка Люба Василенко, из деревни Сосновка, тебя разыскивает твой бать… отец! Люба, стой на месте и никуда не уходи. Тебя обязательно найдут наши милиционеры.

Любка вытерла слёзы и глубоко судорожно вздохнула. Она увидела, как расталкивая толпу, к ней уже спешат двое мужчин в белой форме, в фуражках с красной тульей. Один из милиционеров показал пальцем на Любку и зачем-то громко свистнул в свисток.

И тут случилось невероятное! Все, кто бежал, спешил, торопился по делам, вдруг замедлили свой бег. Человеческая река потекла медленнее, некоторые прохожие даже остановились:

– Что? Где? Кто? Что случилось?

– Тебя зовут Люба? – спросил высокий милиционер.

– Д-да.

– Пойдём с нами, Люба Василенко. Тебя ждёт отец.

Люба широким жестом, по привычке, вытерла рукавом кофты нюни, набежавшие из носа, и покорно пошла следом. Людская толпа уважительно расступалась, высвобождая идущим дорогу…

Москва!

Город, напугавший Любку до смерти, до дрожи в коленях, до ужаса в глазах. Город, равнодушный к чужой беде, к тому, кто слаб или с каким-либо изъяном.

Москва!

Город, сделавший Любку спустя всего пару дней счастливой! Город, подаривший ей надежду на новую грамотную речь, вселивший в неё уверенность – уверенность в завтрашнем дне.

Любке пока с трудом даются слова, но доктор сказал – это временное явление.

После операции с Любки словно бы сняли путы, словно бы подарили свободу говорить, легко выражая свои мысли и чувства! О, как давно она об этом мечтала!

– Любушка, мамке, ничего не сказывай, ладно?

Любка вопросительно посмотрела на отца.

– Ну, как ты на вокзале потерялась, – отец виновато шмыгнул носом.

– Не-е-е, – в растяжку ответила Любка и рассмеялась.

Отец словно только этого и ждал.

– Мамка-то велела тебе за мной присматривать, а оно вон как вышло-то – наоборот! А-ха-ха!

Отец смеялся долго и громко, запрокинув голову назад, и то и дело рассекая воздух рукой, словно отгоняя наваждение. И все, кто был на вокзале в эту минуту, и провожающие, и встречающие, с удивлением оборачивались на неказистого, одетого вовсе не по Московской моде мужичонку.

И только когда состав плавно подошёл к платформе, Михайло Ильич наконец успокоился. Крепко держа Любку за руку, он поспешил к своему вагону, сильно приволакивая ногу с протезом. Взобравшись на подножку поезда, мужчина оглянулся назад – там, за стенами вокзала, словно улей на пасеке, шумел огромный город.

Прощай, Москва! Город надежд и разочарований, город обещаний и возможностей, город побед и поражений. Прощай! Даст Бог, ещё свидимся…

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕЛЕНА ТИТОВА

КОНЦЕПЦИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭМИГРАНТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Осмысление специфики детской литературы, её отличительных особенностей, национального и индивидуального своеобразия наиболее активно происходило в XIX-XX веках и захватило многих художников слова, педагогов, учёных и методистов. Совокупность мнений и оценок позволяет увидеть две диаметрально противоположные точки зрения. Согласно первой, детские произведения пишутся для воспитания и, безусловно, учитывают психолого-возрастные качества ребёнка-читателя. Сторонники второй точки зрения утверждают обратное: детская литература в содержательном и художественном отношении почти ничем не отличается от взрослой, и выделение её не обязательно, поскольку ребёнок в активном читательском возрасте (10-15 лет) зачастую сосредотачивается на произведениях, для него совершенно не предназначенных.

В творчестве М. Цветаевой, в её эпистолярном наследии немало рассуждений, соответствующих именно второй позиции. Сошлёмся в качестве примера на строки из письма, написанного 18-летней Цветаевой М. Волошину: «Дети – не поймут? Дети слишком понимают! Семи лет Мцыри и Евгений Онегин гораздо верней и глубже понимаются, чем двадцати» [Цветаева,1994:46]. Однако не только в этом письме, но и в других произведениях Цветаевой, большинство из которых создано в период эмиграции, чётко просматриваются концептуальные характеристики детской литературы как таковой.

Обращение Цветаевой к характеристике детской читательской аудитории и определению основных свойств детской литературы было вызвано целым рядом причин. Среди внутренних следует назвать факт раннего творческого самоопределения, обусловленного в первую очередь интенсивным чтением самых разных литературных произведений. Не случайна, при многочисленности реальных персонажей и адресатов первых лирических стихотворений, следующая обмолвка: «Книги мне дали больше, чем люди» [6,47].

Отметим также открытые Цветаевой в ранней лирике и подмеченные рецензентами «Вечернего альбома» и «Волшебного фонаря» детские темы: тоски по родительской ласке и вниманию, детской игры и влюблённости, почитания кумиров, различия детских темпераментов и типов поведения. По сути, через попытку определения «разных» детей (стихотворение «Разные дети») Цветаева приближается и к осознанию неизбежного у этих детей различия в читательском опыте и читательских предпочтениях. Открыто же эти непохожие реакции на один и тот же литературный текст обозначаются в стихотворении «Как мы читали „Lichtenstein“»:

Ульрих – мой герой, а Георг – Асин,
Каждый доблестью пленить сумел:
Герцог Ульрих так светло-несчастен,
Рыцарь Георг так влюблённо-смел! [1, 42]

Суммируя поэтические высказывания Цветаевой 1910-х годов, можно отметить её убеждённость в необходимости героического и романтического начал в детской литературе, авантюрных сюжетов и волшебства. При этом она полагает естественными в таких произведениях трагедийное начало и тему

смерти, акцентируя в реакции-сопереживании ребёнка-читателя именно сострадание. Никаких «охранительных» советов и рекомендаций молодая Цветаева, ставшая матерью в 1912 году, вроде бы не даёт и в дальнейшем. Дочь Аля читает всё, что оказывается доступным, и её читательский кругозор формируется так же бессистемно, как когда-то и у самой Цветаевой, практически одновременно открывшей для себя Лидию Чарскую, Виктора Гофмана, Сельму Лагерлеф, Степняка-Кравчинского, Достоевского, Андрея Белого и Ростана. Оценочная характеристика детского читательского выбора, если бы Цветаева её прямо сформулировала в 10-е годы, могла бы выглядеть так: ребёнок имеет право читать всё – и то, что написано специально для него, и то, что рассчитано на взрослое сознание.

Однако следует обратить внимание и на другое цветаевское суждение, обозначенное в том же письме к М. Волошину: «Каждая книга – кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам» [6,46]. Пытаясь разобраться в психической реакции самозабвения, в детском отождествлении себя с героем или героиней (об этом же и стихотворения «Анжелика», «Потомок шведских королей», «В зеркале книги М. Д.-В.»), Цветаева приходит к мысли о том, что раннее, бессистемное, «запойное» чтение отрывает человека от жизни, порождает иллюзию преждевременного опыта, всезнания бытия и неизбежно провоцирует скуку, душевную усталость, нежелание жить или острую тоску по живому, не книжному миру. Именно эта мысль позволит в дальнейшем изменить и уточнить своё отношение к детской книге.

Обстоятельства жизни Цветаевой в эмиграции обусловили ряд дополнительных факторов её размышлений о детском чтении, о книгах для юных читателей. Ей, несомненно, хотелось сохранить русскую культуру своей дочери, а этому вряд ли могла способствовать учебная программа какого-нибудь чешского пансиона или даже гимназии, в которой работали однополчане С. Эфрона (с сентября 1923 г. до весны 1924 г. одиннадцатилетняя Аля находилась в интернате русской гимназии в чешском городе Моравская Тшебова). Родившийся в 1925 году сын тоже вызвал особую заботу. Ему ещё не исполнилось 4-х, когда Цветаева указала: «Он страшно русский, на лбу написано. С каким-то вызовом – русский. – Что с ним будет дальше?» [6,384]. Беспокойство заставило её подбирать сыну именно русские книги для чтения и вспоминать уже совершенно иначе свои детские книжные впечатления.

Таким образом, оказавшись в эмиграции, Цветаева существенно меняет свою позицию: она уже не отрицает необходимости взрослого контроля за детским чтением, тщательно определяет качественный набор необходимых произведений для подрастающего читателя. В свою очередь это заставляет её не только предполагать, но и анализировать детскую реакцию на прочитанное, оценивать доступные ей современные русские издания детской литературы и напрямую обращаться к детям.

Наиболее активный в условиях эмиграции период формирования цветаевских мыслей о детской литературе: 1926-1938 гг. Тексты, в которых высказываются данные мысли, имеют разную жанровую природу: ответы на анкету, мемуарные очерки, литературно-критические эссе, статьи, короткие новеллы, письма, дневниковые записи. Из них наиболее значимыми являются: ответ на анкету 1926 г. (фрагмент, посвящённый книгам), «О новой русской детской книге» (статья), «Сказка матери», «Мать и музыка», «Чёрт», «Мой Пушкин», «Детям» (открытое письмо, предназначенное для детского журнала на русском языке).

Хронологически первое её размышление в эмиграции связано с гендерными свойствами литературы и в целом искусства, ориентированного на детей. Это подтверждают глава «Детский рай» (последняя) поэмы «Крысолов», созданной в 1925 году по следам пребывания в благополучном чешском городке Моравская Тщебова, где в русской гимназии училась Ариадна. Манящая мелодия флейтиста расшифровывается повествователем как набор атрибутивных составляющих искусства для мальчиков (ружья, кегли, доспехи, кони, войны, пули, дозорные знаки, игры) и для девочек (куклы, иглы, наряды, лани, свадьбы, бусы, ленты, тайные числа, страсти). Показательна и возрастная иерархия:

Погремушки для самых маленьких!
Сказки – пастора рассмешить!
II романтики для больших. [3, 105]

Распространяя эту мысль на вид словесного искусства, подчеркнем важность для Цветаевой первоначального приобщения ребёнка к чтению через слушание и первоначального же восприятия книги как забавы, игрушки. Впрочем, все указанные выше ряды и классификации обобщаются в поэме главным определением искусства для детей. Оно должно быть:

На всякие нужды! на всякие вкусы!
<…>
На всякие жажды! на всякие масти! [3,105]

Отвечая же в 1926 году на анкету, присланную Пастернаком, Цветаева сосредотачивается исключительно на оценке книг, соединяя два пункта: о влияниях детских лет и о любимых писателях. Она уже не возвращается к мысли о первостепенности читательского опыта в процессе формирования сознания ребёнка, в её ответах сначала и несколько подробнее говорится о влиянии людей (матери, отца) и событий, имеющих внелитературный характер. Через 15 лет после процитированного в начале данной статьи письма М. Волошину для неё более важным кажется не объём прочитанного в детстве, а соответствие любимой книги возрастной эпохе читателя. Индивидуальность опыта самой Цветаевой, конечно, проявляется в этом перечне: «Ундина» Фридриха де ла Мотт Фуке в переводе Жуковского, «Лихтенштейн» В. Гауфа, «Aiglon» («Орлёнок») Ростана; но в концептуальном отношении значимость обретают указание «каждая даёт эпоху» [4, 622] и распределение любимых книг по этим эпохам: первая – раннее детство, вторая – отрочество, третья – ранняя юность. Логика цветаевских перечислений свидетельствует: пройдя «книжные эпохи», взрослеющий читатель дорастёт и до осмысления национального эпоса, легендарно-исторических повествований («Нибелунги», «Илиада», «Слово о полку Игореве»). Невольно фиксируется в этих ответах и зависимость взрослых литературных предпочтений от раннего воздействия: если в детском чтении изначально доминировала поэзия, то и самыми любимыми на всю жизнь книгами для такого читателя вряд ли будут прозаические.

В конце 20-х годов Цветаевой были доступны многие русские детские издания, в том числе уже советского периода, присылаемые сестрой Анастасией для сына Георгия. Не откликнуться на них Цветаева не могла: слишком не похожи были эти произведения на то, что сама она читала в детские годы. С этого и начинает она свою статью «О новой русской детской книге», написанной в 1931 году для серьёзного взрослого журнала «Воля России».

Концептуальная характеристика детской литературы во вступлении включает в себя ряд следующих утверждений: 1) книга для дошкольника (ребёнка 4-6 лет) не должна быть объёмной; 2) предпочтительно стихотворное содержание, ибо «детей без собственных стихов – нет» [5, 324], то есть поэтическая речь ближе к собственному языку маленького ребёнка и активнее стимулирует в творчество последнего; 3) стихи должны быть высокого качества; 4) необходимо конкретное, узнаваемое, реалистическое в своей основе содержание, связанное с национальной культурой читателя (так критикуется «лжефантастический» мир гномов, фей, мотылечков, которому Цветаева сама отдала дань в ранних стихах); 5) недопустима любая искусственность, утрированная условность, слащавость языка и предмета изображения.

Далее, переходя уже к цитатам и оценке конкретных текстов, Цветаева дополняет этот ряд: она приветствует повествовательные стихи познавательного содержания, наглядность и богатство иллюстративного материала, сравнение и диалог в поэзии для детей, критикует неряшливые рифмы и алогичное сцепление художественных образов и характеристик (последнее находит в детской русской книге, изданной во Франции); соглашаясь с необходимостью современной технической темы, указывает на предпочтительность темы природы и народной темы, отмечает как положительные явления приём антропоморфизации бытовых явлений и животного мира; сближение героев стихотворений с образом ребёнка. Цитаты, приводимые ею из книги С. Маршака «Детки в клетке», доказывают, что для Цветаевой вполне естественными и мудрыми в дошкольной поэзии представляются повторы, гиперболы, обилие глаголов и парная разноударная рифмовка, трехстопные размеры, преимущественно хореические. В этом смысле она даже несколько опережает в оценке художественных особенностей детской поэзии наставления, данные К. Чуковским: его «Заповеди для детских поэтов» начинают оформляться с 1933 года.

В связи с редакционным примечанием-упрёком, сопровождающим публикацию статьи «О новой русской детской книге», нам кажется правомерным указать ещё на одну позицию Цветаевой. Она действительно не обращает «внимания на агитационные задачи значительной части детской литературы и на связанную с этим борьбу за „коммунистическую“ детскую книжку» (5,694). Заметим, что и на стихотворные произведения Маяковского, подобные «Сказке о Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий», она, при всём интересе к данному поэту, не реагирует никак. В этом умолчании вряд ли, однако, стоит видеть согласие, скорее, наоборот: по мысли Цветаевой, в детских стихах, особенно адресованных дошкольнику, не должно быть политической и классовой темы, а тем более пропаганды. Не случайно, несколько лет спустя, обращаясь уже к другому поэту – Дону Аминадо, она скажет: «Но мне-то, *ненавидящей* политику, ею – *брезгующей*, жалко, что Вы пошли *ей* на потребу» [7,654].

Значительными для понимания цветаевского отношения к детской литературе являются также художественные автобиографические произведения 30-х годов, указанные нами выше. При всех тематических и жанровых различиях их объединяет ряд следующих наблюдений и суждений: 1) любой внешний запрет на чтение каких-то книг вызывает у ребёнка активное желание этот запрет нарушить (Цветаева как будто внушает взрослым: не хотите, чтобы дети прочли что-то лишнее, небезопасное для их ума и психики, – не запрещайте им эту книгу, иначе добьётесь обратного эффекта); 2) часто, особенно в подростковом возрасте, именно запрещаемая книга становится любимой, а рекомендуемая – нелюбимой; 3) ребёнок неизбежно полюбит читать, если взрослые (родители) будут посвящать его в свои литера-

турные увлечения (отсюда в очерке «Мать и музыка» такой пёстрый ряд книг: «Ундина», «Джейн Эйр», «Антон Горемыка») 4) у маленького ребёнка вполне естественно влечение к ужасному и страшному в литературе (так он убеждает себя в том, что его собственные страхи не единичны и не исключительны), но это влечение быстро проходит; 5) юный читатель предпочитает сказку в силу хорошей концовки, но и отрицательного героя часто жалеет и любит, ибо склонен считать, что зло – это временное, а доброта – вечное; и такое отношение распространяется впоследствии на чтение классических произведений; 6) преобладание лирических впечатлений на этапе начального знакомства с литературой располагает к чтению психологической и романтической прозы, а также к личному поэтическому творчеству; 7) избыточные и дидактические разъяснения прочитанного мешают непосредственной детской читательской реакции, которая бывает более точной и глубокой, чем у взрослых, и нередко вызывают отвращение к книге; ребёнку важнее эмоционально воспринимать и принимать текст, чем полностью понимать его; 8) «вопрос, в стихах, – приём раздражительный, хотя бы потому, что каждое *отчего* требует и сулит *оттого* и этим ослабляет самоценность всего процесса, всё стихотворение превращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно» [5,76-770].

Обратим внимание: в автобиографической прозе Цветаева по-прежнему сосредоточена на раннем этапе детского чтения (от 4-х до 10 лет). Вот почему её художественные образы, мемуарные свидетельства и размышления подтверждают и уточняют положения, содержащиеся в статьях, письмах и ответах на анкету.

Несколько иной характер носит открытое письмо «Детям», написанное зимой 1937-1938 года и предназначенное для детского журнала на русском языке. Оно, судя по советам этикетного и этического свойства, адресовано как 6-летним, так и 15-летним. Отсюда и ряд разнообразных определений: «милые дети», «люди или нелюди», «особая порода, ещё поддающаяся воздействию» [7, 646]. Литературная отсылка только одна, но показательная, – к определению романтизма, которое дал Жуковский. Очевидна и настойчивое желание внушить ребёнку-читателю мысль о важности нравственного самоопределении и самоуважения. Если бы в письмо оказалась включена рекомендация по детскому чтению, она в соответствии с доводами, приводимыми в этой эпистолярной статье, выглядела бы так: читать можно и немодную литературу, главное, чтобы она была благородной по содержанию и пробуждала бы ответные благородные чувства.

Обобщая сделанные наблюдения, обозначим наиболее часто встречающиеся и самые характерные для Цветаевой суждения и оценки, образующие её концепцию детской литературы. Согласно цветаевской точке зрения,

– детская литература по темам и языку не должна быть резко дистанцирована от взрослой, но в ней должны преобладать волшебные, таинственные (однако не абсурдно-фантастические) ситуации и героические образы;

– ведущими жанрами в прозе являются сказка или легендарно-историческое повествование, в поэзии – стихотворение-сценка, рассказ, монолог от лица животного;

– произведения должны быть реалистичны, динамичны по сюжету, диалогичны, забавны для самого маленького читателя, безупречны по художественным качествам и нравственны;

– литература для дошкольного и младшего школьного возраста требует наглядности образов; должна быть хорошо иллюстрирована;

– главные качества, которые детская литература воспитывает в ребёнке: доброта, умение сострадать и сопереживать;

– авторы детских книг, родители и педагоги, уважая выбор и интересы ребёнка-читателя, не должны допускать тематическое или идеологическое сужение этого выбора и ограничивать свободную реакцию на прочитанное.

Данная концепция в условиях эмиграции и по возвращении Цветаевой в СССР в 1939 году поддержана не была, однако она предвосхитила идейно-художественные особенности многих произведений русской художественной литературы для детей, наблюдения и советы, адресованные детским авторам К.И. Чуковским, а также те характеристики детской литературы, которые вошли в справочные и научно-методические пособия, в том числе и современные.

Литература:

1. Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7-ми томах. М.: ЭЛЛИС ЛАК,1994.Т.1. Далее ссылки на это издание даются без фамилии автора, с указанием тома и страницы.

ЛЮДМИЛА ЕГОРОВА

КНИГА О Б. ПАСТЕРНАКЕ И СЁСТРАХ ЦВЕТАЕВЫХ

(Айдинян С.А. «Воспоминания о Борисе Пастернаке» Анастасии Цветаевой, Марина Цветаева, А.М. Горький; Цветаева А.И. «Воспоминания о Борисе Пастернаке». – Москва: Серебряные нити, 2022. – 90 с.)

Рецензия на книгу, в которой впервые опубликованы «Воспоминания о Борисе Пастернаке» А.И. Цветаевой, представленные С.А. Айдиняном. Воспоминания свидетельствуют об А.И. Цветаевой как блестящем мастере мемуарного жанра, ценны для понимания личности и творчества Б.Л. Пастернака, истории эпохи и ярчайших фигур времени.

Станислав Артурович Айдинян (род. в 1958 г. в Москве) с 1984 по 1993 г. был литературным редактором и секретарём Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993). Позднее он стал составителем, автором вступительных статей к её книгам. В рецензируемом издании Айдинян впервые опубликовал (по авторизованной машинописи) очерк А.И. Цветаевой «Воспоминания о Борисе Пастернаке», предварив его своим рассказом об истории написания; о взаимоотношениях Пастернака и Марины Цветаевой; о влюблённостях Пастернака (Ида Высоцкая, Елена Виноград) и его избранницах; о переписке Пастернака, Горького, А. Цветаевой; о возможности соотнесения трагической гибели М. Цветаевой и её перевода из ляшского поэта Ондры Лысогорского «Баллада о кривой хате».

О Пастернаке А.И. Цветаеву просили написать друзья, и она писала, дописывала, отдавала рукописный текст в машинопись, снова правила. С Айдиняном она делилась, что Борис «ей не даётся»: «Как трудно писать о Пастернаке: он как вода уходит из рук…» (с. 17; написание оставляю в соответствии с книгой). К тому времени уже были готовы мемуарные очерки о Павле Антокольском, Иване Рукавишникове, Пантелеймоне Романове, Аделаиде и Евгении Герцык, Мариэтте Шагинян, Ольге Руновой-Мещерской. Опубликованные в данной книге воспоминания А.И. Цветаева начала в Коктебеле, в Доме творчества Литфонда, в предотъездную ночь на 22 октября 1983 г., продолжила в поезде Феодосия – Москва. Она «только что переболела пневмонией» (с. 65), и, судя по качеству повествования, писалось великолепно. Ремарки в начале рассказа позволяют нам следить за процессом:

8 утра, тихо. Увы, зазвенел будильник!.. Но спутницу не разбудил. Продолжу. Хоть немного ещё. Точнее – прерву то, начну другое (с. 66).

…Проехали Курск. До Москвы больше, чем восемь часов. Осень. Рано темнеет. Надо успеть хоть как-нибудь закончить, когда зажгут свет (неужели я всё по-старому думаю – «зажгут» памятуя, что свет – свечи и керосиновые лампы зажигали), когда он зажжётся, будет уже близиться Москва, начнут собирать разложенные вещи… Надо, пока можно, собрать себя (с. 69).

Мы имеем дело с *эссеистическими* воспоминаниями, и Цветаева акцентирует «моё чувство»: «Я пишу воспоминания о Борисе. И о моём чувстве видеть его в третий раз в новом для меня окружении» (с. 83). В этом плане любопытно сначала прочесть именно Цветаеву, а затем – Айдиняна, чтобы осознать, что и (предположительно) почему из рассказанного ему и другим Анастасия Ивановна оставила за текстом данных воспоминаний.

Как свидетельствует автор, впервые о Пастернаке она услышала от Марины в 1921 г. Встретились, когда Анастасии было 29, Пастернаку – 33. Она испытала восхищение, и его образ с тех был «прочен»: ей «*уже* хотелось его водворить на страницу» (с. 65). Они много общались в 1920-е, когда Пастернак жил близ Музея изящных искусств, где Анастасия работала в библиотеке музея. Арест Цветаевой в 1937 г. прервал общение, но не дружбу, не помощь Пастернака. Последний раз увиделись 29 июня 1959 г. в Москве. Анастасии Ивановне было 65. В следующий раз она приедет в Переделкино 31 мая 1960 г. – проститься (Пастернак умер 30 мая).

Ассоциативный образ ярок и экспрессивен:

В комнату вбегает собака, – скажем, ирландский сеттер. Свободный, счастливый бег тёплого радостного существа. Вмиг ко всем – всех – кого ткнуть носом, кого в нос лизнуть, доброй пастью затронуть, одного, другого – обнюхать, всех вместе – учуяв и полюбив в сумасшедшей собачьей спешке… Так входил в те дни (60 лет назад) в помещенье, где люди – Борис. Всех вмиг восприняв, каждому радуясь, одного обняв, другому кивнув, третьему сжав руку, смеясь, продвигался по комнате. И как же было людям от Бориса оглушительно ново, качественно различно от того, что было в комнате до них – до собаки и до человека…

И, сразу, от предельно вольного «с размаху» собаки и человека вбегания – входа в комнату – в захлёб застенчивости как у собаки – отвод морды от взгляда, в Борисе – отвод глаз, в миг замучась собственной простотой – о непростоту всех (с. 65-66).

А.И. Цветаева знала близких Борису Леонидовичу и запечатлела свои ощущения от каждой из его избранниц. Начиная рассказ о первой жене Пастернака Евгении Лурье, автор отмечает, что тема эта нелёгкая:

Знала ли я тогда, что она была художница, ученица, говорили, Фалька? В их доме я не видела её картин, ни кистей, ни мольберта. О живописи бесед не помню.

Сама Женя напоминала натуру Росетти, может быть и Ботичелли – довольно узкое личико, грациозной линией очерченное, переходившее в густоту, в тёмную гущу кверху аккуратно зачёсанных от ушей к вискам волос, волнистую и в полном порядке живую, венчавшую личико её чуть надменной короной, но не хочется так сказать, потому что это слово банально, а в Жене не было ни тени банальности, она вся была грациозно изысканна, не похожа ни на одну голову женскую из окружающих. Но и упорядоченно-строг, прихотлив был абрис этой головки и в густоте, поднятой над ушами и лбом, таилось своеволие, превосходство и – реющая тоска (с. 69).

Анастасия Ивановна даёт подробное описание «таинственности этой души» (с. 69), ибо с первой семьёй Пастернака она была связана много лет.

У Пастернака и Зинаиды Нейгауз она бывала реже и только до 1937 г. (до ареста). Запечатлённое в воспоминаниях ощущение – счастье:

И я была счастлива за Бориса. В его жизнь вошло то, что могло только стихами излиться. Мы знаем эти стихи. В них такое отдохновение, такой восторг обладания, такое упоение другим существом, такое в нём растворение в этой зрелой женственности, всё собою гасившей в этом зное возраста, властной победности каждого мига зининого дыхания, – а что делать с дыханием? Только вдохнуть его, удвоив своё, теряя и потеряв рассужденье. Что думать о добре и зле, когда ты счастлив, когда получаемое превосходит далеко ожидаемое, когда ты внутри шара, и нет из него окон на мир, на – «вещь в себе», – которой вокруг всё подвластно… – вот что встретило меня на пороге в стоящей на нём Зине, улыбнувшейся мне как Кассандра, протянувшей мне руку – и я переступила этот новый Борисов порог… (с. 73)

22 года лагеря, ссылки они не виделись. В 1958 г. А.И. Цветаева (она жила тогда в Павлодаре у сына) получила письмо от Пастернака с упоминанием о той, кому он, по его словам, «бесконечно многим обязан в течение пятнадцати лет (с. 74). Там у неё, Ольги Всеволодовны Ивинской, они и встретились в Москве 29 июня 1959 г. (кроме них были Ариадна Эфрон, внучка Анастасии Маргарита Трухачёва, приглашённая Анастасией Юдифь Каган и дочь Ольги Ирина):

Во все глаза смотрела я на Бориса и его подругу, помня его первую и вторую жену, его *– с ними. Совсем другая картина была тут: не томление первого брака, не восторг второго – внезапно переменившейся судьбы, не прелесть девичества первой и не зной красоты – второй. Тут мы, приехавшие в этот его третий, такой долгий брак, заглянули в этот вечер моей встречи с ним – в нечто совсем иное: в давнее тесное общение жизней этих двух людей, знающих друг друга досконально. Тут была многолетняя сросшесть (о которой он и писал мне за год до того), ч е л о в е ч е с к а я близость их* (с. 81).

Осуждать Ивинскую Цветаева, умудрённая свидетельница 89 лет от роду, не хотела:

Мне думается, что каждый из нас должен бы, оценивая подобное, прежде всего внимательней отнестись к себе самому – так ли всё в нём, как должно… Меньше нужно заниматься разбором жизни других, их осуждая (с. 83).

Она, так много пережившая, воспринимала всё происходившее с бесконечно терпением и пониманием:

Я думаю, что жизнь Пастернака была мучением с утра до ночи, год за годом, с рождения по смерть. Непрестанные приливы его сил, их каскады. Его радостное, радующееся, восхищённое, восхищающее существо, и, одновременно, – сумеречность ежечасных мук несдающегося понимания, что ты вполне одинок. Каскадами, как сказано, его любовь к каждому, его счастье общения, гениальная близость к человеку, упоение касания к сердцу, к душе, к мысли – разбивание себя о даль самого близкого, о вековечное своё одиночество. И всё поглощала стопудовая его задумчивость надо всем внутри и вокруг. И ещё – быть поэтом! И ещё сыном, братом, мужем, отцом, другом стольких! (с. 66).

В статье Айдинян предоставляет ценные сведения из рассказанного ему Анастасией Ивановной – дорисовывает контекст происходившего. Любопытно наблюдать (и важно понимать), что осталось фоном – не вошло в данные воспоминания. Мы узнаем, например, о послании Пастернака в лагерь своего перевода шекспировского «Гамлета». А.И. Цветаева тогда «просмотрела на точность весь перевод» и, думается, во многом предварила замечания Пастернаку М.М. Морозова:

Где-то у меня даже есть эта книга. Она вся испещрена пометками, обозначающими места, которые Пастернак перепел неточно. Я ему об этом написала и всё замеченное в письме перечислила. Он ответил, что не стремился к абсолютной точности перевода, а хотел передать эпоху… Он прекрасно знал языки, но давал себе, как поэту, волю… (с. 6).

Сама А.И. Цветаева в 1937 г. задумала перевести на английский язык книгу стихов Лермонтова 1841 г. Перевела три стихотворения – потом был арест, лагерь, «кошмар кухонной работы – головой вниз, в котёл (я мыла котлы), рука у меня правая не разгибалась, висела…» (с. 7).

Цветаева запечатлела своё отношение к «Доктору Живаго» («Борис, у вас по страницам ходят бледные тени и говорят вашими словами!») и – «огорчение» Пастернака (с. 74); собственное ощущение, что никогда уже не сможет писать, и его ответ – «письмо *утешенья* – о том, что такое, по его опыту, процесс творчества…» (с. 74). Сбылось его предсказание, что «в своём наедине с собой творчество продолжится…». У сына в Павлодаре весной 1957 г. она начала первый том «Воспоминаний», «точно в первый раз взяв перо»:

Перо следует внутреннему приказу, а приказ идёт из тех сфер, где способностям человека сопутствует чьё-то доброжелательство, если только нет в человеке самоувлечения, (если самоувлечённость есть, тогда человек пропадает всё глубже с каждой строкой) (с. 75).

Прочитав начатое, Пастернак «читал и плакал», и в письме от 22 сентября 1958 г. восклицал: «Ася, душечка, браво, браво!», просил «писать так дальше»: «Каким языком сердца всё это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней!» (с. 75).

Рассказал Айдинян и о предыстории тяжёлой для А.И. Цветаевой темы, поднятой в заключительной части воспоминаний и касающейся Горького, Пастернака, её и Марины: «…правда требует нелицеприятия. Мой долг рассказать – как было» (с. 86). Три страницы текста Анастасии Ивановны – восемнадцать страниц углубления в соответствующие проблемы Айдиняна. От него мы узнаем об обстоятельствах поездки А.И. Цветаевой и Бориса Зубакина в Сорренто к Горькому в 1927 г.; о раздражении Горького, сменившем его очарование Зубакиным; об увлечённости Горького А.И. Цветаевой и – разочаровании; о переписке и подводных течениях тех непростых отношений с Горьким и Пастернаком, о которых с такой болью, беря вину на себя, писала Анастасия Ивановна.

Искренняя благодарность С.А. Айдиняну за сохранение памяти. Приехав в Вологду в ноябре 2022 г., он поделился с собравшимися в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» тем, что видел и знал. Подготовленные им к печати «Воспоминания о Борисе Пастернаке» свидетельствуют об А.И. Цветаевой как блестящем мастере мемуарного жанра.

«СЕТЧАТКА»

АНТОНИНА БЕЛОВА

ОБРАЗ БОГА В ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА

В стиле Бог показывается из своего творения,
Поэт даёт самого себя, но тайного, неизвестного ему самому…
Н. Гумилёв

Картина мира поэта, её построение – ключ к постижению поэтического мировоззрения художника. Поэзия, как и проза, по словам А.А. Потебни, есть прежде всего и главным образом известный способ мышления и познания (Потебня 1905: 97). Понимая искусство как познание, А.А. Потебня отмечает, что язык во всём своём объёме и каждое отдельное слово соответствует искусству, притом не только по своим стихиям, но и по способу их соединения (Потебня 1990: 26-27). Другой исследователь языка поэзии считает: «Своеобразие речи поэта проистекает от своеобразия мысли (взгляда на мир, душевного строя)» (Ковтунова 2003:13).

Поэтическое мировоззрение художника, прежде всего, отражено в его образной системе. В этой статье речь пойдёт о таком аспекте мировоззрения поэта, как отношения *Бог – человек* (образ Бога в поэтических текстах Гумилёва). Эти отношения раскрываются через такие семантические оппозиции, как *Бог – человек, Бог – поэт, жизнь – смерть, земля – небо, земля – рай.*

Религиозное мировоззрение Гумилёва формируется в раннем детстве, о чём свидетельствуют воспоминания близких родственников *(см. Николай Гумилёв в воспоминаниях современников 1989 – далее Н.Г. 1989, Лукницкая 1990, Высотский 2004, а также см. об этом – Зобнин 2000, Полушин 2006).* Он воспитывался в строгих патриархальных русских традициях, никогда не колебался в вере, хотя и испытал в юные годы увлечение оккультными науками, пережил серьёзный духовный кризис в 1907-1908 годы. Сборник этого периода «Романтические цветы» ярко отражает тяжёлое душевное состояние его автора. В «Чужом небе» всё ещё слышны сомнения *(«Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец; Создав, навсегда уступил меня року Создатель; Я продан! Я больше не Божий! Ушел продавец, И с явной насмешкой глядит на меня покупатель)*, но поэт уже понимает всю ответственность перед Богом за свои слова: *«И если я волей себе покоряю людей, И если слетает ко мне по ночам вдохновенье, И если я ведаю тайны – поэт, чародей, Властитель вселенной, – тем будет страшнее паденье».* Наконец в «Балладе» («Влюблённые, чья грусть как облака…») поэт говорит о своём внутреннем преображении, он обретает *родину святую (Вот я нашёл, и песнь моя легка)*, он увидел *сиянье розового рая*, от которого *пылает лживый храм, Где я теням молился и словам.* Очень знаменательно, что вместе с внутренними переменами в герое изменяется окружающий мир, по-новому высветляя своё божественное начало: *В моей стране спокойная река, В полях и рощах много сладкой снеди, Там аист ловит змей у тростника И в полдень, пьяны запахом камеди, Кувыркаются рыжие медведи. И в юном мире юноша Адам, Я улыбаюсь птицам и плодам, И знаю я, что вечером, играя, Пройдёт Христос-младенец по водам, Блеснет сиянье розового рая.* «Шаг за шагом, ощупью, осторожно, уже не советуясь с Брюсовым, а вполне самостоятельно, он спускался сквозь туманы на грешную землю» – пишет А.И. Павловский (Гумилёв 2000:12). Тема Бога проходит через всё творчество поэта, становясь одной из самых важных в конце жизненного срока. Ключевыми для понимания процесса его духовного роста, важными для осознания Гумилёвым себя как художника милостью Божией являются произведения, проникнутые божественной идеей. Укажем основной ряд этих стихотворений в хронологической последовательности: «Пророки», «Крест», «Выбор», «Христос», «Ворота рая», «Заводи», «Отрывок», «Вечное», «Я верил, я думал…», «Баллада», поэма «Блудный сын», «Война», «Пятистопные ямбы», «Солнце духа», «Счастье», «Рай», «Андрей Рублёв», «Память», «Слово», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай».

По мировосприятию и отражению объективного мира, бытия, в своём творчестве Н. Гумилёв – планетарный поэт. Его идиостиль отличает не только многообразие земного бытия с широчайшей пространственной протяженностью, но и глубокое проникновение во все эти формы бытия, восприятие действительности (и русской, и зарубежной) как естественной, неотъемлемой части жизни. Уже в первом сборнике «Путь конквистадоров» (позднее отвергнутом самим автором) мы знакомимся со стихотворением «Credo», где поэт утверждает: *«Мне всё открыто в этом мире – И ночи тень, и солнца свет, И в торжествующем эфире Мерцанье ласковых планет»*.

Для Гумилёва весьма важна тварность бытия, мира, то есть его божественное начало, в том числе природы. Не случайно природа включена в такой метафорически сложный образ у поэта, как *храм*: *Природа будет храм*. В знаменитых «Капитанах» море и океан, морская стихия названы *Зелёным Храмом*. В стихотворении «Природа» выстраиваются иные отношения, автор протестует против того, что природа лишь «одежда» земли: *«Земля, к чему шутить со мною: Одежды нищенские сбрось И стань, как ты и есть, звездою, Огнём пронизанной насквозь!»*. Для него характерно слияние с землёю, приятие всего её многообразия, хотя он всегда помнит, что здесь человек «на чужбине»: *«Я знаю, что деревьям, а не нам Дано величье совершенной жизни; На ласковой земле, сестре звездам, Мы – на чужбине, а они – в отчизне… Есть Моисеи посреди дубов, Марии между пальм… Их души, верно, Друг другу посылают тихий зов С водой, струящейся во тьме безмерной»* («Деревья»). В другом, более позднем стихотворении образ реальной, земной жизни предстаёт как *сон*: *«Вижу свет на горе Фаворе И безумно тоскую я, Что взлюбил и сушу, и море, Весь дремучий сон бытия»*. Тоска свидетельствует о полном смирении, понимании и осознании своей греховности, как и должно быть свойственно православному христианину, а отсюда и жажда покаяния.

Обратим внимание на раннее стихотворение «Иногда я бываю печален» из первой книги, в нём через смутные символы романтического сознания уже вполне отчётливо виден реальный «рисунок» будущей трагической судьбы поэта, который выступает здесь как пророк. Содержание стихотворения исполнено сокровенного смысла; несмотря на то, что поэту только 19 лет, он говорит о своём земном предназначении. Поэт, получая божественный дар, не имеет права зарыть свой талант, он должен открыть и зажечь своё сердце навстречу *безмолвной и жгучей печали*, он должен быть светом, преображая земной мир, его *мглу*. Стихотворение вызывает ассоциации с пушкинским «Пророком», с его высокой библейской символикой и основой. Композиция текста стихотворения построена на семантических контрастах: первая часть, состоящая из трёх строф, – внутренняя речь лирического героя. Она передаёт душевные страдания одинокого, покинутого человека, сомневающегося как в своём жизненном пути, так и высоком предназначении человеческого существования: *«Не навек ли сгорела, ослепла Вековая, Святая Мечта?»*. В этой части юный автор говорит о своих сомнениях, о разрушенных мечтах. Он – *Созидающий в груде развалин Старых храмов – грядущий чертог* (то есть надо понимать –обитель на небе, ради которой и даётся человеку земной путь). Вековая святая мечта – это, думается, замысел Божий о человеке как венце творения. Ему, изгнанному из рая, (кстати, отметим значимость для гумилёвской поэтики образа рая) в земной жизни из века в век приходится делать выбор между добром и злом (*борьба мировая*). Вторая половина стихотворения – голос с небес, *Чей-то голос порывисто-страстный*. Это голос неба, звучащий, как ясно из эпитетов, призывно и требовательно в отличие от шепота бескровных уст героя. Таким образом возникает вначале чисто внешнее противопоставление земли и неба как разделённой тверди, затем оно семантически углубляется, так как поэт призван небом стать *Звездою Обетной, Возвещающей близость зари*. Человек (покинутый бог, сомневающийся в своем божественном предназначении) противопоставляется Богу, Творцу с его Вековой Святой Мечтой, сотворившему человека по своему образу и подобию. Небесный *голос в высоте голубой* поэт определяет как *чей-то*, но по контексту понятно, что это говорит посланец Божий, может быть, ангел. Не случайно поэтому вторая часть, начинающаяся словами небесного посланца, открывается лексемой *брат*: *Брат усталый и бледный, трудися!* Обращение ангела указывает на христианский смысл содержания, на жертвенный путь любого человека во имя любви к Богу и ближнему, тем более поэта. В небесном голосе звучат императивные призывы к герою стихотворения в каждой последующей строфе: *Брат усталый и бледный, трудися! Принеси себя в жертву земле; Дни безмолвной и жгучей печали В своё мощное сердце возьми; Жертвой будь голубой, предрассветной… В тёмных безднах беззвучно сгори…* Следовательно, земля для поэта – чистилище… труд – *трудися!*

Итак, образы земли и неба (земного и божественного, тленного и вечного) контрастны, ибо контрастность образов возникает из противоречий самой жизни. Прежде всего это подтверждается в тексте противоположностью семантических полей *земля – небо*. Образ земли и то, что присутствует на ней, представлено лексемами с негативным значением: герой *(печален, забытый, покинутый, бескровные уста, брат усталый и бледный)*, земля *(груда развалин старых храмов, пепел, борьба мировая, полуночная мгла, больные люди, дни безмолвной и жгучей печали, тёмные бездны, сгореть, ослепнуть)*. Небесный лексический ряд представлен, напротив, словами с положительной коннотацией: *вековая, святая мечта, высота голубая, голос порывисто-страстный, Звезда Обетная, близость зари*; важно также для понимания указать и на преображённый мир: *горные выси загорелись, яркие дали развернуть, жертва голубая, предрассветная*. Единственное, что имеет положительное

значение среди земного мира в данном тексте и может противостоять этому миру, – это сердце поэта. Его образ словно «насыщен» живой энергией эпитета *мощное*: *Дни безмолвной и жгучей печали В своё мощное сердце возьми.* Этот образ открытого сердца, возлюбившего Бога, является сквозным в гумилёвской поэтике. Через сердце, открытое Богу, поэт исполняет Его волю, и так же сердцем он постигает божественный промысел, поэтому именно сердце является связующим звеном между небом и землёй, вечно противопоставленными началами бытия.

Николай Оцуп, друг и один из первых исследователей творчества Гумилёва, верно сказал о нём: «Это поэт глубоко русский, не менее национальный поэт, чем был Блок» (Цит. по изд. НГ 1989:195). И вместе с тем он называет необъяснимым возвращение Гумилёва в постреволюционную Россию. Рассуждая об этом, критик задается вопросом: «Отчего он не остался в Лондоне? Он, открыто говоривший, что предан идее монархии, он, любивший мир, экзотику, свободу, мореплаватель, охотник, почему он вернулся в „край глухой и грешный“, как назвала Россию Анна Ахматова?». Ответ на это есть у самого поэта, он ответил значительно раньше, ещё в 1914 году, в стихотворении «Наступление», присланном Ахматовой осенью того же года прямо с фронта: *Словно молоты громовые Или воды гневных морей, Золотое сердце России Мерно бьётся в груди моей.*

Время Первой мировой войны совпадает с творческой зрелостью Н. Гумилёва. Попав на фронт, он реализует свою мечту поэта-воина; война, как и любовь, становится его судьбою. И он принимает эту судьбу, предначертанную ему свыше. Об этом прекрасно сказано в «Пятистопных ямбах»: *И в рёве человеческой толпы, В гуденье проезжающих орудий, В немолчном зове боевой трубы Я вдруг расслышал песнь моей судьбы И побежал, куда бежали люди, Покорно повторяя буди, буди.* Принимает жизнь во всем её многообразии: Петербург, путешествия, Первая мировая война, фронт, любовь и печаль, а затем революция и гражданская война. Сама жизнь вручает ему неподдельный материал для воплощения. Освобождаясь от ученичества, поэт раскрывает свой талант, осознавая в себе Дар Божий и восходя к мастерству. Восхождение это длилось 15 лет (время между первой и последней книгой, вышедшей уже после гибели). Поэтическое мировоззрение Гумилёва основывается именно на этом жертвенном служении, служении своему божественному Дару, раскрытию в себе, в своём сердце божественного огня. Подтверждение этой мысли находим у современника поэта, свидетельствующего о том, что Гумилёв «…любил, всем существом любил поэзию и верил, что нужно помочь каждому человеку стихами облегчать своё недоумение, когда спросит он себя: зачем я живу? Для Гумилёва стихи были формой религиозного служения» (НГ 1989:177). Другой современник поэта писал следующее: «И его религия (что представляет редкий случай в России) – это бесхитростная, абсолютная вера. Его последние книги наполнены этим духом» (Святополк-Мирский 2002:56).

Духовную силу военных стихов Гумилёва отметили уже при жизни поэта. Так, Б. Эйхенбаум первым написал в феврале 1916 г. в «Русской мысли» о том, что его «военные стихи приняли вид псалмов об „огнезарном бое“» (НГ 1989:294). В военной теме он, на наш взгляд, ближе всего к Богу, так как на собственном опыте постиг цену жизни, подвигу, военной славе и, наконец, победе, находясь на передней линии огня в постоянной смертельной опасности: *Победа, слава, подвиг – бледные Слова, затерянные ныне, Гремят в душе, как громы медные, Как голос Господа в пустыне.* В своих очерках «Записки кавалериста», написанных ярким, живым, лёгким языком, он не только передаёт напряжённое военное время и связанные с ним фронтовые впечатления, но и раскрывает свой взгляд на войну: «Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения… И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул „ура“, с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня… Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот, и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения, – каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца… и свой собственный удачный выстрел…» (Гумилёв 2001:154-155).

В «Наступлении» Гумилёв не только передаёт живую динамику конкретного боя, но восходит к библейскому пониманию войны, исхода сражения, когда победа достигается не количеством, а по промыслу Бога, по молитвенному слову. Поэтому и не нужно бойцам яства земного: *Но не надо яства земного В этот страшный и светлый час, Оттого что Господне слово Лучше хлеба питает нас.* Эта мысль о небесной помощи вызывает ассоциативную связь с образами блоковского цикла «На поле Куликовом»: *В степном дыму блеснет святое знамя И ханской сабли сталь… И когда наутро тучей чёрной Двинулась орда, Был в щите Твой лик нерукотворный Светел навсегда.* Известно, что Гумилёв с фронта прислал Ахматовой фотографию, на которой были написаны блоковские строки: *Помяни ж за раннею обедней Мила друга, светлая жена!* Ахматова говорила, что «у Николая Степановича есть период и „русских“ стихов – период, когда он полюбил Россию, говоря о ней так, как француз о старой Франции. Это – стихи „от жизни“, пребывание на войне дало Николаю Степановичу понимание России – Руси.

Зачатки такого „русского Гумилёва“ были раньше – например, военные стихи „Колчана“, в которых сквозит одна сторона только – православие, но в которых ещё нет этих тем» (Лукницкая:164-165).

Стихотворение «Война» написано после «Наступления» и по своему содержанию является художественным синтезом понятия «война». В семантике текста можно выделить несколько планов: это война, изображаемая как мирный труд; Бог, благословляющий воинов на ратный подвиг, и наконец победа – итог войны. Композиционно в нём четыре смысловых части.

Первые две строфы – первая часть, это поле битвы, оно словно перед нами, поэт даёт картину в конкретных и запоминающихся, неподдельных деталях. В этой части наблюдаем сгущение тропов, создающих не только зрительное представление, но и звуковое. Стихотворение резко открывается сравнением *Как собака на цепи тяжёлой*, которое чередуется с глагольной метафорой *тявкает за лесом пулемёт* и метафорой-сравнением *И жужжат шрапнели, словно пчёлы*. Завершает строфу метафора-загадка *Собирая ярко-красный мед* (кровь). Во второй строфе сравнение *как будто пенье Трудный день окончивших жнецов* сменяет уподобление *это – мирное селенье В самый благостный из вечеров*. Кстати, отметим общую особенность сравнений: война, её атрибуты сравниваются с мирной жизнью, с трудом хлебопашца.

Во второй части (третья строфа) утверждается светлое и святое дело войны: *И воистину светло и свято Дело величавое войны*. Обратим внимание на важный звукообраз, создающийся за счёт повторов: наречие *воистину*, находясь в начале строки, словно отзывается в предикативных прилагательных *светло и свято*, что и создаёт звуковой образ, который поддерживается аллитерирующим *В* следующего стиха: *вст – свт – свт – в – в*. Поэт, доказывая святость и величавость войны, использует аллегорический образ Небесных сил – *Серафимы, ясны и крылаты, За плечами воинов видны*. Именно *воинов* (прямое значение), это ещё и указание на военные стяги с изображением святых ликов. Эта строфа является семантическим узлом стихотворения, так как в ней «вступает» тема Бога, объясняющая святость войны и смысл победы воина-христианина.

Третья часть текста (четвёртая и пятая строфы) – представляет собой развёрнутую метафору-сравнение, где тема Бога становится центральной, так как исход битвы зависит от его воли. По сути эта часть не что иное, как молитва пред Господом за *Тружеников, медленно идущих На полях, омоченных в крови*. Поэт молит: *Ныне, Господи, благослови*. И далее объясняя причину своей мольбы, он сравнивает воинов с теми, кто пашет землю, и с теми, кто посвящает жизнь Богу, – с монахами, кто уходит от мирской жизни в монастырь. В связи с этим укажем на то, что не случайно в окончательной редакции «Пятистопных ямбов» (1915) в последней строфе возникает образ монастыря, вызывающий ассоциации с подобными образами у Пушкина и Тютчева (Белова 2003).

В четвёртой части (последняя строфа), начинающейся с противительного союза *но*, содержится важный вывод о христианском смысле победы. В душе поэта по-прежнему звучит молитва (*…о Господи, … даруй*), но вся эта строфа по своему значению противопоставляется предыдущему тексту. Тема Бога центральной части стихотворения (*Серафимы…*) звучит здесь в полную силу: *Но тому, о Господи, и силы И победы царский час даруй, Кто поверженному скажет: «Милый, Вот, прими мой братский поцелуй!»*. Поэт вкладывает православный смысл в понимание победы и поэтому обращается к Богу о даровании *победы царского часа* тому, кто милостив и во враге своём видит брата и его бессмертную душу. «Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут» (Мф. 5.7). «Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших; благотворите ненавидящим вас; благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6.27-28). У Гумилёва было религиозное восприятие войны (помнил о заповеди – не убий!), в дневнике Лукницкого читаем: «Как бы свято ни было чувство долга, Гумилёв – честный, храбрый солдат – боялся войны, боялся греха убийства» (Лукницкая: 179).

Отметим также, что сравнение войны с мирной жизнью строится на контрастности лексико-семантических рядов *война – мирный труд*. Во всём тексте всего лишь восемь слов военной тематики: *пулемёт, шрапнели, война (Дело величавое войны), воины, кровь (На полях, омоченных в крови), подвиг, победа, поверженный*. Другой ряд, связанный с домом, сельской мирной жизнью, значительно шире: *собака, пчёлы, мёд, пенье … жнецов, мирное селенье в самый благостный из вечеров, дело, труженики, сеющие, жнущие, соха*.

Завершая статью, необходимо сказать, что Гумилёва глубоко интересовал вопрос о сложной природе человека, вопрос о душе и теле, о связи духовного и материального в человеческом существе, их вечной борьбе. Этому посвящены многие стихотворения и отдельный цикл «Душа и тело». Кратко остановимся на двух: «Вечное» и «В мой самый лучший, светлый день…» из цикла «Счастье». В первом он выражает свою мечту и надежду на встречу с Богом, на то, что он достойно пройдёт земной путь, *дорогу к солнцу от червя: Смотрю в века, живу в минутах, Но жду Субботы из Суббот, Конца тревогам и удачам, Слепым блужданиям души… О день, когда я буду зрячим И странно знающим, спеши!*

Эти стихи и последующие поражают своей духовной глубиной и зрелостью, они более чем открыты. Невольно вспоминаются пушкинские слова о том, что «искренность драгоценна в поэте». Не случайно некоторые из современников Гумилёва, выделяя его среди других, подчеркивали его особенность как пленительной личности. Все романтические маски давно сброшены, душа обнажена и открыта Богу, она жаждет искупленья:

В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,
Мне вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал везде.

Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

Литература:
1. Белова А.В. «Туда взлетая, звук немеет…» – ж. «Русская речь», 2003 №6.
2. Высотский О.Н. Николай Гумилёв глазами сына. – М., 2004.
3. Гумилёв Н. Собр. соч.: В 4 т. – М., 1991.
4. Гумилёв Н. Стихотворения и поэмы. – СПб., 2000.
5. Гумилёв Н. Проза поэта. – М., 2001.
6. Зобнин Ю.В. Н. Гумилёв – поэт Православия. – СПб., 2000.
7. Ковтунова И.И. Очерки по языку русских поэтов. – М., 2003.
8. Лукницкая В. Николай Гумилёв. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. – Л., 1990.
9. Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. – М., 1990.
10. Полушин В.Л. Николай Гумилёв: Жизнь расстрелянного поэта. – М., 2006.
11. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905.
12. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М., 1990.
13. Святополк-Мирский Д.П. Поэты и Россия. – СПб., 2002.

«КАМЕРА-ОБСКУРА»

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

О ПОЗДНИХ ПОВЕСТЯХ ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА И МОВИЗМЕ

«Хуторок в степи», «Домик», «Каток», «Кубик» – уменьшительно, по-детски звучат названия катаевских повестей и рассказов. Сергей Баруздин в сборнике литературных заметок о писателях-современниках, вышедшем в 1978 году, размышляет как раз о том, насколько Валентин Катаев писатель детский. Ссылаясь на предисловие Ираклия Андроникова к «детскому» изданию совсем не детской книга Катаева «Трава забвения», Баруздин приходит к выводу, что книги писателя адресованы «всем, без различия возрастам из этого следует, что представление о Катаеве как о чисто детском писателе грешит явной неполнотой. Он гораздо сложнее» (см. Сергей Баруздин «Люди и книги», «Литературные заметки», М., «Сов. Писатель», 1978).

В этом нетрудно убедиться. Достаточно перелистать катаевские повести 1960-х годов, чтобы больше никогда в этом не сомневаться! Повести, рождённые настроем на волну *филососко-мемуарной беллетризации* (здесь и далее подчёркнуто мной – С.А.) были прологом к прозвучавшему в 1977 году триумфальному для писателя созданию, они стали прологом к «Алмазному моему венцу» его воспоминаний, венцу, хранящему в своей драгоценной оправе грани и образы благороднейших талантов прозы и поэзии начала века.

Сплав вымысла с воспоминаниями автор охарактеризовал в «Алмазном моём венце венце» так: «Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю. Это свободный полёт моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти. В силу этого я избегаю подлинных имён, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведённые мною, я цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. Магический кристалл памяти более подходит для того жанра, который я выбрал, даже – могу сказать – изобрёл» (Валентин Катаев «Алмазный мой венец», «Новый мир», 1978, № 6, с. 44).

Катаев продолжает: «Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, мемуары, не лирический дневник…

Но что же? Не знаю.

Недаром же Тютчевым сказано, что „мысль изреченная есть ложь“. Да, это ложь. Но ложь ещё белее правдивая, чем сама правда. Правда, рождённая в таинственных извилинах механизма моего воображения! Что такое воображение с научной точки зрения, ещё никто не знает. Во всяком случае, ручаюсь, что всё здесь написанное чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия.

И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как всё равно мы не поймём друг друга» (там же, с. 44).

Эта длинная и тем не менее необходимая вам цитата из «Алмазкого моего венца» о самом «Алмазном… венце» заканчивается мистифитакторски. Что значит «чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия»? Неужели Катаев столь глубоко в своей «сердечной глубине» зарыл ключ к пониманию своих произведений, что читатель обретёт лишь «мысль изречённую», которая «есть ложь»? Это читателю не грозит. Ведь у Катаева, средь «мыслей изречённых», ложь, то есть вымысел, чередуется с большой художественной правдой. А соседство правды и вымысла в художественном произведении, как известно, допустимо и правомерно. На поверку оказывается, что «зарытую здесь собачку, возможно породы пудель» разгадать можно, поставив «Венец» в обратную перспективу, обратившись к произведениям, предшествующим 1975 году, когда «Венец» начал писаться, потому что именно в шестидесятых

годах Катаев начал писать свои, как он выразился о них, «не воспоминания, не мемуары, нелирические дневники», очень сходные по жанру с «Венцом». Л.И. Скорино, опытный исследователь творчества В.П. Катаева определяет его произведения 1960-х годов как новаторские, созданные в изобретённом автором жанре «лирико-документальной повести о времени и о себе». Начатки этого нового жанра появились, как считает исследователь, ещё в повести «Маленькая железная дверь в стене».

«Маленькая железная дверь в стене» написана в период 1960-1964 годов, параллельно ей писался «Святой колодец» 1962-1965 года, потом следует «Трава забвения» 1964-1967, далее, уже в 1970-х, не вошедший в 9-томное собрание сочинений – «Алмазный мой венец» 1975-1977. Параллельно отмеченным создавались и другие произведения, но мы, связанные целью нашего исследования, не будем их касаться.

Установив обратную перспективу от «Алмазного венца» к произведениям 1960-х годов, постараемся если не определить жанровую принадлежность того, что вышло из под загадочного пера Катаева, то во всяком случае попытаемся угадать основные черты творческого метода, сформировавшего этот неведомый жанр, не умещавшийся в определение «лирико-документальная повесть».

В «Святом колодце» находим такое откровение: «Моруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух измерениях – действительном и воображаемом. Кто хочет и того, и другого – терпят фиаско.

Я уверен, что Моруа ошибается! Фиаско терпит тот, кто живёт в каком-нибудь одном из этих миров, он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни.

Я всегда прежде жил в двух измерениях. Одно без другого было для меня немыслимо. Их разделение превращает искусство либо в абстракцию, либо в плоский протокол. Только слияние этих двух стихий может создать искусство поистине прекрасное. В этом, может быть, и заключается сущность мовизма» (В. Катаев. Собр. соч. в 9 томах, М., «Х.Л.», 1972, т. 9, с. 204. Здесь и далее цитаты по этому изданию).

Сплав «двух измерений» – действительного и воображаемого рождает родник творчества, из «взорванных, возвещённых ключей» которого можно наполнять реальностью и вымыслом не только «Святой колодец». Из их сплава, «стечения» рождён и «Венец».

Но почему слияние этих миров названо «мовизмом»? Что здесь подразумевается?

Катаев изредка включает в повести иностранные слова в русской транскрипции, никак не объясняя и не переводя их. Это свойственно многим образцам русской литературы со времён классицизма. Но включать новые понятия, причём понятия, расшифровывающиеся постепенно, перекочевывающие из повести в повесть, – это уже для нашей литературы нечто новое, и даже экспериментально-философское, не только литературное.

Есть упоминание о «мовизме» в «Траве забвения»: «Рогатые глаза. Глупо. Но мне всегда так хотелось. Может быть, в этом и есть суть мовизма – писать как хочется, ни с чем не считаясь» (там же, т. 9, с. 384).

В «Кубике» на с. 495 – «Мовизм это создание чего-то полуирреального, но грандиозного по замыслу, где возможно предварить душу, Психею явления самому его возникновению: «Может быть, это и есть один из главных законов мовизма - начертить бесшумный проект молнии» (там же, т. 9, с. 495).

Так что же такое, наконец, МОВИЗМ?

Вновь откроем следующий хронологически за «Святым колодцем» и «Травой забвения», «Кубик», прочтём в нём очередное авторское отступление: «Многие, особенно во Франции, считают Мопассана „мове“. Может быть, именно поэтому я его так люблю! Мовист! Кстати: рассуждая о женщинах старик Карамазов тонко заметил: „Не презирайте мовешек“ или „Не пренебрегайте мовешками“ – что-то в этом роде, уже не помню» (там же, т. 9, с. 478).

Обратим мимоходом внимание и на то, что здесь, как и в «Венце», Катаев цитирует «исключительно по памяти», тем самым утверждая в этом единство его «Венца» с более ранними повестями.

Значит, по Катаеву, живя в двух мирах «действительного и воображаемого», нужно ещё быть сокрушителем обыденного, приевшегося, как например, надоевших литературных норм, форм, стилей, по отношению к которым в своём творчестве надо быть «mauvais» – «мове», то есть, буквально, «плохим, скверным, злым» или, как сказал бы Ф. Достоевский, моветонным. Одним словом – быть моветонным – здесь это быть сокрушителем старого, пионером, новатором, каким был в своё время Ги де Мопассан, по отношению к консервативным моральным нормам французского общества XIX века.

Литературный приём, заключающийся в полном отрицании литературного приёма, это и есть мовизм – вот что пишет Катаев в отступлении, посвящённом праву писателя писать, не согласуясь с известными литературными приёмами, праву «сметь».

Основные объяснения нововведённого автором понятия «мовизм» – даются опять же в отступлениях, которые составляют важное звено стиля, писательской манеры Катаева, не изменяющего этой своей манере и в «Алмазном венце», к которому писатель поступательно идёт своим предшествующим творчеством.

Дробящие повествование в разной степени связанные меж собой отрезки, фрагменты, «моментальные характеризующие»; стилевые и мелодические катаевские «росчерки», эти отступления, вклиненные в дороги и тропинки многолинейного повествовательного изложения, исполняют разные функции. Порою – несут на себе роль хронологическую, порой – уносят нас неожиданно в иной исторический срез,

порой – напоминают что-то, создают настроение, порой – отражают настроение самого писателя в момент творчества и, кроме всего, выполняют важнейшую миссию – раскрывают личность самого писателя в развёрнутых, взаимоотражённых ипостасях переменчивых миров идей, реальностей и глобального философского осмысления мира.

Например «Кубик» начинается прямо с авторского отступления. С первых строк мы ощущаем обворожительную тайну детства, открывающую читателю психологический, фантазийно-игровой путь познания действительности маленьким человеком. Но мы насторожены и не поддаёмся авантюрно-приключенческому настрою, потому что картина детского восприятия жизни предварена диссонирующей с текстом вводной авторской фразой-отступлением:

«Неужели этот мальчик тоже я?».

Неужели и в этот раз это воспоминания, неужели и в этого героя вложено много своего сокровенного, почерпнутого из памяти детства? Видно, такова уж судьба писателя, по выражению Булата Окуджавы, «из собственной судьбы выдергивать по нитке». Наверно поэтому возникает ощущение грустного лиризма, которое дало критике основание определить своеобразие произведений Катаева как сочинений лирико-документальных с эпическими чертами (см. Л.И. Скорино «В.П. Катаев» в кн. «История русской советской литературы в 4-х томах», М., «Наука», 1968, с. 268-273).

«Неужели этот мальчик тоже я? Если и не вполне, то, во всяком случае, отчасти» – читаем очередное отступление на 3-ей странице повести «Кубик», – «Не исключено, что это всё тот же милый моему сердцу Пчёлкин, только совсем маленький, лет восьми» (В. Катаев. Собр. соч. т. 9, с. 451).

В этом отступлении – ключ к расшифровке лирического героя повести. Кто такой Пчёлкин? Чтобы это выяснить, снова придётся возвратиться к более ранней, чем «Кубик», «Траве забвения».

Здесь автор сначала выступает от своего лица, то есть, пользуясь терминологией литературоведа А.И. Беселия (см. А.И. Баселия «Кто ты, лирический герой? К диалектическому пониманию литературного образа», Сухуми, 1979), автор «прямо субъективирован». Потом он избирает для себя и своей странствующей в повестях Психеи-души другую оболочку, другое лицо, которое вводит в повествование более отвлечённо объективированный, по той же терминологии, образ. Таким он и остаётся, продолжая по-другому развиваться уже в «Кубике», где преобразуясь и изменяясь, он приобретает всё более абстрактный характер.

В тексте «Травы забвения» это выглядит так:

«Этот молодой человек – совсем ещё на вид юноша – был мной. Вернее сказать, он мог быть мною, если бы я обладал силой воскресить себя того, давнего, молодого.

Но так как у меня нет этой волшебной силы, то сейчас, когда пишутся эти строчки, я могу считать его лишь некоторым своим подобием, несовершенным воплощением моего теперешнего представления обо мне самом того времени, – если время вообще существует, что ещё не доказано! – времени, оставившего единственный материальный след в виде ветхих листков бумаги, исписанной дрянным карандашом номер четвёртый, который не писал, а скорее царапал.

Меня того, прежнего, юного, уже нет. Я не сохранился. Карандаш исписался…» (В. Катаев. Собр. соч., т. 9, с. 341).

Как видим, у автора понятие личного, собственного *Я* дифференцированно. Он глубоко чувствует, различает нынешнего самого себя с тем, кем он был в юности, различает, ещё не проведя грядущей черты, которая разделит автора и лирического героя.

Здесь явлено отношение В. Катаева к истине времени, к истине соответствия героя и действительности. Здесь, если хотите, и декларированная в «Венце» нелюбовь к мемуарам, здесь и необходимое писателю и, по мнению Ираклия Андроникова, в полной мере свойственное В. Катаеву чувство времени.

И вот разделение автора и лирического героя происходит:

«Я дал ему свою телесную оболочку и живую душу, но имени своего давать не хотел, опасаясь сделаться чем-то вроде человека без тени.

Я назвал его Рюрик Пчёлкин. Чем не имя для русского молодого человека, рождённого в начале XX века, совсем перед революцией, когда вдруг неизвестно почему в моду вошли изысканные, великокняжеские: Игорь, Глеб, Олег, Рюрик, Святослав?

После этого я вздохнул с облегчением, отныне переложив все свои заботы на чужие плечи. Вот как легко произошло рождение нового лирического героя» (см. В. Катаев. «Трава забвения» в Собр. соч. т. 9).

Вывод: Рюрик Пчёлкин – это образ молодого Валентина Катаева, отделённый временем и жизненным опытом от личности зрелого В.П. Катаева, который не без помощи вымысла реконструирует стёршийся в памяти образ своей юности. Рюрик Пчёлкин – лирический герой второй части «Травы Забвения» и «Кубика».

Решив таким образом вопрос о лирическом герое в «Кубике», пойдём по страницам этой повести дальше, сфокусировав теперь свой взгляд на той проблеме, из которой возникла в наши исследовании проблема лирического героя – на лирических отступлениях. Именно благодаря им мы становимся сопричастны размышлениям Катаева-творца литературного произведения, Катаева-художника.

Страница 455: «…В звуке сдержится гораздо больше того, что мы улавливаем своим несовершенным слуховым аппаратом. Это всегда какая-то тайная информация, поток сигналов как бы моделирующих звучащую вещь в мировом пространстве. Волшебный эффект присутствия…

Звук – это сознание колеблющееся материи». (В. Катаев. Собр. соч. т. 9, с. 455).

Тут путь – разъять разумом звук, дойти до первоосновы, первоначала, первоидеи, дабы постигнуть мудрость философского восприятия мира, расшифровать чувственное и сверхчувственное, приходящее к Катаеву через миражи творческого воображения.

Вот как это звучит далее у Катаева: «…как звук не похож и вместе с тем до ужаса похож на душу композитора-виртуоза, но также на всю материальную структуру инструмента, родящего эти звуки… В прелюдиях Скрябина я всегда, кроме души композитора, ощущаю громоздкое тало концертного инструмента, все материалы, из которых он построен на фортепьянной фабрике, ощущаю даже саму фабрику…» (В. Катаев. Собр. соч. т. 9, с. 455).

В совершенно свободном потоке сознания Катаева у него в «Кубике» – взблески эссеистического парения над миром, он заглядывает в космические пространства, даже в них он находит себя, свои мысли, их следы…

Вслушаемся в его речь:

«Мы окружены великой анархией вечно разрушающейся и вечно воссоздающейся материи, огромной, неизмеримой, без начала и конца. Она непрерывно уничтожает старые формы и создает новые.

Есть такие небесные тела – пульсары. Они вечно, с точностью атомных часов, увеличиваются в объёме и опадают: так сказать, раздуваются, как „лягушка, на лугу увидевши вола“…

А что, если мы тоже так же ритмично пульсируем?

Боже мой, из какой мелочи, из какой трухи, из какой мировой пыли мы все состоим!

Я не пишу, не создаю музыку, не вижу, не слышу, не понимаю, – да и зачем? – я непрерывно звучу, как некий резонатор, волшебный прибор, принимающий отовсюду из мирового пространства миллионы миллиардов сигналов, с непостижимой скоростью несущихся в моё бедное тело, в мою нежную, такую хрупкую Психею. Все, кому не лень, посылают в мою душу, в мой мозг свои сигналы, свои категорические приказы, как бы управляя мною на расстоянии: все эти пульсары, туманности, астероиды, белые и красные карлики, солнечный ветер, магнитные поля, северные сияния, вся беззвучно гремящая вокруг меня бесконечная и безначальная Материя, весь этот космический „брамбахер“. Они насылают на меня объемные сновиденья, мучающие меня, как события подлинной жизни. Они погружают меня в божественную кажущуюся летаргию вселенной, против моей воли они заставляют меня мыслить, воображать, творить. Со стороны может показаться, что я творю из ничего. Но это совсем не так. Я творю из подручного материала неистовствующей, вечно изменяющейся Материи. Я её крошечный слепок. Каждый атом, из которого состоит моё тело, мой мозг, – модель вселенной. Я её раб, и вместе с тем я её повелитель.

Я жертва космических бурь, протуберанцев, бешенства солнечной плазмы» (В. Катаев. Собр. соч. т. 9, с. 501).

Сюда же, в эту рубрику охвата автором мира и создания собственной *микрокосмогонии*, относятся его художественно воплощённые в повести мысли о существовании предмета «до его появления и вне его появления» как его идеальной идеи (с. 495), в момент его появления: «Воскрешение – это переход эффекта отсутствия в эффект присутствия» (с. 490), и после его разрушения – «Пустота, возникшая на месте взорванного здания, материальнее самого строения» (с. 502).

Понятие, опять же в литературе ещё мало известное, «эффект присутствия», появляется в повестях 1960-х годов, и в «Алмазном венце» это выглядит так: «…как устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, зданий. Иногда эти призраки более реальны для меня, чем те строения, которые их заменили: эффект присутствия!» (Валентин Катаев. «Алмазный мой венец», «Новый мир», 1978, № 6, с. 44).

Кстати, рассмотренный нами «мовизм» тоже в особенном значении фигурирует в «Венце»: «В хорошей прозе изобразительное и повествовательное уравновешены. Боюсь, что я злоупотребляю существительными и прилагательными. Впрочем, существительное включает в себя часто и эпитет. К слову „бриллиант“ например не надо придавать слова „сверкающий“. Оно уже заключено в самом существительном».

Обратившись снова вспять, к «Траве забвения», найдём исток возникновения этих самонаполняющихся слов-сущностей. Там Катаев вспоминает высказывание своего учителя И.А. Бунина о самоощущении его как писателя: «У каждого подлинного художника независимо от национальности должна быть свободная мировая общечеловеческая душа… Главное же, что я здесь, в „Господине из Сан-Франциско“, развил, – это в высшей степени свойственный всякой мировой душе симфонизм, то есть не столько логическое, сколько музыкальное построение художественной прозы с переменами ритма, вариациями, переходами от одного музыкального ключа в другой – словом, в том контрапункте, который сделал некоторую попытку применить, например, Лев Толстой в „Войне и мире“: смерть Болконского и пр.» (В. Катаев. Собр. соч. т. 9, с. 312).

Благодаря этому симфонизму, в лад которому ещё в ранней юности Катаев старался писать свои ранние рассказы, наполняя музыкой художественные фразы. С течением времени, уже в 1960-х годах, он стал уже *симфонизировать* слова (например «кубик»). «Кубик» – варьирующийся лейтмотив, который, оставаясь неизменным по форме, через нюансы текста совершенно изменяется по содержанию.

СХЕМА СИМФОНИЗМА ПО КАТАЕВУ

1. Симфонический текст, включающий интонацию, музыкальную фразу, мелодию.

2. Симфоническое слово, включающее созвучие звуков своего звукового ряда между собой и согласующееся этим звукорядом с другими словами, может быть, с совокупностью слов, а далее и с предложением.

3. Симфонический звук – единица, с которой оперировать писателю подчас трудно. Звук – конечный идеал конечного, непознанного, как молекула, которую когда-нибудь разложат на атомы. Как человек – слепок вселенной (см. с. т. 9, с. 501), так звук – слепок мелодии, всего текста.

В «Кубике» имеется рассуждение о звуке, которого мы выше уже касались *(см. стр. 8)* в связи с описанием катаевского умения расширять реальную данность предмета, явления, понятия. Начинается оно так: «„Словозвук“ не вполне точно выражает то, что мне нужно, чтобы „остальное делалось само собой“, как сказал Учитель. Я думаю, одно дело звук, а другое дело интонация, музыкальная фраза, мелодия. Учитель, видно, не отделял одно от другого, да и надо ли отделять? Ведь и без одного и без другого ничего не делается само собой. Но лично я очень строго разделяю эти понятия: интонация и звук. Ну, интонация, мелодия – это ясно: то самое, внутреннее, а потом уж внешнее, заставлявшее сжиматься горло и дрожать на губах – „М… м… м… м…“ – запевка всей вещи, её музыкальный ключ, её тайная горечь: никто в эту ночь не спал в доме Болконских. Звук уже совсем другое дело. Весьма возможно, что звук – самое неисследованное в мире» (там же, с. 454-455).

Так в «Кубике» звучит отражение мыслей о симфонизме.

Итак, «кубик» – словесная (или лексическая) звукоформа, наполняемая автором смыслом в зависимости от требований данного момента текста.

В самом тексте «кубик» встречается в значениях:

1) шесть сторон в трёх измерениях пространства и временя (с. 463).

2) имя собачки /пуделя, возникшего в тексте по ассоциации с тенью Мефистофеля в «Фаусте» И.В. Гете (с. 505).

3) кубовый хитон Христа (с. 464).

4) стеклянный кубик – одноразовая фотографическая приставка к фотоаппаратуре, предназначенная для получения магниевой вспышки (стр.489).

5) «ледяной кубик, магически отразивший в себе навсегда освещённый восковыми свечами салон» (с. 524).

6) то слово, которое хотел произнести Бывший Мальчик, но произнёс вместо него «Волчок» (с. 535).

(…)

«Разве вещь – хозяин слова? – слегка шепеляво говорил Изгнанник, высокомерно задирая маленькую лысеющую головку с жиденьким хохолком. – Слово Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает как бы для жилья ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно как душа вокруг брошенного, но не забытого тела» (там же, с. 494).

Совершенно аналогично и даже более распространено в тексте «Кубика» слово «Брамбахер».

Оно встречается в следующих значениях:

1) звук разбитой вдребезги о стену чернильницы из легенды о Лютере, бросившем будто бы чернильницу в черта. / Легенда несостоятельна, родилась из каламбурной двусмысленности (с. 432).

2) слово-Психея, блуждающая вокруг «неизвестно какого» брошенного тела (с. 498).

3) крошечный «брамбахер» – звук раздавленной осы (с. 498).

4) посылающая сигналы материя вселенной (с. 501).

5) «брамбахерские ворота» – искажение названия Бранденбургских ворот в Берлине / разрушенном городе, где в своё время сжигали книги (с. 502).

6) пустота круга, в «венке из дутого крупповского железа с прорезями дубовых листьев – звонкий сквозной брамбахер» (с. 505).

7) то, что не успело скорей всего вселиться в чёрного пуделя – плод досужего воображения Гёте (с. 504).

8) немецкая минеральная вода «брамбахер» (с. 535).

Слово «брамбахер» по звучанию похоже на рядовое немецкое слово, но это всего лишь завуалированное двухсоставное звукоподражание.

Кроме этих самонаполняющихся звукоформ в тексте есть и слова-напоминания, например, «монгольфьер» (с. 465 и далее) – оно обозначает ныне забытую детьми и взрослыми летающую модель из папиросной бумаги, которая поднимается в воздух благодаря наполняющему её нагретому воздуху.

Тут сам образ предмета не только хронологически ориентирует читателя, не только создаёт определённый колорит, но служит одновременно и символом детства, символом недостижимости большой и чистой мечты, символом стремлений героев.

По заключительным строкам «Кубика» можно подумать, что когда монгольфьер представляется нам не летящей детской моделью, а «белым монгольфьером одного из белых куполов церкви Сакре-Кер», которую узкие улицы монмартского холма поддерживают «как бы нежные детские руки», то нам кажется, что монгольфьер – это пример самонаполняющейся звукоформы. Но нет, это не «брамбахер». Просто похожий на него художественный образ, вылитый в особой форме с учётом музыкально-художественных и стилистических особенностей катаевской прозы.

Сергей Баруздин в уже упоминавшейся его книге очерков пишет о мастерстве В. Катаева периода 1960-х: «Изобразительные средства неисчерпаемы – вот о чём говорит разнообразие приёмов Катаева, богатство его стилей, его раскованность. Эта раскованность идёт от блестящего мастерства писателя, знающего цену сюжету и одинаково умеющему двигаться и по прямой и вычерчивать сложную линию» (Сергей Баруздин. Люди и книги. М., «Сов. писатель», 1978, с. 21).

Как бы отвечая критикам в «Алмазном венце», Катаев писал: «Время не имеет надо мной власти хотя бы потому, что его не существует, как утверждал „архискверный" Достоевский. Что же касается ассоциативного метода построения моих сочинений, то это лично моё. Впрочем, как знать? Может быть, ассоциативный метод давным-давно открыт кем-нибудь из великих и я не более чем „изобретатель велосипеда"» (Валентин Катаев. «Алмазный мой венец», «Новый мир», 1978, № 6, с. 7).

Конечно, метод Катаева ассоциативен. Цепь событий, порождающих друг друга и в то же время взаимообусловленных, слагается в произведение, рождённое воображением, самою душою автора…

Психея, душа писателя-демиурга вселяется во всех персонажей, даже в чёрного пуделя. Эпизодически встают в малых отступлениях и иногда прямо данных воспоминаниях писателя лица, известные истории. Осип Мандельштам, Иван Бунин, многие другие.

Во многом условная форма оригинально преломляется в линейных изгибах своеобразного сюжета. Свободный полёт воображения, моделирующий действительность. Просто какой-то литературный магический театр! А где мы встречаем «магический театр»? У Германа Гессе, в его «Степном волке», величайшем из романов XX века. Правда, там повествование движется совершенно синхронно, развитие образа главного героя, Гарри Геллера – Степного Волка кажется достаточно равномерным. А в произведениях Катаева ведущие сквозные образы показаны как сквозь магический кристалл катаевского видения, сквозь грани «кубика» времени, лиц, размышлений. Эти основные образы прослеживаются, проявляются через пелену, через марево атмосферы времени, но всё равно и там и здесь – новаторская форма, и там и здесь в полотно повествования вплетены философские размышления, и там и здесь оба автора *калейдоскопируют*, множат свою душу на массу героев, и делают это полусознательно, отражаясь частью себя в каждом лице, образе. Через *изображённую память сознания* преломляются цвета и оттенки мысли, которые принадлежат мудрости человечества. Неважно, что это *«душевная множественность»*, многообразность авторского «Я» у Германа Гессе навеяна психологической теорией К. Юнга, последователя Зигмунда Фрейда, а у Катаева она навеяна самим катаевским жизненным опытом. Важно, что налицо сходство по производимому на читателя впечатлению, по «внутреннему звучащему образу» (с. 495), пользуясь «словарём» В. Катаева. И в романе Гессе показаны – прошлое, детство и юность героя, которые правда не образуют широкого заднего плана, как у Катаева, у которого изображено – детство его героев – Мальчика и Девочки, в дальнейшем Мадам и Мсье, которые станут жертвами грека-миллионера, всевластного Арахиса (с. 535), конечно же Арахис, это у Катаева Аристотель Онасис, известный в 1960-е годы миллиардер, крупнейший делец-финансист.

И ещё автобиографические фантасмагории В. Катаева напоминают роман «Большой Мольн» талантливого и грустного французского классика Алена Фурнье. В нём мы тоже найдём воспоминания детства, образующие мир, где невозможно отделить реальные воспоминания от фантастики. Автор «Большого Мольна» писал: «Есть столько старых воспоминаний, которые мало-помалу обогащаются и когда больше не можешь носить их в себе, в один прекрасный день начинаешь их писать» (см. Ален Фурнье и Жак Ривьер. Переписка, т. 1, с. 132-133).

Так бывает со зрелыми авторами. 1960-1970-е годы XX века для Валентина Катаева-писателя стали годами зрелости. Тогда и были им созданы «Маленькая дверь в стене», «Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик» и «Алмазный мой венец», столь связанный с этими синтетическими (от слова «синтез») и *анимасофическими* (от «анима» – душа, «софия» – мудрость) по жанру произведениями.

«КОНКРЕТИКА ОТ КРИТИКА»

НАРИНЕ ЭЙРАМДЖЯНЦ

РОМАН «ШАТУНЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ Ю. МАМЛЕЕВА

Роман Юрия Мамлеева «Шатуны» написан в начале шестидесятых годов, точнее в 1966-68 годах. Текст ходил в самиздате в 1960-80-ых. Потом был опубликован на Западе и далее последовали многие издания, переводы на языки Европы[1]…

«Шатуны» открывают перед читателем, часто изумлённым, мир Ужасного. Порой – мир Отвратительного. Персонажи писателя убивают людей и животных, бродят по помойкам, едят части собственных тел. Описанные Мамлеевым сцены шокируют.

Знакомясь с реакциями на «Шатунов», можно подумать, что Мамлеев придумал некий совершенно новый инфернальный мир, к восприятию которого общество не готово. На самом деле ничего «нового», а также ничего необычного в «Шатунах» нет. Мир странных людей из романа становится понятным и даже вполне организованным, если озвучить, кто все эти персонажи. А они мертвецы, о чём в тексте говорится напрямую несколько раз.

Мамлеева называли новым Достоевским. И такое сравнение особенно справедливо в отношении «Шатунов». Роман содержит символические отсылки к «Братьям Карамазовым» и несёт главную тему, столь любимую Достоевским, тему преодоления общественных правил и норм поведения. Но есть ещё один великий русский писатель, который написал пьесу, получившую такую славу, что и «Шатуны», и очень скоро забытую даже образованными людьми в нашей стране. Речь о пьесе Льва Толстого «Власть тьмы».

«Шатуны» поражает сознание читателя, хотя Мамлеев просто описывает всё то, что не принято обсуждать в обществе, полагающем, что если о явлении не говорить вслух, оно исчезнет.

Создание романа. Юрий Мамлеев родился в семье врачей-психиатров. Он имел достаточное представление о том, как гаснет психика, чтобы ужаснуться тому, что он написал[2]. Также писатель рассказывал о мере творческой свободы. По словам Мамлеева, он и его товарищи часто писали для себя и друзей, понимая, что их тексты никогда не могут быть опубликованы, а только прочитаны на какой-нибудь закрытой встрече. И это давало максимальное раскрепощение. Когда писатель держит в уме, что его текст должен быть представлен широкой общественности, включается самоцензура. Это было главное объяснение самого автора, почему «Шатуны» и другие произведения авторов той эпохи могли родиться только в СССР. Впрочем, роман, как мы упоминали, ходил в самиздате и в сокращённом варианте впервые вышел в США под названием «Небо над адом» в 1980 году.

Кто такие шатуны? Все активные герои романа *уже умерли*. Как минимум символически, для общества. Мамлеев сам сообщает нам об этом устами Падова: *«Да ведь мы не злые, мы просто потусторонние»*.

В романе множество намёков на то, что действие происходит в ином пространстве. Но эти намёки брошены в текст без подробного толкования, как бы между делом, чтобы не сильно заострять внимание читателя.

«После „дел", кто копался в грядках, точно роя себе могилку, кто стругал палки, кто чинил себе ноги»…

Тут дело даже не в сравнении работы на огороде с рытьём могилы, а в последней фразе – «чинил себе ноги». Чинить себе ноги можно, если только они лишены нервов, крови, человеческой плоти.

Клава запирает Фёдора в подполе и выделяет ему посуду: *«Для еды почему-то приспособила – наверное, из-за крепости – новый, сверкающий ночной горшок»*. Считается, что в потустороннем мире всё наоборот. Потому и едят там не из тарелок, а из ночных горшков.

У пространства есть и жутковатые, ирреальные черты: *«Кругом вообще была тьма „невоскреших“ младенцев: некоторые уборные и помойные ямы были завалены красными, детскими сморчками: плодами преждевременных родов. Недаром неподалеку гудело женское общежитие».* Упоминание общежития напоминает нам о том, что действие происходит всё-таки в реальном мире, в конкретном отрезке времени. Правда, роман приоткрывает ту часть реальности, которая никогда не попадает на свет, не становится предметом обсуждения, о такой реальности не говорят за столом. О ней вообще не говорят, и от этого её как будто не существует.

Разные персонажи романа время от времени сталкиваются с некими инвалидами. Инвалиды то молча провожают их взглядом, то просто присутствуют, то ползут за персонажами. А один из инвалидов даже терпит издевательства Падова. Они будто охраняют границы мира шатунов, или живут на этой границе, и сами вот-вот окажутся шатунами.

Специфический отвратительный «рацион» питающегося собственным телом Петеньки подробно разбирать не будем, только отметим, что он напоминает живой труп, так как на теле его растут в изобилии колонии грибков, прыщей и т.д.

И наконец Клава прямо говорит о том, что сама она уже умерла: *«Так после смерти самая жизнь и есть».*

Андрей Никитич перед тем, как превратиться в куро-трупа, проявляет себя как образованный человек, как интеллигент, стремящийся к добру. Но, «превратившись» в курицу, полностью теряет свой былой облик и образ мыслей. Довольно правдоподобна картина угасающего сознания. Куро-труп напоминает состояние деменции, то есть утраты человеком его личности.

«Андрей Никитич соскочил со стула и махая руками, как крыльями, с воплями „ко-кок-ко“ бросился к зерну, которое клевали несколько куриц. Распугав кур, он встал на четвереньки и начал как бы клевать зерно».

Лидонька бродит по помойкам, она любит насекомых – тоже весьма специфические хобби, характерное при некоторых умственных расстройствах. *«Ещё раньше Лидинька чуть удивлялась тому, что Паша дико выл, как зверь, которого режут, во время соития; а потом долго катался по полу или по траве, кусая от сладострастия себе руки, словно это были у него не руки, а два огромных члена. И всё время ни на что не обращал внимания, кроме своего наслаждения»* – Паша очень похож на оборотня. Его страсть к убийству общих с Лидой детей тоже как будто отсюда.

Про Фёдора мы узнаем, что «*мёртвых и отвратительных, бездарных существ ему не хотелось трогать; его больше тянуло на одухотворённые, ангельские личики; или необычные: извращённо-испуганные».* Ему неинтересны мёртвые, потому что он сам мёртв, а убивает, потому что ему не хватает трепета жизни. И единственная возможность ощутить её – отнять, будто проглотить жизнь другого. Не случайно Клава прячет Фёдора в подпол, когда появляется опасность его разоблачения: он в подполе, как в могиле. Фёдор перемещается в пространстве не так, как все обычные существа: *«Однажды, года два назад, через несколько часов после того как он внезапно исчез, кто-то звонил Фомичёвым из какой-то жуткой дали и сказал, что только что видел там Фёдора на пляже».* Фёдор коллекционирует ощущения. Он хочет испытывать всё новые и новые состояния в момент, когда он отнимает жизнь.

И вот в романе появляется интеллигенция, сначала в лице Анны Барской, а затем и других персонажей. Прототипом Анненьки была дама, известная в московских кругах андеграунда, в частности в обществе, посещавшем выставочный зал Горкома графиков на Малой Грузинке. Прототип – Лариса Пятницкая (Белякова), известная как Лорик. По свидетельству очевидцев, Пятницкая любила представляться: «Я – Лорик, Анна Барская». Анна и девочка Мила никого не убивают. Анна повторяет социальные функции Ларисы Пятницкой. Легендарная Лорик сыграла важную роль в судьбе многих художников. Она видела талантливых людей, помогала им найти профессиональное применение, сама при этом немного тоже рисовала. Анна восхищается «настоящими людьми», хлопает в ладоши после кровавого пиршества «садистиков». Но сама она никого не убивает, она не делает то, что делают «настоящие люди». Речь и манеры Анны, по свидетельствам современников, удивительно напоминали Лорик.

Фразы Анны: *«А знаете ли вы, что труп – это кал потустороннего», «Мы, интеллигенты, много болтаем. Но не думайте, лучшие из нас могут также всё остро чувствовать, как и вы, первобытные».* Определяют весь её облик типично-интеллигентские разговоры, пестрящие оригинальными, часто вычурными мыслями. Подспудно чувствуется в ней гордая элитарность или, скорее, внесоциальность, принадлежность к «своим кругам», к которым не имеют отношения люди из «простого» народа.

Достоевский и Толстой. Фёдор Достоевский в романах «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» ставит вопрос о нарушении норм поведения в обществе, рассматривая обе крайности этого нарушения. В романе «Братья Карамазовы» одним условным полюсом такой крайности выступает Фёдор Карамазов, вторым – Катерина Ивановна. Карамазов потребляет жизнь, не считаясь с интересами тех, о ком должен заботиться. Катерина Ивановна ради помощи ближнему нарушает приличия – принимает в своём доме больного Ивана Федоровича, чем вызывает всеобщее возмущение. Фёдор Карамазов напивается до потери человеческого облика, не заботится о собственных детях, насилует беспомощную городскую юродивую, которую другие жители Скотопригоньевска стараются защищать и оберегать.

Карамазов-старший во многом похож на шатунов. Он тоже живёт ради своего «Я», принося всё в жертву ему. Он разрушает всё вокруг себя. В описании персонажа также присутствуют отвратительные черты в форме, максимально выраженной для своего времени. Фёдор Карамазов всей своей натурой опровергает предубеждение о том, что образование делает человека лучше. Он постоянно цитирует Шиллера, оставаясь при этом всё тем же эгоистически заниженным Фёдором Карамазовым. В «Шатунах» братство «первобытных» и метафизического общества также опровергает переоценку хорошего образования и склонности к рефлексии. И христианнейший Христофоров превращается в куро-труп, мальчики с ангельскими личиками разрывают зубами щенков.

«Куро-труп» Андрей Никитич Христофоров и его сын Алексей очень напоминают старца Зосиму и Алёшеньку из «Братьев Карамазовых». Их история как будто пародирует драму смерти Зосимы, который после смерти стал «смердить», чего от него никак не ожидали, так как считали святым. Монологи Андрея Никитича до превращения в куро-труп умилительно-благостные. После перехода он кудахчет, но иногда сообщает, что он уже умер. При этом исчезают все умилительные речи о добре. Превращение в куро-трупа и отчаяние Алексея как десакрализация Зосимы и переживания по этому поводу младшего Карамазова. После смерти Зосимы Алешёнька уединяется на природе и целует землю: «Он не знал, для чего обнимал её, он не давал себе отчёта, почему ему так неудержимо хотелось целовать её, целовать её всю, но он целовал её плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступлённо клялся любить её, любить во веки веков».

Андрей Никитич, появляясь в Лебедином, стучит по земле палочкой, на чём автор делает особый акцент: «Он шёл одной рукой опираясь на своего сына – Алексея Христофорова, другой – на палку, похожую на старую трость, которой он иногда с такой умильностью постукивал по земле, словно она была его матерью».

С Карамазовым после возлежания на земле происходит метаморфоза: «Пал он на землю слабым юношей, а встал твёрдым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга».

Интересна сцена встречи с четырьмя философами. Одного из них зовут женским именем Таня. Вспоминается, что женским именем звали в литературных кружках Жуковского, только он был «Светланой». Автор описывает подробно трёх из них, а о четвёртом говорит кратко: «Четвёртый философ был почти невидим». Здесь очевидна отсылка к всадникам апокалипсиса, явившимся на белом, вороном и красном коне. Четвёртый всадник на бледном коне, то есть тоже в каком-то смысле невидимом. В «Братьях Карамазовых» очевидных братьев трое. Но есть и четвёртый, «почти невидимый» – Павел Смердяков.

У пьесы «Власть тьмы» Льва Толстого судьба, в чём-то похожая на судьбу «Шатунов». Пьеса ужасала современников также сильно, как «Шатуны». В отличие от шатунов, у героев толстовской пьесы есть чёткий мотив для многочисленных убийств – это личная корысть. Но они напоминают шатунов *обыденностью совершённых злодеяний*. Преступления в пьесе обсуждаются, готовятся и совершаются как совершенно обычный процесс любого другого рода. Убийцы не испытывают священного ужаса за отнятую ими жизнь. Они её просто отнимают. В финале пьесы сцена покаяния персонажа Никиты, который вовсе не является главным злоумышленником, но хочет взять на себя и вину Акулины. Степень откровенности пьесы – максимально допустимая для этики своего времени. Вероятно, и сцена раскаяния также написана для того, чтобы не шокировать публику, чтобы попасть в актуальные рамки общественной нормы, а не для того, чтобы показать чудо раскаяния. Вероятно, шок, который испытывает современный человек от «Шатунов», идентичен шоку современников от избранных писаний Достоевского и Толстого.

Чувствительный читатель, выросший в пыли библиотек, неизменно огорчается от чтения романа. Описанное Мамлеевым воспринимается как «нечто новое», – как устрашающая извращённая реальность, к которой якобы катится этот мир, в котором умерли былые этические основы.

На самом деле всё, что описано в «Шатунах» имеет место быть столько, сколько существует человечество. Просто на таких, как шатуны, не принято проливать свет. О том, что пациентка психиатрической клиники ходит по помойкам, знает в лучшем случае её врач, а обычно сторож помойки и бомжи. О стремлении поедать собственные струпья тоже знают родственники больного и специалисты, к которым они обратятся, но это не обсуждается в обществе. Врач не расскажет, щадя эмоции ближних, родственники не расскажут из-за неловкости. Маньяки, убивающие ради самого убийства, тоже существуют, а что у них в голове и ведут ли они беседы с трупами, мы не знаем.

Франсуа Рабле ещё в XVI веке написал «Гаргантюа и Пантагрюэля», чем шокировал возвышенное общество, не привыкшее в изящной литературе читать подробные описания физиологических проявлений и отправлений. Человечество во все времена по-своему обращалось к теме изгнанных из общественного пространства, освещало его в искусстве и литературе. Мы порой сами не понимаем, как близко от нас это тёмное пространство.

Обыватель не посещает скотобойни, дома престарелых, хирургические отделения, психиатрические клиника, не имеет возможности наблюдать *разложение* в большинстве его форм. Правило построения социума с его ограничениями издревле строится по одному и тому же принципу. Люди скрывают всё неприглядное. Всё, что имеет следы разрушения. Умерших пеленали или покрывали, чтобы скрыть следы угасания жизни, трупные пятна. Людей с расстройствами изолировали. В социуме человек скрывает раны, контролирует проявление эмоций и инстинктов. Это обеспечивает человечеству стабильность, комфортное общение и сотрудничество. Но стоит человеку покинуть пределы общества, как вопрос сдерживания эмоций останется вопросом его личной безопасности. Мамлеев не описывал обыденного, плоского мира, тем более мира будущего. Он просто включил прожектор и направил его туда, где находятся *выселенные из социума*. А они совсем рядом, просто за оградой. Или в тени.

Человек на каждом этапе своего развития стремится жить внутри созидательного круга, из которого удалена смерть и её следы. В каждую свою эпоху неведомая внутренняя природа снова и снова заставляет человека заглядывать за пределы этого круга и рассказывать тем, кто внутри, об увиденном, подвергая свой рассказ внутренней цензуре, приемлемой для языка своего времени. Для нашей эпохи одним из таких путешественников за предел человеческого «ареала» стал классик отечественного андерграунда и русского зарубежья, Юрий Мамлеев.

---

[1] Роман «Шатуны» впервые опубликован в сокращённом варианте в издательстве «Taplinger» (Нью-Йорк, 1980), а в полном виде во Франции в издательстве «Editions Robert Laffont» в 1986 году.

[2] https://rg.ru/2011/12/11/mamleev-site.html

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

«И ЖИЗНЬ ВДРУГ РАСПАХНУЛАСЬ ТАК КРЫЛАТО…».
размышляя о двух книгах Нины Баландиной

(Баландина Нина, Когда цветут клёны. Стихи. – М.: Лютикова Н.Ф., 2017. – 164 с.;
Нина Баландина, Поплавки стихов – М.: Издательство РСП, 2021. –
Серия: Лауреаты национальной литературной премии «Поэт года». – 262 с.)

«Мне всегда казалось, что я имею некоторое отношение к поэзии…», – признаётся Нина Баландина в кратком предисловии к своей книге «Когда цветут клёны», датированной 2017 годом. Эта мысль, особенно в сочетании с заключительной фразой (*«имеет ли поэзия отношение ко мне, – это уже другой вопрос…»*) может свидетельствовать только об одном: автор – человек скромный и сомневающийся, а стало быть, способный к развитию и творческому поиску. Этот непрерывный поиск – себя в литературе и литературы в себе – начавшись много лет назад, выплеснулся в поэтический сборник «Поплавки стихов» (выпущенный в 2021 году по итогам Национальной литературной премии «Поэт года», через четыре года после первой книги). О нём я писала в своей предыдущей рецензии, посвящённой творчеству Нины. Что же побудило поэта, уже имеющего книгу, вобравшую в себя поэтический опыт почти 40 лет, принять участие в номинации «Дебют»?

Кажется, что автор сборника «Когда цветут клёны» подвёл некую черту в своём творчестве, создав дневник его начала и завершения. Стихи здесь в основном настроенческие, больше обращённые к себе, чем к предполагаемому читателю. Такое впечатление, что автор обозначил какую-то часть жизни вот такими стихами и как бы поставил точку: всё! Это чисто личное и вряд ли кому-то интересное:

– Пиши стихи. Потворствуй звуку
И, осужденья не боясь,
Восстанови за всю разлуку
С любовью прерванную связь.

Тетрадочка захлопывается, автор не ставит перед собой задачу писать стихи дальше. Но может ли творчество прерваться по воле творца? Тот, кто однажды обрёл крылья, уже вряд ли сможет их потерять. Не случайно одним из сквозных образов поэзии Нины Баландиной является образ птицы. Он неизменно сопровождает лирическую героиню, «кочует» из книги в книгу, ежеминутно доказывая безусловную причастность автора к высшему, духовному знанию о мире. Чёткое осознание своей двойственной, противоречивой природы, тесная привязанность к земному, неоспоримость права *«быть хлебным колосом земле»* и врождённая крылатость – ключевое настроение, присущее как раннему, так и позднему творчеству Нины. Возникшее в далёком прошлом (когда ещё не было ни Дебюта, ни участия в Турнире поэтов, ни прочих заслуг) «чутьё красоты» крепнет, совершенствуется и находит своё дальнейшее развитие в «Поплавках».

Но этому предшествуют годы знакомства и учёбы, радость постепенного и пристального открывания в себе поэта. Стихи из первой книги – своеобразный зачин. Они как бы рождаются заново, переходя в новую книгу. Их вряд ли можно отнести к дебютным в общем понимании слова. Скорее всего, дебют в данном случае – это освоение новых форм, таких как *Проговоры* и *Краткие повествовательные* в «Поплавках стихов». Что же касается ключевых тем, то они остаются и находят своё продолжение и более глубокую разработку.

Красной нитью сквозь всё творчество проходит тема связи с Родиной. Так *«солнышком по краю лапотков ведёт узор мой прадед, дед Арсений»*, – пишет автор в 1974 году. А затем появляется *«золотой незапятнанный плес»* Ваги, возникают темы малой родины и единой для всех Отчизны.

– Ты румянцем меня обделила? Жгла мне ноги стернёй и росою? –
Ты меня принимала, Россия, быть с тобою…

– Если трезвый, будет ли по силам наша жизнь, – ведь только во хмелю
Ты позволишь выдохнуть: Россия… И продолжить с горечью: люблю…

Уже упомянутый образ «внутренней птицы», ставший сквозным образом-мотивом в «Поплавках стихов», встречается практически в каждом разделе книги «Когда цветут клёны», особенно в двух последних, с характерными названиями: «Почему ты не родила меня птицей, мама?» и «Есть вольность некая в полёте зимних птиц». Здесь в наибольшей степени обозначены две ипостаси лирической героини, но по сути конфликта нет. Есть очевидная попытка примирить две правды жизни, и в этом примирении обрести гармонию.

От «Клёнов» до «Поплавков» пролегла единая нить повествования, единый «нерв», натянутый между «внутренней птицей» лирической героини и её внешним, земным существованием. Вот она – любящая дочь, благодарная внучка, трепетная бабушка, страстная возлюблённая, простой обыватель, верящий в то, что *«можно жить без стихов»*. А вот – её совсем иная ипостась, её альтернативный мир, где всё существует по законам творчества. И пускай голос творца звучит не всегда уверенно, и *«дрожит гортань, захлёбываясь, плача»* – только в этом, не подвластном земным законам, одухотворённом пространстве можно ощутить особое состояние, где *«обострено движенье рук до карандашного шаманства»*. Здесь можно дать волю своей крылатости, часто скрываемой под спудом обыденных дел:

До чего это горько и гордо
Возносить над распятьем листа
Своё тёплое певчее горло
Перекладинкой шаткой мостка.

И как есть – безъязыкой, безрукой, –
Неразумную впалую грудь
Всё тревожить горячечным звуком,
Отзываясь невнятному «будь!»

Заключительные два раздела «Клёнов» своеобразно закольцовывают сквозную тему книги – она звучит оптимистично, поскольку основное противоречие снято. Героиня принимает всё как есть – и птицу «за пазухой», и осознание того, что *«слишком тянет земное. Господи… слишком»*. Чуть позже размышления о творчестве, итогом которых станет обретение новых форм и появление редких, нерифмованных, стихов, соберутся в полноценный цикл «Время ню» в книге «Поплавки стихов»:

– О, мать моя, Надежда! Дуракам
Так сладок хлеб твой с горечью полыни,
Так легок крест всесильного добра.
И так прекрасен твой туманный образ…

Эта же антитетичность ощутима и в стихах на другие темы: в ранней книге тема творчества представлена разделом «Есть в жизни высшая порука», тема родной земли, семьи и родословной – разделами «Мерцательная аритмия», «Знали? Не знали…», «Да и Нет. Чёрный цвет или белый», тема любви – циклом «У меня в кармане лето». Характерно, что ни в ранней, ни в поздней лирике Нины Баландиной мы не найдём ни капли сетования на судьбу, даже если не всё в ней сложилось не так, как хотелось бы, даже если время неумолимо стирает прошлое и делает неясным будущее. Есть только чувство бесконечной благодарности за возможность приобщения к великому таинству жизни, к земле и небу, к вечному и временному:

И, объятая тайной дремучей,
Вспоминая чужое тепло,
В благодарность за выпавший случай
Я поверю, что мне повезло…

Так начинается одно из стихотворений первого раздела «У тебя когда цветут клёны?». А далее речь идёт о прощании и одиночестве, но поразительным образом в душу западают только светлые строки, и в целом от прочитанного сохраняется стойкое ощущение света. Всё дело в уникальной и очень редкой

способности автора сохранять внутри себя неиссякаемое жизнелюбие, веру в судьбу и её благосклонность. Иначе не ощутить *«какое-то детское счастье»* при виде того, *«как листья навстречу летят»,* не полюбить *«пришедшую надолго осень»*. А Нина Баландина не просто полюбила её – она убедила своего читателя в том, что это – время особенное и что *«на каждый холод свой огонь»*.

Так что же так привлекает лирическую героиню книги в этом суровом – для природы и человека – сезоне? Возможно, какая-то скрытая тайна, память о прошлом тепле, ощущение духовной зрелости и того еле уловимого переходного момента жизни, когда летний зной уже позади, но и до зимних холодов ещё далеко. Комфортное время – им только надо уметь правильно распорядиться. Тем прекраснее оно, если душа и воображение позволяют ощущать себя сразу в нескольких местах, *«и в том краю и в этом. на берегу реки и сразу же в лесу…»*.

Осень дорога автору как близкий друг и любимое дитя. Дочка Осенька-рыжиночка, осень-девочка, Осенюшка – такими ласковыми именами названа она в стихах из книги «Когда цветут клёны». И только подспудно ощущается в этом тяготении желание смириться, примирить вечное лето своей души и глубину *«распахнутого неба»,* которое *«неизбежно возвращает нас земле»*:

Осенних дум моих не потревожь.
В лесу роняют солнце в ноги клёны.
Здесь тихий разговор полян и рощ
Законов городских куда весомей.

Томительно. Тревожно в сентябре.
А здесь листвы высокий лёгкий невод
Уводит вглубь распахнутого неба,
А после возвращает нас земле.

Именно так *«однажды появилась осень, из которой никогда не улетала бабочка»* – появилась и перекочевала в новую книгу «Поплавки стихов». Мостиком между старой и новой книгами становится авторское размышление о том, что даже в неприглядных, повседневных вещах присутствует тайная красота, а небесное нередко заимствует формы существования у земного, поэтому главное – ощущать полноту бытия, вечность сиюминутного наряду с изменчивостью вечного. Тогда ни время, ни смерть не страшны – они никак не влияют на подлинное ценное, принадлежащее области бессмертных смыслов:

Птицу из-за пазухи не вынешь.
Радугу не выпьешь из ковша.
И звезду на небо не закинешь,
Даже если очень хороша.

Каждому – всего одна дорога:
День чуть припорошенный судьбой.
Где причастьем: быть любимой богом
На земле прекрасно-молодой.

Есть и ещё нечто объединяющее «Клёны» и «Поплавки» – это пронизывающее обе книги тайное откровение лирической героини, открывшей для себя правду о собственной жизни. Она гораздо шире границ земного бытия. Молодость – понятие относительное. Во всяком случае, неоднозначное. Есть «первая молодость» – когда легко довольствоваться плотскими, земными радостями, ощущая их физически. Есть «вторая молодость», а иначе – период духовной зрелости. В это время душевное и телесное одинаково важны и востребованы, и только в их взаимосвязи кроется секрет гармоничного существования и подлинного счастья.

Но есть и «третья молодость» – это своего рода высшая ступень существования, ни с чем не сравнимое состояние, которое Нина открывает для себя и своего читателя так же, как некогда Анна Ахматова открыла для всех «пятое время года». Только в этом состоянии сознанию открываются безграничные перспективы: пространство и время становятся условными и отходят на второй план, уступая место лучшим воспоминаниям, открывая дорогу к вечному лету и неиссякаемой любви:

Третья молодость. – Хочется цвета!
Не волнуют души закрома.
Беспричинное вечное лето
Незатейливо сводит с ума.

Всё сместилось: и солнце и снега
Белизна с отцветавших ветвей.
И полночная смуглая нега
На крахмальном костре простыней.

Жизнь, которая *«вдруг распахнулась так крылато»* перед Ниной Баландиной, становится главной героиней её книг. И всё опять возвращается на круги своя. И новые стихи, написанные в 2022 году, перекликаются со старыми:

По скверам и аллеям городским,
где вздох камней упрятан в шелест веток,
Творится жизнь и возникает гимн
живущему. И знающему это…

ПТИЦА В ТЕМНОТЕ

(София Максимычева, Эхолот. – М.: Стеклограф, 2020. – 110 с.)

Прежде чем говорить об «Эхолоте» Софии Максимычевой (издание 2020 года), хочется упомянуть ещё две её книги – «Дурочка» и «Портрет женщины» – вышедшие следом, в 2021 и 2022 году. Упомянуть и восхититься: насколько разными формами и направлениями владеет их автор. «Дурочка» – классическая любовная лирика, которая в «Портрете женщины» дорастает до религиозно-философских обобщений, преподносимых как в традиционной, так и в экспериментальной манере.

Что же касается «Эхолота», то здесь мы видим нарочито сложную, тяготеющую к метареализму, стилистику с «затемнёнными зонами смыслов» и бесконечно широким полем для читательских ассоциаций. Название говорит само за себя – тому, кто решился прочитать эту книгу до конца, придётся вслед за автором опускаться на самые глубины подсознания, таящее много воспоминаний, образов, нереализованных желаний. Не всё будет понятно и считываемо, но созданное здесь художественное пространство на подобное и не рассчитано: гораздо важнее здесь интуитивное постижение истины, к которой приходится пробираться сквозь дебри неожиданных и глубоко индивидуальных ассоциаций. При этом сам образ эхолота вполне прозрачен и связан с идеей поиска – себя и подлинного в себе, нередко реализуемого через слово. Сквозные темы-образы (рыбы, вода, морские глубины и противопоставленные им звёзды и птицы) тоже напрямую связаны с образом эхолота, совмещая прямое и переносное значения понятия.

Три части книги – «Текст», «Эхолот» и «Орнитология любви» – тесно объединены общим замыслом, иллюстрируя разные грани творчества и разные ипостаси женщины-творца. Характерно, что в каждой из частей формой подачи авторской мысли является диалог. Не в традиционном, общедоступном понимании этого слова, поскольку общение здесь всегда осуществляется не по горизонтали, а по вертикали, на принципиально ином уровне осмысления действительности.

Лирический адресат, к которому обращены стихи Максимычевой, поначалу кажется неясным, неочевидным и расплывчатым. Но всё же он есть и угадывается по определённым признакам – в частности, по регулярному употреблению местоимения «ты». С этого «ты», собственно, начинается лирическое повествование первого раздела:

Ты – просто текст, набор лексем,
страница из молитвослова,
регистр звука, низкий тембр,
который осенью взволнован
нахальной лисьей красотой
и видом рыжего фасада.
Изящной ножкой городской,
небрежно брошенным:
– Так надо.

Ассоциативное поле «текст» становится связующим звеном повествования, объединяя и сополагая явления разного порядка. Сам автор, извечно рефлексирующий и трепетно самоуглублённый, отождествляет себя с набором лексем, в то же время воспринимая весь окружающий мир как *многомерное интертекстуальное пространство.* Непрерывное «считывание» смыслов, вылавливание их за гранью очевидного и составляют предмет диалога первой части книги. *«Разладом вымученный спич»*, *«цитаты осени»*, *«осени двухтомник»*, *«ритм холодной исповеди»*, *пребывание «меж ноябрём и декабрём, на стыке местных диалектов»* – весь этот тщательно выверенный образный ряд говорит о том, что каждый объект действительности и каждое абстрактное

понятие пропущено сквозь призму языка, чтобы стать неотъемлемой частью творческого опыта поэта. Этот опыт необходим. В том числе, и для самопознания, которое сродни самопринятию, примирению с самим собой. Процесс мучителен для автора, но он пребывает в непрерывном поиске и слепо, на ощупь извлекает из тайных глубин собственного «я» искомое содержание – при этом процесс нередко сопровождается состоянием экзистенциального ужаса от внезапно открывшейся истины:

Снять все запреты и табу
на существующее время,
подумать:
– Если ошибусь,
во мне очухается демон.
Но это тоже часть меня
(прошит и золотом простёган),
и остаётся лишь принять
себя и собственного Бога.

А вот второй раздел книги с одноимённым названием «Эхолот» затрагивает уже иной аспект творчества. Сразу и не определишь, к кому именно здесь непрерывно обращены мольбы, чаянья, упрёки автора. Но в какой-то момент наступает прояснение, и сквозь авторский монолог проступает иная суть. Каждое стихотворение – натянутый нерв диалога творца и создателя. Отношения с ним у лирической героини довольно сложные и противоречивые, их гамма разнообразна: от простых, доверительных, до откровенно враждебных, непримиримых. Создатель, от воли и милости которого зависит судьба скромного поэта, осознаётся лирической героиней Максимычевой то как *«холодный свет, льющийся из окон или прямо с потолка»*, то как откровенно неблагая сила, встающая препятствием на пути к её же постижению, как чуждая далёкая субстанция, равнодушная к своим творениям. Отдельные ассоциации поражают смелостью, граничащей со святотатством. Так, в стихотворении «Начало зимы» Бог сравнивается с грубым мясником, рубщиком мяса, кидающим страждущему жалкие объедки, как собаке кость:

Витийствуя без передыху,
вспоров розоватую плоть,
блеснёт с разворота и лихо
Господь, отрезая ломоть.
И бросит на белое блюдо
с небесной своей высоты
горячий и влажный желудок,
отставив брезгливо персты.

И всё же неискоренимо желание усиленно и жадно вслушиваться «*в ближний голос Бога*», извлекать *«белый голос»* из неясного гула мироздания, птицу из тёмных подводных глубин. Антиномия *«рыба-птица»* становится ключевой, определяя поступательность развития авторской мысли. Птица, извлечённая из рыбы как символ обретения иных, более высоких небес. Не случайны отсылы к Александру Петрушкину – поэту, для которого речь, собственно творчество – это *«процесс непрерывного извлечения света из тьмы, небесного, вечного из бренного, земного, подлинного из фальшивого»*.

А если вспомнить, что главная функция эхолота – обнаружение, то сразу становятся понятными и напряжённая авторская интонация, и нескрываемый драматизм, и нарочито трудная считываемость образов. В этом смысле третий раздел кажется чуть более ясным, прозрачным. Здесь София отчасти возвращается к более классической стилистике, использует характерные для её любовной лирики образы-архетипы, в том числе и традиционный для русской литературы образ-символ заброшенного сада. Здесь принципом организации художественного пространства становится диалог мужчины и женщины. К нему, как к создателю и вершителю судеб, обращается лирическая героиня в надежде стать по-настоящему удачливым «рыбаком». На крючке у такого рыбака – действительно знатный улов, добыча, которая позволит осознать неразличимость двоих и «мира неделимость»:

ты понимаешь, что любовь – лукавство,
отдельная погрешность,
кривизна,
пространственный изъян,
а в это время
сиреневая движется звезда
и освещает мертвенную темень.

Мы делаемся ближе,
и тогда
нас осеняет, что неразличимы
ни мы с тобой,
ни зыбкая вода,
и наступает мира неделимость

В конечном итоге, любовь становится единственным Богом героини и единственным входом в сакральное запределье, где можно стать самим собой. И всё же, несмотря на обилие водных образов, хочется вслед за Дмитрием Артисом отметить, что «в третьей части книга наполняется птицами». Происходит слияние разнородных стихий в одну, а значит, работа эхолота не была напрасной. Именно эта итоговость позволяет осмыслить книгу Софии Максимычевой как логически развёртываемый путь духовных исканий. И все составляющие этого пути налицо: столкновение с неизбежным, экзистенциальное прозрение и обретение истины – птицы в темноте. Её голос, сначала кажущийся далёким и почти неправдоподобным, становится всё отчётливее, всё ближе внутренний Иерусалим и *«голубого неба Мекка»*:

орнитология любви
и колыхающийся воздух,
где в золотой пыльце обвис
ночной шатёр.
во сне воссоздан
рисунок девственной луны,
лежащей яблоком на блюде.
где чувства все обнажены
пока по-птичьи многолюден
внутри твой иерусалим
и голубого неба мекка.
где голос просит
– исцели…
от человека человека.

ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ ДНА

(Юлия Гайнанова, Бутылка. Книга для тех, кто любит выпить. – М.: «Городец», 2021, серия «Психология в кармане». – 180 с.)

Приходилось ли вам время от времени испытывать непреодолимое желание уйти в запой и взглянуть на мир сквозь призму розовых спиртовых очков? Уверена – большинство людей (при условии их честности) ответят положительно. Я тоже не исключение – и признаться в этом нетрудно, когда можно заплатить откровенностью за откровенность.

Книга с неприглядным бытовым названием «Бутылка», написанная Юлией Гайнановой, представляется невиданной смелостью – даже новаторством. Отнюдь не в силу новизны проблематики (она как раз совсем не нова), а скорее потому, что автор решился рассказать о том, о чём люди обычно предпочитают не рассказывать, оставляя некоторые факты своей жизни частью семейных тайн или персональных скелетов в шкафу. *«До последней точки не была уверена, смогу ли таким смельчаком стать я. <…> Но потом я поняла, что мне ни капельки не стыдно. Я никогда не делала ничего плохого другим людям – только себе. И я бы не была такой, какая есть, если бы не мой опыт».* Уже в этом месте повествования хочется автору поаплодировать. Бесценная и крайне редкая способность принятия себя *«без купюр»*, во всём диапазоне падений и взлётов – залог будущего счастья и повод дочитать книгу до конца, извлекая для себя полезные уроки.

К слову сказать, произведения подобного рода ещё мало востребованы российским издателем и читателем. Не каждый в состоянии оценить подвиг автора, дерзнувшего превратить вредную привычку в предмет художественного изображения. Это в Европе всяческие дневники трезвости и романы наподобие «Элеонор Олифант в полном порядке» Гейла Ханимена, по всей вероятности, получают достаточное одобрение общественности. У нас нет. По словам самой Юлии, именно эта невостребованность на рынке книжной продукции была причиной непростой судьбы «Бутылки», в тиражировании которой изначально было отказано.

Но сейчас я держу эту книгу в руках – и это значит, что автору удалось «достучаться» до читательских сердец. И до моего тоже. Первое впечатление, когда только пробуешь на ощупь этот незнакомый словесный «водоём», довольно странное и необычное. Кажется, что тебя заставили подсмотреть в замочную

скважину рядовое собрание клуба анонимных алкоголиков – где каждый встаёт, представляется и рассказывает о чём-то очень сокровенном. Тебе и стыдно, и неловко, и любопытно одновременно. Ты хочешь развернуться и уйти – но уже не можешь. Ты должен дослушать эту историю во что бы то ни стало, потому что в мире нет ничего притягательнее чужих тайн. Уверена – автор понимал это изначально, используя подобный ход как механизм подключения читательской заинтересованности в происходящем, вовлечённости в него и даже ему сопричастности.

Жанр книги весьма необычен. Как уже заметил кто-то из рецензентов, здесь можно «узреть» сразу несколько жанров. Лично я увидела здесь исповедь, эксперимент и блоггерские заметки «в одном флаконе». И всё это так органично сочетается, что вызывает ощущение абсолютной цельности замысла. Заодно хочу напомнить о своей рецензии на книгу современного писателя и политика Максима Привезенцева, посвящённую истории создания и падения крупнейшей российской строительной корпорации. Рецензия называется «„Реалити-шоу“ как новый жанр в художественной литературе». Именно такая ассоциация пришла мне тогда на ум – вот здесь тот же самый эффект. История Юлии Гайнановой не кажется тщательно продуманной, переданной на основе прошлого опыта – она живая, становящаяся, рождающаяся буквально на наших глазах. И это, безусловно, большой плюс. Введение второго персонажа, Полины, было необходимо, как минимум, по двум причинам. Чтобы создать атмосферу непосредственного общения, самонаблюдения и обмена опытом в ходе «эксперимента трезвости» и чтобы сделать повествование фактически достоверным. Одно дело – когда ты описываешь только свои ощущения. Тогда это только твоя индивидуальная история. Совсем другая ситуация – когда у тебя есть «соучастник», испытывающий в одно с тобой время приблизительно то же самое. А если, наряду с этим, попутно рассказывать аналогичные истории несчастных девушек, потерявших себя в серой зоне между алкоголиками и умеренно пьющими? Это уже повод задуматься, оценить происходящее как некую закономерность, ожидаемую линию поведения. Так что форма подачи материала, выбранная Юлией, кажется мне в высшей степени удачной, бьющей в цель.

Ещё одно немаловажное наблюдение состоит в том, что автор книги – безусловно, хороший психолог, который умеет учиться на собственных ошибках. Три главных вопроса, возникающие в ходе эксперимента для двоих участников, заданы очень правильно, так как затрагивают глубинную суть проблемы: что заставляет нас пить, можно ли избавиться от алкогольной зависимости и стоит ли трезвая жизнь того, чтобы ради неё лишиться любимой многолетней привычки? Ответы на них и составляют подлинное содержание книги. И сама Юлия, и её напарница Полина, оглядываясь на свой личный опыт, приходят к одним и тем же выводам: их пьянство – итог наследственности, реакции на запросы социума, ожидающего определённых моделей поведения, и, конечно же, глубокой неудовлетворённости собой, неуверенности в себе. Последняя причина – тот самый *«больной мячик для пинг-понга»*, на котором красуется надпись *«Страх, что меня не любят и не уважают»*. Всё дело в нас самих, и если у нас возникает желание «запить» негативные чувства алкоголем – ни окружающие, ни законы социума тут по большей части ни при чём. Главная героиня книги это прекрасно осознала: *«От ссор с сестрой или мамой к разводу, я прохожу этот сценарий вновь и вновь, заливая переживания достаточным слоем алкоголя, чтобы смотреть на боль с улыбкой, сваливать все на жестокость одних и несовместимость с другими, когда дело всего лишь в моём восприятии»*.

А что же общество? Безусловно, оно тоже подливает масла в огонь, создавая особый имидж алкоголя, якобы сопровождающего по жизни успешных деловых женщин. На благодатной почве огонь моментально вспыхивает, и свою главную цель Юлия Гайнанова видит в том, чтобы *«подпортить имидж алкоголю»*. Удаётся ли ей это сделать? С моей точки зрения, безусловно. И для успеха предприятия не используются какие-то особенные средства – достаточно голой статистики и понимания того факта, что люди пьют не от того, что им хорошо, а совсем наоборот. «*Алкоголь это не круто, не гламурно и не весело. Алкоголь – это то, что вызывает сильную зависимость и становится опасным для жизни*», – таков главный авторский аргумент.

И далее Юлия абсолютно честна со своим читателем. Она не обещает лёгких путей избавления от вредной привычки, не сулит радужной и счастливой жизни в трезвом состоянии – напротив, она делится своими собственными трудностями, неизменно возникающими на этом пути. Сомнения, срывы, самоедство – эти три «с» неизбежны для каждого, кто решился выбрать дорогу трезвости. Как видим, никакой агитации – только желание поделиться собственным опытом, который реально был «сыном ошибок трудных», хотя в конечном итоге и привёл к успеху. И никакого самомнения – всего лишь констатация факта: *«Вокруг меня люди один за одним признаются в том, что тоже хотят попробовать. Попробовать жить без алкоголя. Я ничего для этого не делала, даже не заставляла читать эту книгу, честно-пречестно. Просто своим примером посеяла мысль о том, что так тоже можно. И эта мысль многим пришлась по душе»*.

На последний вопрос (стоит ли трезвая жизнь того, чтобы предпочесть её алкогольному забытью?) тоже получаем искренний ответ: *«И я могу с уверенностью сказать, что мне по душе моя сегодняшняя жизнь. Многое из того, что происходит в ней сейчас, каких-то пару лет назад казалось чем-то невероятным»*. Далее перечисляется далеко не один аргумент в пользу трезвости – с какими-то из них наверняка можно поспорить, опровергнуть, но то, что автор приводит в качестве «главного бонуса», на мой взгляд, неоспоримо и исклю-

чительно важно: *«Но самый главный бонус моего предложения – попробовать трезвую жизнь – это не оздоровление организма, а знакомство с собой. Вполне возможно, это знакомство не всегда будет лёгким и приятным, но, по крайней мере, оно состоится. Я думаю, нам всем ужасно не хочется прожить, так и не узнав, что же мы на самом деле хотим».* Все мы приходим в этот мир с определённой миссией и для осознания некоего смысла существования. Но обрести и тем более реализовать своё подлинное «я» под алкогольными парами не представляется возможным. А вот совсем себя потерять в этом случае легче лёгкого.

Думается, что эту книгу Юлия Гайнанова написала даже не столько для своего читателя, сколько для самой себя. В одной из глав она высказывает мысль о том, что «*человеку… нужно дать коснуться дна, прочувствовать его <…> и понять, что выбора нет…».* Суть эксперимента, предпринятого автором, заключалась именно в том, чтобы достичь предела, опуститься на самое дно и взглянуть с его «высоты» на себя новую, не отрицая при этом себя прежнюю: *«Каждый опыт был мне нужен и сделал меня женщиной, которая написала эту книгу. Может, это были происки музы, чтобы выпустить джинна таланта из моего худосочного тела».*

Нет более надёжного способа отпустить своё прошлое, чем написать об этом, сделав личную тайну общим достоянием. «Бутылка» – своего рода зарубка, веха, знаменующая новый этап жизни совсем ещё юного автора. Хочется пожелать ему новых взлётов и новых блестящих побед над собой. Уверена, что так и будет.

ПЕСНЯ ТИХАЯ ОБЩЕЙ ЛЮБВИ

(Никита Пирогов, Дом света. – СПб., CheBOOKsary, 2021. – Книжная серия мини-отеля «Старая Вена» и издательства «Free poetry» – 47 с.)

Что определяет подлинность поэтического слова? Искренность, способность в каждом образе и в каждой фразе «проговаривать» себя – делиться с миром своей неповторимостью, своим особенным стилем жизни. Всё это присутствует в творчестве Никиты Пирогова – поэта, фотографа, художника, практикующего монаха-буддиста. Книга «Дом света» поразительным образом высвечивает все его ипостаси одновременно.

Трудно не согласиться с автором предисловия Аллой Горбуновой в том, что поэзию Никиты можно сравнить с экзотической бабочкой. Я бы добавила к этому наблюдению ещё и сравнение с каким-нибудь диковинным растением – не садовым, а дикорастущим, лесным или полевым. Здесь всё особенное, «инаковое», слегка непривычное для нашего вкуса. Всему причиной – чистота и почти детская непосредственность авторской мысли, непринуждённость речи лирического героя, в общем-то не ориентированного на среднестатистического читателя. Его главный адресат – мироздание, всё окружающее, мыслимое как единое целое, как живой организм, способный видеть и слышать, воспринимать обращённую к нему мольбу. В конечном итоге, это диалог с Богом, понимаемым как стихийная сила природы, высшая энергия жизни. Безусловно, Никита-поэт и Никита – носитель духовного знания идут здесь рука об руку. Влияние «И Цзин», священной «Книги перемен», одной из старейших книг в мире, и в целом буддийской практики на художественное мировоззрение автора «Дома света» очевидно. На этой же культурной почве вырастает творчество Никиты-художника и Никиты-фотографа.

Бесконечное дарение и благоденствие, обнаружение в человеке его божественного начала, жизнь в единении с миром – вот ключевые идеи жизненной философии Пирогова, проявленные и в стихах, и в картинах, и в фотографиях. Здесь уже нет отдельных видов искусства, как таковых – есть причудливая, эклектичная картина мира, в которой поэзия и танец, живопись и священный обряд, становясь единым целым, транслируют индивидуальный духовный опыт общения автора с человеком и природой. С этих позиций и стоит оценивать «Дом света»:

полотна старого на столе –
память – чаши полной до края;
слепок плеч, торса, волос запах.
предметность тела. красного

вина пятно на матовой ткани
бечёвка, перетягивающая посылку
выстиранные носки, улыбка
тёплые руки, открытый взор

шаги неспешные неторопливо
дождь ровный вода нагая
вопрос поставленный без уловки
и жизнь такая

Жанровые границы текста как будто размыты. Он не просто фотографичен – он ещё и кинематографичен. Помимо локальных цветовых пятен, «предметности тела» и случайных образов здесь есть ещё запахи, звуки шагов, шум дождя, ощущение тёплых рук. Стихотворение напоминает импрессионистскую зарисовку, в которой всё представлено на уровне случайных авторских ассоциаций. Движение само по себе воспринимается как некое духовное усилие – попытка «сбросить» с собственной жизни ненужное, насосное, оставив только подлинную суть: *дождь ровный воду нагую вопрос поставленный без уловки.*

«Красота жизни в её простоте», – как будто хочет сказать нам автор. Оттого и речь его проста, непринуждённа, свободна от грамматических условностей и строгих языковых канонов. Рифма здесь часто отсутствует – есть только ритм, интонация, передающие течение самой жизни. Учитывая буддийский опыт автора, его причастность к духовным практикам, можно определить его стихи как тексты-медитации, тексты-молитвы, адресованные всем и каждому в отдельности. Стоит ли говорить о том, что все эти молитвы – о мире и счастье, о благополучии духовном, физическом и материальном? Их чтение действительно приводит к состоянию покоя и умиротворения, рождает веру в лучшее:

рис облаков, белесая взвесь чистоты
успокаивающая и дарующая прощение
тем, чьи руки горячие и глаза
смотрящие в глаза ненавидящим
лишь любовью и состраданием
озаряли тьму
хранящую свет
нерождённый
рисовых облаков
небесную песнь

Несмотря на то, что автор никогда не обращается напрямую к читателю, мы как будто ощущаем его метафизическое движение по направлению к нам, его очевидную эмпатию, открытость и готовность к диалогу. Этот диалог – не что иное, как совместное проживание ситуации, вовлечённость в неё. Совместность и соучастие – пожалуй, главные категории поэзии Никиты Пирогова. В этом смысле его стихи похожи на духовные путешествия «по ту сторону» – за грань видимого, в область неочевидного. Как ни парадоксально это прозвучит, но «Дом света» – это приглашение к сокровенному разговору, к мистическому акту духовного обнажения, в результате которого искомый свет и обретается. Каждый, соприкоснувшийся с этими текстами, достигает просветления.

Невольно вспоминаются слова недавно ушедшего поэта Андрея Таврова о сущности творчества: *«Каждая вещь мира спрашивает человека, кто я? <…> Ответ формирует нас самих и утверждает вещь в её высшем достоинстве и в бытии, если ей повезёт с ответчиком. Кто я? – спрашивает мир художника, святого, наблюдателя, кто я? Помоги мне заново родиться, брат, сестра. Не торопись…».* Эта эстетика вопрошания ощущается и в книге Никиты Пирогова. Она и начинается с вопроса:

что внутри тебя?
рассвет, канон
что снаружи?
ветер, пейзаж –
перламутровым звоном рассыпались звёзды дней
что летит свободно? –
слово, морская гладь
что остаётся человеку делать? –
петь, танцевать и верить в лучшее

Поразительно, но стихи Никиты, иногда напоминающие живописные полотна, а иногда похожие на заклинания, могут сближаться в том числе и с танцем. Причём танец мыслится как священный ритуал – уже упомянутое совместное действие, всеобщее проживание состояния гармонии и красоты мира. Танец – освобождённая энергия мира, открытие его потаённых ресурсов, направленных на добро и созидание:

давайте же потанцуем
на траве на полу на камне
на мелком песке
давайте же отдавать

Поэзия Никиты Пирогова учит самому простому, которое одновременно и самое сложное – жить полноценно, радуясь каждому дню, любить бескорыстно, быть открытым по отношению к людям. Многие ли из нас могут похвастать подобными умениями? Боюсь, что нет. Человек, исковерканный цивилизацией, забывает, что значит жить в единстве с природой, со всем миром и другими людьми. Чтобы «выправить душу», надо вернуться к началу – к собственному естеству, которое не ставит границ между «я» и «все остальные». Сделать подобное совсем непросто, но Никита знает, как минимум, два к этому пути: память и способность созерцать. Тема воспоминаний, особенно детских и юношеских, становится одним из ключевых лейтмотивов книги. Только на волнах памяти человек может доплыть до искомой, обетованной земли, способной приблизить к радости «дословесного знания» и дать услышать «ритмы ударов сердца в глубине земли»:

девять балтийских камушков,
осколков гранита
в сердце моём
далеко от родной земли
прорастают свободой памяти

фантомной болью земли
светящейся на закате
ледником и былью,
рыбой, выпрыгивающей из воды;
в радости уходящего дня – фотографией,
находящей выход к себе и миру

Текст преобразуется в арену встречи разных ипостасей творца, и вот уже Никита-поэт протягивает руку Никите-фотографу, потому что их навеки соединил Никита-философ и восточный мудрец, понимающий, что мир, так же, как и мы в нём, целостен и неделим, и постигаем интуитивно. Все виды искусства в какой-то мере олицетворяют высшую интуицию и высшее знание о мире. Будучи философом созерцающим, а не умозаключающим, певцом чувства, а не разума, автор книги «Дом света» иногда уподобляется хайдзину, японскому страннику, воспевающему всё вокруг, стремящемуся постичь скрытую красоту предметов, переживающему моменты «мистических прозрений». Некоторые стихи Никиты очень напоминают японские хойку:

объём воздуха в кронах
пальм и цветущих манго
желтоватое поле тропинок

В трёх строках уместилось целое мироздание – и подтекст здесь гораздо важнее текста. Важен даже не смысл, а ощущение: здесь и блаженство, и пристальный взгляд художника, готового мгновенно запечатлеть увиденное, и состояние, близкое к катарсису.

Пытаясь ухватить самую суть, духовную сердцевину поэзии Никиты, я невольно вспоминаю строки из поэмы английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта: *«всё в хоре гимн любви поёт: зверь, птица, мотылёк и плод»*. Именно такую *«песню тихую общей любви»* поёт нам Никита Пирогов. Стоит только прислушаться к ней – и двери дома солнца откроются, чтобы, возможно, дать нам ключ к постижению самих себя.

ЛЮБОВЬ В ПРЕДЕЛАХ ЗОНЫ КОМФОРТА

(Гуляева Ольга. Солнце, луна и оборотная сторона: повесть. – Красноярск: ООО «Литера-принт», 2023. – 172 с.)

Все люди без исключения хотят быть любимыми. При этом нередко любой ценой. При этом совершенно не интересуясь чувствами и желаниями того, кто собственно является предметом их любви. И когда отношения, реальные или мнимые, заходят в тупик – на помощь приходит психолог или… маг. Маг даже предпочтительнее – люди ему больше доверяют. Но вот последствия любого вмешательства в естественный ход вещей никто предугадать не может.

А лучшее, что может произойти – избавление незадачливого клиента от эгоцентрических очков. *«Если в человеке есть хоть капля адеквата, я её достаю и ему предъявляю»*, – признаётся поэт и писатель Ольга Гуляева. Её книга «Солнце, луна и оборотная сторона» – весёлая и грустная одновременно, с потрясающей авторской иронией, и написана лёгким слогом. Но это отнюдь не беллетристика. Все рассказанные истории – не вымысел и не плод богатого воображения – это результат личного опыта персонажа, от лица которого ведётся повествование. Опыта, полученного в ходе работы психологом и экстрасенсом.

Сам по себе возникает вопрос: каким образом человек, далёкий от магии, решился вступить на эту весьма непростую и даже опасную стезю? Ответ до банального прост – к этому решению его сподвигло отнюдь не открытие паранормальных способностей, а элементарное желание не умереть с голоду:

Любому человеку, даже ужасному человеку, необходимо есть, необходима крыша над головой, особенно когда зима близко. <…> А человек один, с которым в газете работали, сказал: – Ты подай объявление – магия, гадания – и деньги будут у тебя. У меня жена этим занимается – всегда деньги есть. Подумать только – просто поговорила с человеком, и есть деньги. – Это же обман всё, – сказала я. – Они сами хотят, чтобы их обманывали, – сказал человек, – они специально для этого приходят. И я подала объявление.

Предельная откровенность главной героини повести может оттолкнуть читателя, но лично меня она подкупила. *«Гадание, помощь в решении материальных проблем. Помощь в решении личных, семейных проблем. Эффективно…»*. Скажу честно: при чтении этого объявления на какой-то момент у меня невольно возник соблазн: «А что если тоже попробовать?».

Ситуация вполне реальная, даже бытовая. И читатель уже напряжённо ждёт, когда герой книги начнёт беззастенчиво обманывать несчастных людей, оказывая им ложную помощь за большие деньги. Но не всё так просто, как кажется. Оказавшись в шкуре мага и экстрасенса, «почти Бога», бывший продавец и работник газеты становится своеобразным наблюдателем и тонким знатоком человеческих характеров, нравов, отношений. А может, он и был таковым, но дело даже не столько в этом. Дело в том, что близкое знакомство с разными людьми (при этом столкнувшимися с почти одинаковыми проблемами) для человека умного и тонко чувствующего становится прекрасной возможностью ещё более усовершенствовать эти свои качества. И поводом для философских обобщений, глубоких умозаключений.

Но начнём по порядку. Вся повесть состоит из различного рода историй, где-то смешных, где-то грустных, где-то до боли узнаваемых. Над некоторыми ситуациями, в которые попадают герои и героини, искренне смеёшься, поражаясь неудержимому желанию клиентки (или клиента) ценой любых лишений добиться желаемого, глубокой уверенности людей в чудо магии. Чего только стоит история богатой, абсолютно уверенной в своей неотразимости, но не очень удачливой в любви Леночки, готовой ради возвращения своего Артурчика на всё – даже сожрать целое блюдо конского навоза:

Если ты серебряной ложкой в полночь, в полнолуние, наберёшь в хрустальное блюдо конского навоза и, запивая красным вином, съешь этот навоз до рассвета – придёт твой Артурчик. Только навоз ты должна найти сама, иначе не сработает <…> Съела конский навоз. Ради любви. Всё блюдо съела. Артурчик, естественно, не пришёл.

Тут даже не знаешь, чего больше хочется – плакать или смеяться. Если смеяться – то над людской глупостью и наивностью, если плакать – над тем, что таковой слишком уж много в мире, и без того несовершенном.

А вот истории про трёх Вадюсиков – Первого, Второго и Третьего – цепляют уже совсем по-другому. В какой-то момент тебя внезапно передёргивает от чувства гадливости, омерзения, негодования, которые способен вызвать мужчина никчемный, несостоятельный и недалёкий, но при этом считающий себя императором, вершителем женских судеб. Ну подумаешь – уговорил жену переспать с другом у него на глазах, ну подумаешь – регулярно попрекал любимую женщину в том, что делал ей подарки (не всегда, кстати, дорогие). И уж тем более непонятно и оскорбительно, когда мужчине делают замечание, что у него сильно пахнут ноги – что же тут такого, он же на работе был: *«– Все вы, женщины, одинаковые, – создал на своём лице подобие улыбки Вадюсик Третий»*.

И уж совсем невесело становится, когда одинокая пожилая женщина 72-х лет при живом сыне фактически сходит с ума от одиночества, являясь к экстрасенсу в сопровождении своего единственного друга – игрушечной собачки Миленочки с золотым ошейником и розовой шерстью. Или когда приличная на вид врач-терапевт хочет убить собственного зятя, а женатый сын объявляет мать сумасшедшей, чтобы беспрепятственно забрать часть денег от продажи квартиры. Поневоле вспомнишь Булгакова с его проницательной идеей о том, что квартирный вопрос людей испортил.

О чём бы мы ни читали – всегда отчётливо ощущается настроение автора, который лишь внешне остаётся безучастным и нейтральным ко всему происходящему. Его персонаж то искренне забавляется, позволяя себе почти хулиганские выходки в виде совершенно нелепых рекомендаций клиентам, то откровенно иронизирует, доходя в своей иронии до сарказма и язвительности, то искренне переживает за судьбы тех, кто может оказаться невольной жертвой чьей-то неуёмной и крайне требовательной любви. И весьма нередко камушек оказывается брошенным в огород своих же коллег – «целителей человеческих душ» психотерапевтов, порой не имеющих за душой ничего, кроме «диплома и понтов», а соответственно, не способных излечить чью-то чужую душу:

Тем и отличается психотерапевт от мага дикого, что у него, у психотерапевта, этический кодекс есть, безоценочность, которая определяется ценностями в системе, не беспорядочно, а также вечная эмпатия, это фигня такая, когда хочешь – не хочешь, а радость от появления клиента изображать надо. Сами-то психотерапевты всегда говорят, что они – люди особенные, будто бы истину знают и душу понимают человеческую, а это претензия уже о-го-го какая…

У лирической героини Ольги нет претензий и посягательств на звание знатока человеческой души, но при этом есть человеческое любопытство – не пустое и праздное, а вызванное сочувствием и желанием помочь «заблудившимся по жизни» людям. Сделанные по ходу повести наблюдения выдают в авторе человека умного, наблюдательного, хорошо разбирающегося в человеческой природе. Трудно, например, не согласиться, с тем фактом, что самой сильной и глубокой нашей привязанностью является любовь к самим себе – к своему уникальному и неповторимому, весьма эгоистическому «Я», требующему постоянного пребывания в привычной зоне комфорта. Спутника жизни или друга мы нередко выбираем именно по принципу его соответствия этой зоне:

…мои клиенты, уникальные личности, повторяют вслед за интернетом: «Я буду делать так, как удобно мне, а если он (она) меня любит – пусть будет со мной, учитывая моё Я». И плевать уникальной личности на то, что это не он (она) сидит напротив меня, напротив меня сидит Я, бессмысленное, беспощадное и абсолютно обезличенное интернетными статьями о том, как всегда оставаться в зоне комфорта.

Читаешь подобное – и слёзы наворачиваются, и сами собой вспоминаются многократные случаи из жизни, когда причиной несостоявшихся любовей и дружб становилось именно это пресловутое желание угодить себе, любимому, освободить свою драгоценную личность от токсичных притязаний окружающих. И совершенно очевидно, что персонаж, от лица которого ведётся повествование – хороший маг и хорошая гадалка. Потому что и психолог хороший, и к людям, при всей кажущейся нейтральности, тоже небезразлична.

Тем не менее рассказчик, не скупящийся на открытые порицания мнимых психологов и слишком уж самовлюблённых посягателей на чужую жизнь, использует и чисто художественные приёмы опосредованного, образного выражения своей мысли. Сюжет и композиция книги обогащаются философской главой обобщающего характера и двумя вставными новеллами. Так, глава «Твоя жена истеричка, или Пособие для сильного человека» – нагляднейший образец абьюзивных отношений партнёров, в которых один – обязательно тиран, а другой – обязательно жертва, чьи права регулярно нарушаются, нанося непоправимый ущерб личному спокойствию и качеству жизни. Каковы же основные правила «сильного» мужчины, вступившего в брак с «истеричкой»? Ни в коем случае не уделять ей внимания (не заслужила), научить её понимать желания мужа без лишних слов и объяснений, внушить ей мысль, что заработанные совместно деньги – это всегда общий капитал, независимо от того, кто сколько зарабатывает, заставить супругу жить и работать на себя, любимого, регулярно отказывать в интимной близости и все слова, адресованные ей, свести к следующему минимуму: *«1. Дура. 2. Жадная дура. 3. Толстая (худая) дура. 4. Слышь. 5. Принеси. 6. Почему посуда грязная (пол, ваши носки, под кроватью, под сервантом)».*

Грустно, не правда ли? Но Ольгу в излишнем феминизме и односторонности взгляда не уличишь. Отдельного внимания заслуживает сквозная новелла о любовном треугольнике, возникшем в отношениях Анны, Кристины и Петра – по сути, это искусно сделанный фельетон, в котором присутствуют элементы гротеска и фантасмагории, правды и вымысла, реальности и сказки. Той сказки, в которой ложь – всегда намёк. Но самая главная ценность новеллы в том, что она наглядно демонстрирует, как теория гадания трансформируется в практику. Каждая из историй, произошедшая с главными героями, обозначена подглавами-названиями старших арканов карт таро – и является практической трактовкой указанной в карте проблемы.

И жутковато становится в этом абсурдном карточном мире, где люди умеют всё что угодно – приносить на алтарь любви своё тело, экспериментировать с несколькими сексуальными партнёрами, иногда вымышленными, типа глиняного Петьки, управлять поведением возлюбленного с помощью крепкого Нахера и Пенделя, мстить бывшему любовнику, вплоть до желания убить и отобрать всё имущество. Даже воспылать страстью к серийному преступнику Чикатило можно – невозможно только по-настоящему полюбить в этом безумном-безумном мире, где страдания покинутого любовника – не более чем детская эгоистическая обида (зачем не дали желаемую игрушку – хочу её!) или потребность в удовлетворении похоти.

И над всем этим откровенным безобразием с высоты небес и прожитых веков наблюдает главный резюматор повести и своеобразная проекция самого автора – создатель знаменитого «Сказания о письменах» черноризец Храбр. Он же тоже жертва – это ведь его текст, его труд *«во благо и Господа, и людей, и письменности»* употребили не по назначению, а чтобы Словом вызывать «страсть паскудную у людей».

Никак «мудрый дурак» не мог взять в толк, почему люди «подменяя ценности, всё же никак не поймут, какие из них благо, какие – не благо». Но в итоге остался при своём, решив, что, вопреки мировому хаосу, найдётся прочитавший его тексты *«умный человек и добрый вместе с тем <…> и проникнется, и будет в мире хоть немного порядка…»*.

Всем известно, что вначале было Слово – и автор этой книги тоже ведь воздействует на нас, читателей, своим словом. И становится понятно, что мы, читатели, тоже его клиенты – со своими проблемами и тараканами в голове, со своей неискоренимой любовью к собственному эго, мешающей построить подлинное личное счастье.

И в конце своих размышлений хочу задать автору только один вопрос: «Ольга, когда можно будет записаться к Вам на приём? И есть ли скидки для постоянных клиентов?».

БЛИЗКОЕ НЕБО

(Элина Сухова, Одна большая любовь: рассказы. – Смоленск: Свиток, 2023)

Поэт, прозаик, журналист Элина Сухова, автор книг «Вверх по реке, вниз по реке» (2001), «Вишневый остров» (2009), «Вещь человечья» (2022), пишет в своих рассказах о повседневной жизни людей и их преданных спутников – животных. Читать это непросто, порой до слёз. Здесь всё, как в жизни: смех и слёзы, радостное и трагическое. Но при всем этом очевидно: автор – счастливый человек. Подлинное счастье – любовь ко всему вокруг, от былинки до человека, и безоговорочное принятие жизни во всех проявлениях. Героиня Элины прекрасно понимает: у всего есть и тёмная, и светлая сторона, печаль и радость – рядом, а подлинная романтика не исключает грязной и опасной работы.

Об очаровании обыденного – многие её рассказы, в том числе и те, где затронута особенно близкая автору тема – лошади и всё, с ними связанное. По словам самой Элины, вся её жизнь, с двенадцати лет, прошла на конюшне. Волонтёр, даром отдающий свой труд и время лошадям, ночной дежурный, конюх, наездник, судья на бегах, коневладелец – все эти роли ею освоены, и тема преподнесена с тонким знанием дела, начиная с терминологии, не всегда понятной читателю, но до мелочей знакомой автору. Что, скажем, значит фраза *«тротящие рядом шеф с помощником»*? Заглянем в специальный словарь: трот – это тихая рысь. Тогда как мах – рысь резвая, почти полёт, сбой – переход рысака в галоп, проскачка – обгон галопом. Но дело, конечно, не в языковой подкованности автора, а в особом чувстве, которым полна каждая строчка о лошадях. Это чувство полного душевного и духовного единения с животными, способными заменить героине друзей и родственников. Ярче всего эта мысль выражена в рассказе о жеребце Грише. Лирической героине становится страшно: настолько сильную чувствует она психологическую зависимость, искреннюю первую влюблённость – но не в человека, а в лошадь. Ей приходится даже прибегнуть к медицинской помощи и получить вердикт о «зоофилии»: *«Поняла только, когда шеф с ним, с Гриней, на гастроли уехал, на месяц. У меня <…> внутри холодно стало. <…> От пустоты этой дышать больно. Вот тут и призадумалась я, крепко призадумалась. О том, что не так как-то я к Грише отношусь, что-то болезненное в этом есть, а то и – не божеское. А коли болезненное – лечиться надо…»*.

Но даже когда Гриша гибнет при пожаре, любовь не ослабевает, а так и остается с ней. Первым, ярким, искренним чувством – на всю жизнь. Благо, муж всё понимает и не осуждает её, даже когда она гладит его по затылку, *«где шёрстка плотная такая»*, и называет Гришенькой. В этого Гришеньку, упомянутого уже в первом рассказе «День», невольно влюбляется и читатель. Автору удаётся найти цепкие, хлёсткие слова, преобразующие историю общения человека и лошади чуть ли не в откровение: *«Вот теперь, когда всё стихло, я приду и буду долго стоять и разговаривать с ним, прижавшись к тёплому боку. „Гришенька, солнышко! Рыжий-рыжий, конопатый! Ножка болит? Разотрём… Морковь-то ешь, мытая!“ Но Грише нужна не морковь, а я»*.

Кажется, ради таких минут человек и рождается, и живёт с пониманием высшей цели – даже если ради этого приходится убирать навоз и препираться с начальством.

Сухова милосердна не только к животным – к людям она так же внимательна и добра. Хотя кажется, что иногда, сравнивая их с животными, автор предпочитает вторых. Собаки, кошки, лошади, птицы не способны на плохие поступки – они добры по рождению, хотя уязвимы и беззащитны. А люди могут быть разными. Есть и те, что кажутся суровыми, но обладают золотой душой. Такова обладательница вечно орущей коровы Ленка с улицы Линейной – и внешне убогенькая, и на словцо крепкая, и, кажется, только и ждёт, чтобы избавиться от надоевшей рогатой подопечной. Но едва «в корове включается сирена» – в неказистой её хозяйке включается божий человек, и уже от его лица звучит монолог: *«Уй ты, лапочка, уй ты, милочка! – сюсюкающе заводит Ленка. – Пить захотела, хорошая моя! Сейчас, сейчас! – И, не прощаясь, припускает к своему дому»*. Или дядя Коля из рассказа «Домострой». В нём, казалось бы, ничего примечательного, кроме странной клички «Левый» и смешного говора: *«из трёх слов два матом»*. Но это лишь на первый взгляд. А правда в том, что именно дядя Коля, тогда шестнадцатилетний парнишка, *«в тот год проклятый, сорок второй»* помогал отцу главной героини заново поднимать после пожара дом.

Именно он стал для двоюродной племяшки наставником, благодаря которому она *«и с молотком ловкая»*, и *«за рубанок знает с какой стороны взяться»*.

Бывает и иначе: зло маскируется под добро, человек мельчает. И улица Линейная, по которой ведёт нас автор в одноименном рассказе, становится фолкнеровской Йокнапатофой. Вслед за автором читатель видит, как вырождается сельский житель и отживает своё деревня. Вот Лариса Николаевна, мечтающая сплавить мать в дом престарелых. Вот тётя Рая: она эксплуатирует родственников, пользуется трудом соседки и немощной старухи для тяжёлой физической работы, пока *«внучка Раина, Ксанка, с мужем сидят, кушают, чай пьют, телевизор смотрят»*. Вот Витька Морозов, Дяденька Недодел – всё у него из рук валится, хозяйство в запустении, а потомство свою жизнь с деревней связывать не хочет. Все типажи узнаваемы.

Рассказы книги связываются в единую нить благодаря особому настрою авторской мысли. Из нагромождения бытовых деталей, неприглядных мелочей вдруг вырастает другой пласт реальности – будто открывается портал, за которым человек предстает иным. Свободным от временного, наносного, хрупким и прекрасным в своей бессмертной сущности. Всё, что от него остаётся – любовь. Она не может исчезнуть, она – вечный мостик между любимыми и любящими. Человек прирастает другим, если живёт ради других и способен понять ценность любой души. Об этом, например, – в лирически-философских рассказах «Свойство памяти», «Переход», «Всё выше…», «Дух домашней бабушки»: *«Но бабушки, когда переселяются, становятся очень хрупкие. На них нельзя визжать и кидаться. Нужно только вот так – подумать, протянуть свою любовь, и бабушка непременно придёт. Их тут много вокруг, я уже не очень помню, как моя выглядела, только всегда-всегда чувствую, как она меня любит. Это потому, что бабушки состоят в основном из любви. Когда они уходят, переселяются в деревьев, духов и ауров, – их любовь никуда не девается. И всегда можно дотянуться до неё, раствориться в ней – тёплой и родной душе вечной домашней бабушки…»*.

Высокое всегда рядом, даже если оно внизу, буквально под ногами. А далёкое небо может стать близким, если носишь его в себе и не боишься раздаривать окружающим. «Близкое небо» Элины Суховой стало для меня большой радостью, возможностью веры в человека и его духовное величие.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«ГАРМОНИЯ РОЖДАЕТСЯ ИЗ ХАОСА…»

(Герман Гецевич, Геометрия судьбы. Избранное. – М., Издательство «У Никитских ворот», 2022. – 512 с.)

Есть поэты, после которых остаётся долгое эхо. В день памяти встречаются друзья и почитатели, звучат стихи и песни. И мыслится: жизнь человека была не напрасной. Поэт Герман Гецевич работал врачом на «Скорой помощи». «Спасал людей, а себя спасти не сумел», – сказал о нём коллега по перу Виктор Коллегорский. После безвременного ухода Гецевича вышли сразу две его книги: «Свой космос» и «Геометрия судьбы». «Геометрия» значительно шире и основательнее, чем «Космос», как по объёму, так и по содержанию. Творчество Германа привлекает внимание как авангардистов, так и сторонников классического стиля. Поэт успешно работал в каждом из этих направлений, разных по своей сути. Лично для меня Гецевич – классицист «пастернаковского» разлива, совершавший успешные «набеги» в авангард. Но даже авангардные стихи часто у него зарифмованы – рифмовал Герман прекрасно и, конечно, использовал свои сильные стороны в творчестве: «гармония рождается из хаоса: / между словами затесалась пауза / и в густоте иного вещества / утратили значение слова / плотней чем воздух и длинней чем Яуза / исчадье МХАТа – чеховская пауза / есть спазмы слов и смысла закрома / но в паузе – Поэзия сама/ и если юность – алый призрак паруса / то смерть и старость – безусловно – пауза / не затянулся б только их постой / чтоб пауза не стала пустотой».

Первая книга Гецевича, вышедшая посмертно, «Свой космос», в какой-то степени заполнила вакуум полного отсутствия его книг. Но «Геометрия судьбы» открывает нам неизвестного ранее Германа Гецевича. Послушайте, как пронзительно пишет он об уходе своей матери: «Стёрла смерть с лица земли / Грим, / Твой уход был, как с небес / Гром, / Крематория коптит / Дым, / У тебя теперь другой / Дом. / Ни обид теперь, ни бед / Нет, / Вряд ли обувь на ногах / Жмёт, / Ты оставила такой / Свет, / В горечь дёгтя подмешав, / Мёд. / Память прошлого нельзя / Смять, / Пламя плоти не унять / В стынь, / Разве можешь ты не знать, / Мать, / Как страдает без тебя / Сын. / Будто горла поперёк / Лёд, / Каменеет на губах / Крик, / Неизбежный твой итог / Влёт / Сбил, как птицу, мою речь / Вмиг».

Это стихотворение явилось для меня открытием и откровением: раньше я не встречал у Германа таких сентиментально-взволнованных и энергичных стихотворений. Здесь у него, по выражению Марины Цветаевой, появляется «удар». Поэт носил фамилию матери, что заставляет предполагать, что между ними была не только кровная, но и духовная связь. Герман признаётся, что они с мамой были как одна нота: «Нам выдано сполна, / Без всякого расчёта. / Как чёрный хлеб и соль – / терпение и боль. / Меж нами есть одна / Пронзительная нота: / Ты – ля-диез, / Я – си-бемоль». Музыканты знают, что визуально это одна и та же нота, просто в диезной тональности это диез, а в бемольной – бемоль. Но звук у них – один и тот же. Бросается в глаза ритмическая одарённость Германа. В новой книге представлен цикл стихов, посвящённых маме, и ни одном из них ритм не повторяется.

Гецевич – поэт Москвы. Вдумайтесь только: у него больше ста стихотворений о Москве (у Пушкина – 6, у Лермонтова – 8, столько же – у Окуджавы, у Цветаевой – 24). Конечно, важно ещё и качество стихов, но и с этим у Германа, как мне кажется, всё в порядке. Его стихи о Москве интересны своей многомерностью. Москва дарит поэту множество сюжетов, как будто это не город, а живое существо. Внутри «московской» темы у него всегда есть минимум ещё одна тема. Вот, например, стихотворение «Около Гоголя». Герман рассказывает о судьбе памятника писателю, и мы с горечью понимаем: судьбы памятников ничем не отличаются от судеб людей. Их так же гнобят, сносят, ставят порой в такое место, где их никто не видит. Гоголь у Гецевича вызывает сочувствие; в описании памятника присутствует какая-то щемящая личная нота: «Уткнувшись лицом в облупившийся цоколь, / Изведав сполна: осужденья, нападки, / В районе Арбата – андреевский Гоголь – / Сидит на отшибе Собачьей площадки. / С бульвара намеренно перенесённый, / Он загнан, задумчив, но, не успокоясь, / Следит с любопытством за каждой персоной: /

Всё ждёт ревизора по имени Совесть. / А рядом живые и мёртвые души – / Слились воедино, и мчатся куда-то. / Из Рима Россию он видел не хуже, / Чем склоны Полтавы с подмостков Арбата. / Тусуются около ватник и щёголь, / Что с лёгкостью врут на манер Хлестакова… / Как нравится вам эта публика, Гоголь, / И эта площадка двора проходного?». Я привёл здесь только фрагмент этого стихотворения, поскольку у Германа Гецевича многие стихи – достаточно длинные.

Среди московских стихов в «Геометрии судьбы» есть и верлибры, причём очень смешные – «Улица-Богородица» и «Трамвай №7». Приведу фрагмент из «Трамвая», воссоздающий атмосферу переполненного вагона: «а ну ещё чуток / а ну ещё малёк / а ну ещё разок / не стойте у дверей / пройдите же вперёд / упёрся как баран / ведь это вам не то / ведь это вам не там / ведь это не такси / оплачивай проезд / нашёлся моралист / да сам ты педераст / а ведь товарищ прав / на линии контроль…». Мы видим, что творческая палитра Германа Гецевича чрезвычайно широка и разнообразна. Представлены в новой книге и его переводы, и детские стихи, и песни, и даже хокку.

Но любимой стихотворной формой был у него сонет, который состоит всего из 14 строк. Гецевич перевёл все 154 сонета Шекспира. Конечно, есть у него и свои собственные сонеты, которые он назвал «нумерологическими». Блистательная техника помогает Герману справляться с таким коварным и требующим мастерства поэтическим жанром, как сонет. Выдумщик, тонкий лирик, мастер чеканного слога, Герман Гецевич оставил нам ценное свидетельство о процессе стихосложения – как это происходило с ним самим: «Бывает так: / Ни слёз, ни мук, / Душа на всё / Молчит в ответ, / И вдруг из тьмы / Какой-то звук, / Какой-то знак, / Какой-то свет… / И появляется / Строка, / И вновь уводит / За собой, / Не в черновик, / А в облака / Какой-то миг, / Что был судьбой. / Какой-то миг, / Какой-то час, / Какой-то год, / Какой-то век… / Но я ещё / Всего лишь часть, / Хотя уже – / Не человек. / И по лицу / Стекает спесь, / И чувство ходит / По пятам, / Мне всё равно: / Где – там, / Что здесь, / Ведь я давно / Не здесь, / А там». Действительно, вдохновение для поэта сродни «выходу из тела», которое часто встречается в трудах мистиков, экстрасенсов и иллюминатов. Фраза «хотя уже – не человек» у Гецевича сражает наповал. Талант поэта позволял ему стать более известным и востребованным, нежели это произошло при жизни. Такова была его «геометрия судьбы». Но мы, его читатели и почитатели, постараемся исправить этот недостаток.

СОНЕТЫ КАК СОНАТЫ

(Герман Гецевич, Двойная игра. Стихотворения. Ил. Елены Моргуновой и Рены Яловецкой. – М., «Пробел – 2000», 2022. – 60 с., ил.)

У безвременно ушедшего от нас поэта Германа Гецевича усилиями друзей и близких вышло несколько новых книг. И самая необычная из них – книга сонетов и хокку «Двойная игра». Конечно, эти жанры привлекают, в первую очередь, стихотворцев, у которых на хорошем уровне техника стихосложения. Но верно и обратное – незаурядный поэт способен оживить самую «мёртвую» форму. Что такое «нумерологические сонеты» Германа Гецевича? Это десять сонетов, посвящённых цифрам. Сама идея такого свода (не венка) сонетов оригинальна. Многие устойчивые словосочетания, пословицы и поговорки в русском языке (и не только в русском) связаны с использованием цифр. Например, «семеро одного не ждут», «не имей сто рублей, а имей сто друзей», «двум смертям не бывать, а одной не миновать». Многие поэты использовали в стихотворениях цифровые коды. Например: «Пошли мне, Господь, второго» (Андрей Вознесенский). «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (Пушкин). У прозаиков использование цифр приобрело ещё более массовый характер: «Десять негритят», «Палата №6», «Сердца трёх», «Двенадцать стульев», «Семнадцать мгновений весны» и т.д. Особенность «Нумерологических сонетов» Германа Гецевича заключается в том, что он использует только первую десятку, причём не от 1 до 10, как это обычно бывает, а от 0 до 9. Пожалуй, именно ноль – самая «трудная» цифра для обобщений. Вот что говорит Герман в нумерологическом сонете №0: «Внутри нулей, увы, не больше смысла, / Чем в сушках «Челночок»… любые числа / На ноль умножу, но не округлю». Помните, у Высоцкого в песне «07»: «Я согласен начинать каждый вечер с нуля!». Сам Гецевич считал, что нумерологические сонеты – лучшее из того, что он написал. Наверное, я мог бы на этот счёт с ним поспорить, но не успел. Незадолго до его ухода я выступал с ним в Доме Поэтов на вечере памяти Елены Кацюбы. Тогда, на слух, стихи Гецевича показались мне крепкими и мастеровитыми. «Двойная игра» это подтверждает.

СОНЕТ № 1

Как хорошо быть только единицей,
Изведать одиночество на вкус.
Умение от всех уединиться –
Не минус, разумеется, а плюс.

Быть в книге жизни вырванной страницей,
Рифмовкой ассонансной: грусть и груз.
Орлиным зреньем – зоркой единицей
В содружестве с девяткой зорких муз.

Чтобы однажды утром непогожим
Быть в городе единственным прохожим,
И не похожим быть ни на кого:

Какое счастье прогуляться, зная,
Что устарела формула земная –
Один за всех и все за одного.

Каждый сонет Германа Гецевича снабжён на левой стороне книжного разворота чёрно-белыми иллюстрациями Елены Моргуновой, что создает дополнительное пространство. Цифры и рифмы, стихи и иллюстрации словно бы затевают «двойную игру». У Гецевича, на первый взгляд, нет деления цифр на чётные и нечётные. Однако содержание сонетов наталкивает на мысль, что такое деление «в уме» автора существует. Так, «второй» – это уже «не первый». Ценен только первоисточник, остальное – вторично. У Гецевича получилось, что нечётные цифры «лучше» чётных: «Я – первый человек второго плана, / Я – первый из вторых, мой номер два. / И немота – достойная расплата / За все мои вторичные слова». Однако среди нечётных есть у поэта и такая «амбивалентная» цифра, как пятёрка. Она трактуется Германом и как «плохая», и как «хорошая». Безусловно, Гецевич наполняет свою «нумерологию» личными переживаниями. «У цифры пять – предательская нота, / От пятой точки глупо ждать побед, / Она распять пытается кого-то, / И этот кто-то, видимо, поэт». С одной стороны, пятёрка – отличная школьная оценка. И, вместе с тем, у нас есть пятая точка, пятая колонна, пятый угол, а раньше был ещё и «пятый пункт». Пятёрка – очень неоднозначна. Это и подчёркивает в своём сонете №5 Герман Гецевич. В целом, сонеты Гецевича звучат оркестрово, как сонаты. Поэт проявляет в них большую находчивость – не только смысловую, но и звуковую. Так, даже сады СЕМИрамиды имеют у него отношение к цифре 7.

Вторая глава книги посвящена «хокку по-русски» и тоже проиллюстрирована графикой – художницы Рены Яловецкой. Приведу примеры таких краткостиший: «На рукав реки / Нашиты звёзды листьев. / Жёлтое гетто». «Печаль в душе / Так глубока и страшна. / Как тьма в колодце». Невзирая на «карманный» формат издания, на страницах книги достаточно места и для стихов, и для иллюстраций. О Гецевиче оставили тёплые отзывы Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Юрий Ряшенцев, Евгений Рейн и многие другие поэты. Но публиковался он скудно – можно вспомнить разве что стихи в «Журнале ПОэтов». В нулевые-десятые годы у него не вышло ни одной книги. Последняя – «Скальпель», где были в основном авангардные стихи, – увидела свет рубеже столетий, в 2000 году. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась – вышло сразу несколько его книг. Появился материал для исследований его наследия: «Свой космос», «Двойная игра», «Сонеты Шекспира в переводах Германа Гецевича» и, наконец, «Геометрия судьбы». Хорошее подспорье как для лингвистов-филологов, так и для простых любителей поэзии.

«ДУША ПЕРЕКОДИРУЕТСЯ В СЛОВО»

(Константин Кедров, На дружеской ноге. Серия «Говорим о литературе». – М., Библио ТВ, 2023. – 328 с.)

Новая книга поэта Константина Кедрова – свод его лекций. Многие успешные лекторы рано или поздно издают книги по материалам своих выступлений – хотя бы потому, что всё это востребовано, за этим стоит большая работа и устойчивый интерес публики. На презентации своей новой книги Константин Кедров заметил: «Перевод устной речи в письменную – вариант всегда проигрышный. Самому себя редактировать невозможно. В творчестве душа полностью перекодируется в слово». Есть люди, которые настолько даровиты в устной речи, что боятся расплескать на бумаге своё лекционное вдохновение. Интеллектуальная мощь Константина Кедрова такова, что его устные произведения-импровизации практически равны по силе воздействия трудам письменным. Что же представляет собой его новая книга? В своих лекциях поэт говорит о близких ему по духу писателях прошлых лет.

Книга не случайно открывается статьей о Льве Толстом «Сила ненасилия». В настоящее время ненасилие для нас очень актуально. Часто звучат слова об искусстве как «мягкой силе». Но на деле правительства многих стран не следуют этому постулату. Литература не хочет с этим мириться, но политики попросту игнорируют слова писателей. Нравственные примеры Льва Толстого, Альберта Швейцера, Махатмы Ганди убеждает нас в том, что можно попытаться изменить мир к лучшему. Об этом пишет в своей новой книге Константин Кедров. Он убеждён: Толстого неправильно трактовали. Лев Николаевич говорил не о «непротивлению злу насилием», а о «противлении злу ненасилием».

Константин Кедров словно бы заново открывает самых известных в мировой литературе авторов – Гёте, Шекспира, Сервантеса, сообщает нам о зачитанных до дыр произведениях что-то такое, чего мы не знали или на что не обратили внимание. Это редкое умение. Находить новое в широко известном подвластно людям уникального таланта, которым, несомненно, обладает Константин Кедров. Его книга легко читается и воспринимается, поскольку речь в ней идёт о многократно прочитанных и не однажды экранизированных произведениях. Таковы, например, романы Александра Дюма. Кедров восстанавливает доброе имя Дюма, обвинённого критиками в попсовости и отсутствии глубины. Об особом, неравнодушном отношении Кедрова к творчеству Дюма я догадывался и ранее, поскольку одна из его недавних книг называлась «Де Тревиль метаметафоры». Поэт обращает наше внимание на религиозные аспекты романов Дюма, которые, по известным причинам, выпали из нашего поля зрения в советское время. Он выступает в новой книге как герменевт, который растолковывает читателям тайный смысл многих положений. Почему роман Дюма называется «Три мушкетёра», хотя мушкетёров на самом деле четыре? Оказывается, соотношение трёх к четырём – золотое сечение. Я далёк от мысли, что Дюма-старший держал это в голове, когда работал над романом. Но ведь мы анализируем заложенное в произведениях, чтобы самим пойти дальше! Сцена казни Миледи в «Трёх мушкетёрах» роднит, по мнению Кедрова, роман Дюма с произведениями Толстого и Достоевского. Как правильно судить человека – по совести или по закону? Константин Кедров не делает особой разницы между «открытыми» текстами Дюма-старшего и герметическими произведениями Флоренского и Даниила Андреева. Главное – понимание. Если произведение в нас резонирует, не важно, сложное оно или простое. Мы видим, что «простые» романы Дюма на самом деле хорошо продуманы и структурированы.

Каким бы глубоким ни был человек, сильнее всего в нём резонируют именно те произведения, в которых есть биографическая рифма с его судьбой. «Во мне, а не в писаниях Монтеня находится всё то, что я в них вычитываю», – говорил Паскаль. Существует и автобиографическая реальность Константина Кедрова. Казалось бы, что общего между «Графом Монте-Кристо» Александра Дюма и «Приглашением на казнь» Владимира Набокова? Оказывается, и там, и там герои стали жертвами доносов. Я, когда читал эти романы, специально на этом не акцентировался – там есть, на мой взгляд, множество более важных вещей. Но Константин Кедров просто не мог этого не заметить – сам он тоже однажды стал жертвой доноса. И, могу представить, он ощутил боль Эдмона Дантеса и Цинциннаты сильнее, чем другие читатели, которые в подобных ситуациях не бывали.

В новой книге много неочевидных ходов. Например. Шекспира Кедров подаёт… через Маяковского. Посыл здесь такой: гений всё схватывает на лету. То, что Шекспир нигде не учился, не доказывает, что его произведения писали другие люди. Маяковский тоже не учился – но стал великим поэтом, который блистал в стихах недюжинной эрудицией. Говоря о Шекспире, Кедров отмечает, что человеческий разум устроен так, что нам хочется «сделать бывшее не бывшим», поставить его под сомнение. Однако конспирологические теории вокруг Шекспира не учитывают того, что он гений. Гению не нужно долго учиться.

Очень удивила меня лекция Кедрова о Марселе Прусте. Казалось бы, Пруст – стилистически совершенно «чужой» для него автор. Но это не совсем так. «Человек Пруста – это человек, которого интересует всё», – говорит Константин Кедров. Это же, на мой взгляд, можно сказать и о нём самом. Ну, скажите, зачем писателю знать квантовую физику и теорию относительности? А Кедров этим интересуется, именно потому, что его интересует всё. А вот и разгадка его интереса к Прусту – Пруст улавливал бесконечность восприятия, чувств и ощущений. А бесконечность – горизонтально опрокинутая восьмёрка – это как раз сфера интеллектуальных и духовных интересов Константина Кедрова. «Пойманная, зримая, осязаемая, слышимая. ощущаемая бесконечность – это тот подарок, который принёс нам Пруст», – заключает писатель. Как и другой герой его книги, Павел Флоренский, Кедров исповедует «философию бесконечных зачатий». Ему интересны все – и классики, и авангардисты, и даже детские писатели.

С особой теплотой пишет Константин Кедров о Льюисе Кэрролле и его «Алисе». Он называет это «Евангелием от ребёнка». На ум приходит разве что ещё одно произведение, которое одинаково интересно как детям, так и взрослым – «Маленький принц». Однако, читая Кедрова, лишний раз убеждаюсь: Кэрролл глубже! Константин Кедров защищает фаустианство как способ познания мира. Причём его фаустианство не противоречит нашему православию, и это – ещё один парадокс мастера.

«На дружеской ноге», невзирая на легкомысленное, «хлестаковское» название, – книга мировоззренческая. Это не просто литературоведение. В русской литературе часто духовные книги маскировались под искусствоведение. Русская литература – настолько глубокая, что, просто комментируя и анализируя произведения Толстого, Достоевского и других великих писателей, можно совершать открытия. Константину Кедрову помогает в этом «сквозное» зрение: так, в главе о Дон Кихоте он параллельно рассказывает и о Гамлете, и о Тургеневе. Авторы и их произведения не существуют в мире обособленно. Везде есть пересечения, порой даже – из других литератур. В мире духовном национальность не так важна. Испанец Сервантес, немец Гёте, французы Дюма и Пруст, англичане Шекспир и Льюис Кэрролл стали такими же родными для русского читателя, как и свои, «доморощенные» писатели. Некоторых героев книги связывали

с Константином Кедровым дружеские отношения. Так, он дружил с философом-имяславцем Лосевым, говорившим «Бог не есть имя, но имя есть Бог», и вдовой Даниила Андреева, который открыл для нас «космическую реальность духовного мира».

Замечательное свойство новой книги Константина Кедрова заключается в том, что её невозможно прочесть залпом. Невольно останавливаешься и делаешь паузы, чтобы побыть наедине со своими мыслями, спонтанно возникающими во время чтения. «На дружеской ноге» Константина Кедрова может стать настольной книгой для мыслящей категории читателей. Это, на мой взгляд, энциклопедия разума.

«ГДЕ ОТ МИРА СКРЫВАЕТСЯ ДУХ…»

(Никита Брагин, Сансара. Поэзия XXI века. – М.: «Литературная республика», 2022. – 144 с.)

Поэт Никита Брагин выпустил новую концептуальную книгу. Эта редкая, необычная книга повествует об Индии, «о преимуществе мудрости над силой, святости над властью». Она говорит о главном в жизни человека, но, как и любая хорошая книга, часто не впрямую, а словно бы приглашая к сотворчеству читателей. Погрузиться в восточную атмосферу помогает авторское предисловие. Начальные стихи «Сансары» навевают у меня воспоминания об «Александрийских песнях» классика Серебряного века Михаила Кузмина. Никита Брагин не только воскрешает в «Сансаре» полузабытую в русском стихосложении традицию мелодического верлибра, но и творчески её развивает:

Будь я художником,
я стал бы ловить в облаках и горах
неповторимое и невозможное,
объединившее пламя и прах.

Будь мои пальцы
способны чувствовать нежное,
я стал бы скитальцем,
идущим за водами вешними.

Я искал бы образы,
и лучший, один из тысячи,
был бы попросту
в сердце моём высечен.

У Брагина, в отличие от Кузмина, свободные стихи зарифмованы, и это делает их более совершенными. Рифмы не мешают мелодиям слов, поскольку не тянут одеяло на себя и не отвлекают внимание читателей. Они настолько органичны и незаметны, что порой удивляешься, что в свободно дышащем тексте действительно есть рифмы.

Никите Брагину присуще особое видение и понимание мира: «вижу века заключённые в миг, / мира цветы и основы, / и на страницах божественных книг / всё пережившее Слово». Слово, Логос – сакральные понятия во многих религиях и философиях мира. Мы знаем, что в Начале было Слово. Согласно Никите Брагину, в мире останется «всё пережившее Слово». Читатель словно бы прикасается к тайне мироздания. В книге заложено драматургическое развитие, и неожиданно открываешь для себя больше, нежели ожидал по первым страницам. Происходит метаморфоза с лирическим героем книги. Он постепенно становится другим человеком в духовном преображении. Пытливый читатель также получает возможность самосовершенствования. Вот что творит с нами высокая литература.

У Никиты превосходный слог, однако достоинство «Сансары» – не только в этом. Стихотворной медитацией поэт вводит нас в сердце индийского мироощущения. То, что Никита Брагин долгое время работал в Индии, объясняет далеко не всё в плане его духовной инициации. Многие люди путешествуют, но кроме магнитиков с красивыми видами окрестностей из страны пребывания ничего не привозят. Никита же сумел донести до нас дух этой древней культуры. Такое, конечно, не каждому дано. Возможно, стремление понять эту загадочную страну, «в Индию духа купить билет», согласно Гумилёву, изначально присутствовало в душе поэта, и путешествие на Восток попало на благодатную почву. Автор ощутил духовное родство с индийской культурой: «И с любовью приближаясь к Сущему, / приношу грехи свои да раны, / чтобы обронить слезу горючую / прямо в сердце океана».

Цель такого проникновения в чужую культуру – самоочищение от всего наносного, что мешает человеку жить и творить. Приятное, полезное и духовное соединяются у автора в едином познании.

За скобками повествования слышится романтическая история, которая могла произойти с автором-героем здесь, в Индии. Кажется, прошла маленькая жизнь, принеся и радость, и печаль. История любви звучит, как флейта в большом оркестре мироздания, и это придаёт «Сансаре» необычное симфоническое звучание:

Бог босоногий на берегу морском
струны перебирает, и слушает глубь земная,
и отвечает море древним как ночь языком,
и отвечает небо, звёздный огонь роняя.

Звуки слетают со струн и рождают миры,
сонмы планет в небесах и цветов на ладони,
тихое счастье идущей от сердца игры
выше властей и строже буквы закона.

Музыку слышат капли морской волны,
гибкий росток и стойкая грань кристалла –
все дыхания мира названы и рождены,
жизнь обрела природа, только Творца не узнала…

Вал набегает на берег, смывая след,
и возвращается в море полоской пенной –
животворящий звук и сотворённый свет
ищут друг друга в звёздных кругах Вселенной.

Некоторые строфы Брагина по сути своей – философские гимны: «И соль труда, и слёзная юдоль, / и Дух, осознаваемый как боль / рождения и смерти… между ними / видения любви и красоты, / слова и песни, губы и цветы, / и Бога утешающее имя». Лучшие страницы «Сансары» родственны стихам Шри Ауробиндо из эпоса «Савитри». Поэту удаётся одухотворить даже телесное. Возникает трансцендентальная духовность, которая пронизывает все уровни жизни человека.

Из современных поэтов, как мне кажется, по настроению, по доминированию красоты над отклонениями от прекрасного, по верховенству радости жизни Никите Брагину близок Игорь Лукшт. Это «высокий штиль» письма. Так способны писать люди с Богом внутри: «Всей силой сознания, / всей музыкой, сердцем слышимой, / прошу подаяния / у Всевышнего». Лирика Брагина, как и у Шри Ауробиндо, стремится к эпосу: «Сердце бьётся, сотрясая горы, / плачет небо, наполняя реки, / подземелий каменные веки / отомкнутся скоро».

Повести Германа Гессе «Сиддхартха» и «Нарцисс и Гольдмунд» всколыхнули небывалый интерес широкой публики к индийской культуре. Строки Никиты Брагина убеждают меня в талантливости его поэтических интерпретаций индийской философии: «Бог родился, и кровь полилась, / солнце встало, горя и смеясь». Неспешность индийской жизни – важное различие между западной и восточной цивилизацией. Восточный человек никуда не торопится. Процесс познания для него не одномоментный. Пришёл, увидел, победил – это кредо европейца. Никуда не торопясь, индиец получает способность большего кругозора. Пешеход всегда видит больше, чем велосипедист или автомобилист: внимательность к внешнему миру обратно пропорциональна скорости передвижения человека. Внутренний мир индийца существует в согласовании с внешним: «Не палитра важна, не изящные абрисы, / а неспешный процесс творения. / Пусть душа раскроется парусом, / расцветая над тернием. / Пусть наполнится парус океанским дыханием, / и удержит, и понесёт его, / словно свет мироздания, / берегомый медовыми сотами». Мы опять видим у Никиты Брагина его излюбленный образ мёда как средоточия жизни. (Книга «Дикий мёд», 2018).

«Сансара» Никиты Брагина космична. «Широкая» индийская ночь открывает поэту дорогу в космос: «Звёзды – тот же песок / рассеянный в небесах, / небо – бескрайний берег. / Огромные волны света / каждый день набегают, и звёздный прах / каждую ночь остаётся / мерцать над планетой». У Брагина словно бы ночью открывается портал эзотерической связи с космосом, что роднит его индийские стихи с философской лирикой Фёдора Тютчева. Индийцы научились с течением веков «умиротворять» борьбу противоположностей, преобразовывая её в их единство. «Жизнь конечна, и этим прекрасна она», – пишет Никита Брагин.

Мне кажется, Никита Брагин, поняв суть индийской мудрости, в «Сансаре» словно бы переводит эту глубокую философию на русский язык, выступает медиумом, который связывает между собой наши культуры. В этом – важная миссия поэта, который не просто прикоснулся к чужой культуре, а фактически сделал чужое своим, не присваивая его.

Когда изменяется ход
вечного времени,
и стонет земля
под сошедшим с пути колесом,
когда незнакомый дурман
прорастает из семени,
и яд прилетает, невидим и невесом,

тогда ты уходишь
в безвидную глубь одиночества
сквозь серые сумерки,
и обостряется слух,
и мысль обнажённая
кружится как полуночница,
в пещерной тиши,
где от мира скрывается Дух.

Он спит и молчит, погружённый в покой и бесчувствие,
в невидимый космос,
не знающий звёзд и луны,
где воды живые
впадают усталыми устьями
в седой океан без единой волны.

А ты всё стоишь одиноко
на пепельной пристани,
и чувствуешь – ждут и молчат
за спиной голоса,
и душу вверяешь
огромной и горестной истине, ещё не открывшей глаза.

Просто хороший поэт завершил бы это философское пантеистическое стихотворение прикосновением к истине. Но поэту с искоркой гения этого, как мы видим, недостаточно. Он добавляет, что даже истина в этот час ещё не проявлена, «не открыла глаза». Подобно третьей стороне медали, она только ждёт своего выхода на авансцену времени. Это и делает стихи Никиты Брагина по-настоящему глубокими.

НЕНАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

(Станислав Айдинян, Тройное счастье. Пьеса в двух действиях по рассказу Аркадия Аверченко «Здание на песке». Сценическая редакция Станислава Айдиняна.
Андрей Краевский, Хмельной бродячий ветер с моря. Биографический очерк о А.Т. Аверченко.
– М., Серебряные нити, 2023. – 32 с.)

Станислав Айдинян составил сценическую редакцию рассказа Аркадия Аверченко «Здание на песке». Имя Аверченко сейчас изрядно подзабыто, а ведь он был своего рода «Жванецким» Серебряного века. Литература всегда мечтала о сценическом воплощении своих сюжетов. Ведь театр – это возможность за короткое время показать произведение большому количеству зрителей. Чтобы рассказ писателя был интересен театру, в нём, во-первых, должно быть много диалогов. Во-вторых, надо, чтобы зрителям было интересно наблюдать это действо. Всем этим критериям рассказ Аверченко отвечает как нельзя лучше. В советское время имя Аверченко не популяризировалось по понятным причинам – писатель выступил на стороне белогвардейцев, а затем уехал в эмиграцию. Пьеса Станислава Айдиняна воскрешает интерес к творчеству этого писателя. Я, например, не знал, что Аверченко похоронен в Праге. Возможно, пребывая в 2020 году в чешской столице, я бы отдал дань памяти автору и основателю журнала «Сатирикон».

В пьесе Станислава Айдиняна всего три персонажа. Об одном из них следует сказать особо. Александр – писатель, друг семейства. Он беседует с другими героями и одновременно комментирует происходящее репликами «в сторону», когда его не слышат собеседники. Фактически у Айдиняна это трансляция мыслей этого человека – мы ведь часто думаем одно, а говорим другое. «Раздвоение» речи у персонажа оказалось ходом весьма сценичным. Писатель Александр, в котором угадывается сам Аверченко, выступает связующим звеном между автором и другими героями пьесы. Это даёт нам возможность наблюдать

ситуацию одновременно изнутри и извне. Станислав Айдинян назвал свою пьесу «Тройным счастьем»: вместо одного ребёнка, «большого мальчика», что ожидалось супругами с нетерпением, у Липочки родилась тройня. И это так потрясло мужа Митю, что он во всём стал обвинять свою жену. Как будто, по выражению Пушкина, она родила ему «не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку». Пьеса построена на контрасте между противоположными состояниями Мити – от предметного обожания своей супруги – до предания её остракизму. Супруг испугался, что не сможет прокормить троих детей. Любовь у него внезапно превращается в ненависть, и это особенно больно для любимой женщины. Подобную метаморфозу в чувствах трудно вынести, особенно если ты ни в чём не виновен. «Тройное счастье» – это трагифарс, где нет положительных героев, и все персонажи вызывают сочувствие, даже опростоволосившийся в любви Митя. Истинная любовь не может обратиться в свою противоположность из-за неожиданных родов. Наверное, «муси-пуси» между супругами – это ещё не любовь, а настоящей любви всем нам неплохо было бы поучиться. У читателей книги – тоже своего рода «тройное счастье»: два писателя рассказывают о третьем, и делают это хорошо.

Сейчас, конечно, история, рассказанная в пьесе, в принципе невозможна – любое УЗИ сразу «посчитает» количество детей в животе у матери. Но это частности. Человек несовершенен, поэтому способен разрушить своё счастье по недомыслию, любым способом. Пьесу Станислава Айдиняна дополняет очерк Андрея Краевского о жизни и творчестве Аркадия Аверченко. Читаем у Краевского: «Постепенно он стал замечать в себе тягу к написанию острых, жанровых произведений малых форм, способных заинтересовать читателей узнаваемостью сюжетов, похожестью знакомых ситуаций, сдобренных лёгким юмором и доведённых иногда практически до абсурда». По степени абсурдности житейских ситуаций, на мой взгляд, Аркадий Аверченко – предтеча творчества обэриутов.

Андрей Краевский рассказывает биографию писателя настолько увлекательно, что всем сердцем сопереживаешь перипетиям его судьбы. Я бы только поменял название статьи. «Хмельной бродячий ветер с моря», на мой взгляд, здесь не годится, поскольку речь в статье идёт о «полнометражной» жизни человека, от рождения до смерти. Но сама статья – совершенно замечательная. Особенно хорошо удались автору страницы, посвящённые жизни Аверченко в революционное время. Меня поразило, насколько хорошо Андрей знает нашу историю. Интересное было время! Рассказывая об Аверченко, Андрей Краевский много рассказал нам и о самом себе – в частности, о своём отношении к революции. И здесь я солидарен и с Краевским, и с Аркадием Аверченко. Если бы эти события застигли меня прямо сейчас, наверное, я бы тоже выступил против большевиков – в пику всему тому, чему нас учили в советской школе. Краевский приводит много интересных фактов из жизни писателя. Однажды к нему в «Сатирикон» пришёл автор и принёс рассказ, где были такие слова: «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал деньги?». «Иностранных произведений не печатаем», – сказал Аверченко. Писатель был настолько популярен в России, что среди его читателей оказались даже Николай Второй и Владимир Ленин. Краевский пишет о том, что Аркадий Аверченко жил в достатке и комфорте, а его гонорары превышали доходы писателей Европы.

Книга Айдиняна и Краевского – хорошее подспорье для начального знакомства с Аркадием Аверченко и его прозой, которая всегда современна, ибо люди, к сожалению, не становятся со временем образованнее и культурнее, чем они были в начале прошлого века. Конечно, сатира – это специфическая литература, которая интересна далеко не всем. Многие люди предпочтут не бичевать пороки, а как бы не замечать их, жить на солнечной стороне бытия и не соприкасаться с грубостью и невежеством. Именно поэтому сатира всегда нуждается в спасительной помощи юмора. «Голая», не приправленная юмором сатира порой невыносима. А смеяться мы очень любим! Поэтому так популярны у нас «продолжатели» Аркадия Аверченко в роли «королей смеха» – Жванецкий и Задорнов.

«НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, ИЛИ ПАГАНИНИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

(Людмила Осокина, Причуды Влодова. Книжная серия «Судьбы выдающихся людей» (СВЛ). – М., «Вест-Консалтинг», 2023. – 60 с., ил.)

Вокруг поэта Юрия Влодова ходит множество мифов, и порой сложно различить, где вымысел, а где правда. Людмила Осокина в новой книге демифологизирует образ поэта. Но при этом фактически создаёт новый миф. Писательнице свойственна дотошность и пристальность зрения. Другой спутник жизни проживёт рядом десятилетия – и ничего не заметит. «Наверное, многие будут несколько изумлены тем, что я о Влодове тут написала, – говорит Осокина. – Он, конечно, был в своих привычках несколько диковат. Но что делать? Каким был, таким и был, другим его уже не сделаешь».

Честно говоря, я не так часто читаю биографические произведения, где главный герой был бы настолько «без глянца». Читая книгу Осокиной, я вдруг подумал: «Кроме двух извечных русских вопросов «что делать?» и «кто виноват?», наверное, есть и третий, который можно сформулировать так: «Нужна ли

нам такая правда?». У меня нет ответа на этот вопрос. Согласно Пушкину «тьме низких истин» противостоит на другом берегу «нас возвышающий обман». Иногда человечеству нужнее правда, иногда – «возвышающий обман». Людмила Осокина в книге о Влодове сообщает нам, в основном, «низкие истины», и это её неотъемлемое авторское право. Писательница старается быть объективной. Но порой её характеристики Влодова словно бы взаимоисключают друг друга, ведь человек он был непростой и сотканный из парадоксов. Например, вот он – «человек в футляре»: «Он был как бы в скорлупе, внутри себя, наружу старался не высовываться и случайным людям не запоминаться. Чтобы не опознали потом, как говорится, при новой встрече». А вот он, наоборот, распахнут и миролюбив: «Он старался быть с незнакомым человеком дружелюбным, изъявлял готовность к дружескому общению. Старался улыбаться и как-то обаять собеседника, чтобы вызвать ответное чувство приветливости. Вообще, во всем его облике была какая-то солнечность, теплота, приветливость, открытость. Он обращался с новым человеком как старый хороший знакомый, весь проникнутый дружелюбием и участливостью. Это действовало, и человек раскрывался перед ним, начинал рассказывать о себе, доверять ему свои проблемы, тайны как старому доброму другу». Ну чем не положительная характеристика? Поскольку поэт бывал разным, поймать его в фокус внимания непросто даже близкому человеку.

Особенности поэта трактуются Людмилой Осокиной достаточно мягко – как «странности» и «причуды». Однако в действительности Влодов выглядит со стороны настоящим дикарём. Но теневая сторона личности Юрия Влодова касалась исключительно тех, с кем он делил быт – официальных и гражданских жён. Для остальных поэт был коммуникабельным, весёлым и остроумным человеком. Подобно Рубцову, Есенину, Губанову, Михаилу Анищенко и многим другим знаменитым поэтам, у Влодова под влиянием алкоголя происходил полураспад личности. Он переставал быть приятным в общении, становился грубым, агрессивным, злопамятным и неуправляемым. Особенно страдали от него близкие люди – те, с кем он жил. В основном это касалось ревности, обычно беспочвенной. Но странности присутствовали у него и в трезвом виде. Конечно, звучит дико, что в 21-м веке поэт редко мылся, не носил нижнее бельё, по нескольку месяцев не менял носки и никогда не ходил к врачам. А свои гениальные тексты хранил где попало и часто сваливал в кучу под диваном. Людмила Осокина в «Причудах Влодова» практически не цитирует его текстов. Стихи остались в другом, идеальном, не замутнённом ревностью и пьяными выходками мире.

Странности и причуды были свойственны многим знаменитым писателям. Так, Даниил Андреев всё время жил в параллельной реальности, проваливаясь в мир своих фантазий. В путешествиях он срезал с обуви подошву, чтобы визуально быть обутым, а на деле – босым. Велимир Хлебников спал в дороге на наволочке, набитой рукописями. Эти странности, так или иначе, работали на талант, были частью мировоззрения гениальных поэтов. Удивительно, но гармонично развитая личность порой не достигает вершин в искусстве или науке. И наоборот, люди, лишённые многого, люди с клеймом неудачников, нищие и бездомные, прорываются в вечность, кристаллизуя свой талант. Они вкладывают всю тайную мощь своей души во что-то одно, и это срабатывает! А всё остальное, и прежде всего – быт, – остаётся «за кадром», без внимания творца. Закидоны, чудачества, отклонения, эксцентричность – вот полный «джентльменский» набор причуд Юрия Влодова, о которых рассказывает нам в новой книге Людмила Осокина. Наверное, поэт был психически болен. Но, поскольку к врачам он не ходил, его болезнь так и осталось для всех невыясненной. Сложно, например, понять и объяснить, почему он всё время прятал от жены одежду, словно боялся, что она может её испортить.

Книга Осокиной в достаточной степени метафизична. Приключенческий элемент в ней отсутствует, развитие и драматургия – тоже. Черты характера поэта словно вынуты из конкретных событий и представлены «голенькими». А вот сам Влодов, как явствует из воспоминаний Людмилы, не любил показывать своё тело. Многие его странности шли от характера и воспитания. Причуды Влодова проявлялись у него не единожды, они повторялись постоянно, становясь константой. Ничто человеческое было ему не чуждо. Конечно, Влодов во многом был продуктом своего времени, эпохи застоя. Сегодня жить с такими отклонениями от нормы было бы на порядок труднее. Книга «Причуды Влодова» является испытанием не только для автора, но и для её читателей. Но всё же я склоняюсь к мнению, что исследователю творчества писателя необходимо знать в деталях его жизнь, хотя бы в качестве контрапункта. Всё-таки он был гений – без его стихов, к которым сам он относился небрежно, по-хлебниковски, рассказ о его жизни теряет смысл.

«Вот что говорит Людмила Осокина: «Хотя выглядел он ужасно, но брал своей гениальностью и умением запудрить женщинам мозги, особенно поэтессам. Желание замаскироваться, спрятаться, чтобы не запомнили, не опознали, – это его привычка из криминального мира. Ведь если он вёл воровскую жизнь в годы молодости, то его в любую минуту могли посадить, было за что. Отсюда – привычка быть незаметным, невозможность жить оседло. Его могли просто повязать по месту прописки, поэтому он был вынужден скитаться. Отсюда – звериная психология, ненависть к обычным людям. Он очень хорошо умел манипулировать людьми, знал их психологию, особенно женскую».

В сущности, «Причуды Влодова» продолжают у Людмилы Осокиной «Халупу», только в «Причудах» писательница словно бы самоустранилась из биографического действия, перенеся всё внимание на супруга.

В «Причудах» она чаще выступает как сторонний наблюдатель. Людмила отмечает, что её воспоминания о Влодове могут не совпадать с отношением к нему со стороны других людей – тех, кто общался с ним редко и поверхностно. К таким людям он старался не поворачиваться тёмной стороной своей личности. Кроме «положительных» и «отрицательных» особенностей знаменитого поэта запоминаются и сугубо нейтральные. Рост его казался меньше реального из-за сильной сутулости. Тем не менее, Влодов мог «энергетически менять свою внешность». Согласитесь, не каждому такое по плечу. Но как раз для поэта это важная способность. В процессе чтения стихов мы способны менять внешность. Поскольку поэт родился в театральной семье, стихи читал он прекрасно. И не только стихи: «Он любил рассказывать всякие истории из своей или даже из чьей-либо писательской жизни, причем рассказывал это занимательно, в лицах, как настоящий актер, и все присутствующие валились со смеху».

Людмила пишет, что Юрию Влодову, как и знаменитому скрипачу Никколо Паганини, были присущи элементы демонизма. Он даже внешне немного походил на Паганини. Пока не требовал поэта к священной жертве Аполлон, его внешний вид мало напоминал вдохновенного мастера искусств. Безусловно, среди причуд гения, описанных Людмилой Осокиной, попадаются и смешные, и неудобные. Например, он ото всех болезней лечился… анальгином. Не слезал с телефона, читая стихи и болтая с друзьями без умолку. А бритьё для него было своего рода священнодействием: «Брился он не сидя перед зеркалом, нет, а на ходу, расхаживая по комнате, не глядя в зеркало. Заглядывал в него, когда проходил мимо, а так – весь процесс осуществлялся вслепую. Ходил, брился, размышлял о чём-то о своём. Это было сродни медитации». Безусловно, такие детали мог «подсмотреть» только близкий человек. Людмила сумела сохранить для будущих исследований реальный образ поэта Юрия Влодова, ничего в нём не приукрашивая. Поэт не играл – он жил такой жизнью. Хочу выразить благодарность вдове поэта Людмиле Осокиной за её ценные свидетельства.

«ТАКАЯ ЖАЖДА В КАЖДОМ ДНЕ…»

(Антонина Белова, Время не виновник. Стихотворения. – М., «Академия поэзии», 2023. – 112 с.)

Название новой книги Антонины Беловой – концептуально. Мы часто сетуем на время, что родились не вовремя, и нам постоянно чего-то не хватает – того, что могло бы осуществиться в другую, более тёплую для жизни эпоху. Антонина Белова убеждена: время неподкупно и неподсудно. Надо, прежде всего, разобраться в самих себе. Наверное, мы просто не настроены на своё время, и оно, как музыкальный инструмент, в нас не резонирует: «У тебя – рябина, / У меня – шиповник… / Ягода невинна, / Время – не виновник». Новая книга Антонины Беловой – авторское избранное из шести предыдущих книг. Стихи Беловой стилистически можно отнести к Серебряному веку русской поэзии. Культ красоты, жертвенность, пассионарность, духовность – всё это звучит во многих стихотворениях Антонины:

Как раковина без жемчужин,
Я постигаю пустоту.
А ты, что был как воздух нужен,
В чём ищешь смысл и красоту?

Как океан, большой, безмерный,
С приливом мощным и глухим,
Своих пристрастий рыцарь верный,
Тебе ли чутким быть к другим?

Я знаю, ночью океану
Легко разрезать грудь свою
И зализать морскую рану
Уже совсем в другом краю.

И эту вечную свободу
Над зыбью влажной и морской
Он не отдаст любви в угоду
Для бедной раковины той,

Чьё сердце волны тайно лижут,
Не замечая пустоты.
И ей всё кажется, что ближе
Луной рождённые цветы.

И, словно в мягкой колыбели,
Она уже не помнит ран,
В своём прозрачном, хрупком теле
Вмещая целый океан…

Вот вам и мостик к стихам Серебряного века: Антонина взяла образ у Мандельштама и Гумилёва и наполнила стихотворение своими переживаниями, ведь женщина в чём-то похожа на морскую раковину. В новой книге много стихов о любви. Любовь у поэта всегда – с призвуком потери. Она словно бы заранее обречена, продолжая жить только в идеальном мире воспоминаний: «Там любовь расставляла сети, / мы вошли в них легко, как дети… / Не забыть тот зовущий взгляд – / так лишь звёзды в ночи глядят».

У Антонины Беловой есть несомненный дар художника. Книгу «Время не виновник» открывает её автопортрет. И в стихах дар живописца проявлен очень ярко. Вот, например, встаёт перед глазами молодая женщина, похожая на Богоматерь: «Под липами в июньском ливне / Стою с младенцем на руках, / И в грозовом купаюсь гимне, / Поющем в лютнях-облаках, / Ищу божественного смысла / И понимаю гнев высот…» («Гроза на Патриарших»). Слово для Антонины Беловой – высший судья: «Слово ж, чуткое и строгое, / Не давалось вновь и вновь, / Надо мной, слепой, убогою, / Трепеща: «Не суесловь!». / Ускользая строгой тайною, / В сердце тоненько звеня, / Излучая изначальное – / Свет нетленного огня».

Благодаря таланту живописца, Антонине хорошо удаётся передавать состояние души через пейзаж. Она много путешествует, и в странствиях находит единодушие с природой. Антонина умеет по-тютчевски из описаний природы выходить на широкие философские обобщения. Рифмы поэт использует самые простые, но зато неизменно точные. Ведь главное в стихотворении – состояние души, и рифмы не должны отвлекать внимание от происходящего в повествовании.

Казачка, рождённая в предгорьях Кавказа, Антонина умеет в разных странах находить что-то родственное своей душе. Помогает ей в жизни и магия имени. «Моё имя меня хранит, / в нём и музыка, и гранит», – признаётся она в одном из стихотворений. Антонина часто использует в стихах инверсии. В одном стихотворении таких инверсий может быть сразу несколько: «охры мазок», «Москвы предместья», «августа дни», «змейками длинными», «осени новь» («Осень подкралась почти вплотную…»). Мне показалось, что инверсии в текстах Беловой не всегда улучшают звучание – «мессы звуки», «зова эхо», «лета поздний отрок», «строгий чёток ряд», «тополя вкус», «рая сады», «из неба сот», «трав прибрежных сладость сна». Возможно, это у поэта «высокое косноязычье», о котором говорил Николай Гумилёв. Есть среди инверсий и бесспорные удачи, например, «я люблю этот неба избыток…».

Антонина Белова повидала множество стран и городов. Но чувствуется, что совершенно особый для неё город – это Петербург. Именно Петербургу посвящено в новой книге много ярких, душевных стихов:

Этот разный тревожный город…
Там, где воздух Невою вспорот,
невод западный, город-щит,
где поэт не один убит.

Всё пространство твоё живое
дышит рифмами и судьбою.
Я люблю тебя, строгий град,
не насытивший жадный взгляд

Реки, парки, дворцы, каналы –
это судеб живых анналы…
Белой ночи жемчужный свод,
город-призрак над топью вод.

Мне кажется, люди редко сейчас задумываются о чистоте души, и напрасно. Сохранить себя во враждебном внешнем мире – важная задача для любого человека. Даже улыбка звезды у Беловой – «по-младенчески чиста». Жажда чистоты проходит через всю её книгу. Чистоты и душевного равновесия. Вот эти строки Беловой, на мой взгляд, очень важны для поэта, провозглашая её жизненное кредо: «Чтобы всё, что есть пустое – / Страхи, зависть, суета – / Всё оставить за чертою, / Чтоб душа была чиста». Стихи Антонины перекликаются со строчками Николая Рубцова: «До конца, до тихого креста пусть душа останется чиста!». Любимый цвет у неё – белый: «белой ночи струится фата, словно белая тайна листа». А нелюбимый – серый.

Белова – поэт, напоминающий людям о духовных ценностях. Есть в стихотворениях Антонины противопоставление мира красоты тяготам жизни. Два жизненных полюса, борьба и единство противо-

положностей. Островки красоты – словно бы награда человеку за жизненный стоицизм. И красота у Беловой побеждает:

Собор открыт, как сердце у святых,
и мрамор стёрт подошвами до края,
и на мозаиках пурпурно-золотых
луч веселится, радостно играя.

Поэту удаётся передать несуетное, нерастворимое счастье бытия. Вспоминаются строки из Евангелия: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Этот мотив часто звучит у Антонины Беловой. «Журавли унесли моё лето, / но на сердце светло и легко». Душа у поэта – «птица в инее». Стихи Антонины ритмичны и музыкальны. И время у неё – действительно не виновник, поскольку вечность объемлет всё на свете: «Вечное небо, небо Господне / в городе царском плывёт надо мной, / время земное – вчера и сегодня – / словно сокрыто его пеленой». Надо стремиться жить в вечности, в музыке. «Музыка не знает зла» – убеждена Антонина Белова. Мы видим, что многие её строки – афористичны. Стихи из новой книги Антонины – живые и настоящие. Даже в ранних её стихах мы ощущаем: в мир пришёл поэт, труженик, искатель: «Такая жажда в каждом дне / по правде – чистой белизне, / зимою – жажда по траве, / по беспредельной синеве / апрельского тугого неба, / как жажда рта по вкусу хлеба…». Ранние стихи, которыми заканчивается у Беловой новая книга, дают нам возможность оценить в целом её творческий путь: что получило развитие во времени, а что – было дано изначально:

Я улетаю, я сгорела
на этом празднике огня,
воспоминанье – моё тело,
пусть пепел подберёт земля.

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

(Эльдар Ахадов, След. – М., Издательские решения, 2023. – 74 с.)

Это небольшое по объёму издание продолжает у Эльдара Ахадова серию книг благодарности людям, которых он встретил в жизни, начатую книгами «Люблю и помню» и «Добрые люди». «След» – это живая память о важных для писателя людях. Однажды, перебирая домашние архивы, Эльдар Ахадов обнаружил на оборотной стороне старой фотографии письмо друга своей юности. Это всколыхнуло в его душе воспоминания о старом товарище. Книги, подобно стихам, тоже способны расти «из сора», из неожиданных находок. А ведь такую книгу способен написать каждый. О людях, оставивших неизгладимый след в душе. Конечно, рассказывать о родителях, братьях и сёстрах – решение для писателя слишком простое и банальное. Эльдар пишет о замечательном человеке, друге своей юности Игоре Копейко. Наверное, в юности дружба более избирательна – ты хочешь расти и выбираешь друзей именно по духу.

Есть что-то неуловимо общее между Игорем и Эльдаром. Думаю, дружба именно так и возникает. Друзей объединяет пассионарность, перфекционизм, неизбывная жажда во что бы то ни стало состояться в мире. «Моя первая в жизни книга стихов была собрана именно Игорем в 1982 году. ВРУЧНУЮ!!! 24 раза!», – говорит Эльдар. Настоящая дружба – это не только платоническая любовь, но и преданность, верность, готовность «выпрыгнуть из себя» ради друга. Игорь был человек порывистый, отчаянный – и, вместе с тем, думающий, пытающийся анализировать. Эльдар Ахадов рассказывает о своём товарище с нескрываемой любовью. Из новой книги я узнал о музыкальных пристрастиях автора книги. Это второй концерт Сергея Рахманинова, который Эльдар часто слушал в компании Игоря Копейко.

Второй концерт Рахманинова – квинтэссенция русского духа, распахнутого в мир. В нём звучит много восточных мотивов, и друзья бесконечно слушали это произведение великого русского композитора в Баку, насыщаясь его звуковой энергетикой. У Игоря Копейко была высоко задрана планка собственной состоятельности. Творческая неудовлетворённость не давала ему возможности спокойно жить и работать. Ему всё время хотелось достичь большего. Как будто он видел некий идеал – и никак не мог покорить его в своём творчестве. Рассказ Эльдара кинематографичен. Так и видишь его, обложенного подушками, чтобы не устать во время позирования художнику. Сожжение, на глазах позирующего, холста с неудавшимся, по мнению художника, портретом – жест отчаянный и сакральный. Начинаешь понимать, почему Гоголь мог сжечь том «Мёртвых душ». Я никогда не видел Игоря Копейко, но Эльдар рассказал о нём так, что я зримо представил себе этого человека и прожил с ним часть своей жизни. Собственно, жизнь и держится на таких людях, как Игорь. Без них она стала бы скудной и однообразной. Мы не только – современники, мы – продолжение друг друга. Может быть, Эльдару удастся доделать то, что не успел доделать его друг Игорь Копейко.

«О не лети так, жизнь!», – воскликнул однажды популярный актёр Леонид Филатов. Хочется остановить мгновение, вне зависимости от того, прекрасно оно или нет. Сократ говорил, что характер человека – его демон. У Игоря была, судя по его текстам, какая-то «бедовость», болезненный перфекционизм: «Только боль одна и даёт нам ощущение жизни. Боль света. Как смерть. Как жизнь. Боль рождает свет». Вспоминаются строки Блока: «Радость – страданье одно». Новая книга Эльдара Ахадова снабжена рисунками Игоря Копейко и факсимильно набранной первой книгой поэта. Эта книга, изданная в белорусском Солигорске в 1982 году, когда там работал молодой Ахадов, носила странное для русского уха название: «Дуэнде». Это персонаж испанской мифологии, что-то вроде гнома-домового.

А ещё в «Следе» представлены философские мысли из писем Игоря. «Художник – прежде всего тот, кто способен открывать и восхищаться, кто умеет любить до забвения и не боится быть ребёнком». «Сегодня я чувствую себя совершенно счастливым. И совершенно одиноким. И свободным, потому что только таким и может быть подлинное счастье, другого я не знаю… Единственное, что я имею, это работа – на полных оборотах, вразнос, взахлёб, потому что остановка – это гибель». А вот здесь, возможно, сокрыта тайна гибели Игоря Копейко (он упал с высоты): «один японский художник-авангардист в приступе вдохновения бросился с небоскрёба на разостланное на земле полотно, создав тем самым посмертную картину. Он нашёл самый непосредственный способ самовыражения…». Это фрагмент из письма Игоря к Эльдару. Была ли его гибель несчастным случаем? Или он пытался повторить опыт японского художника? Никакого полотна на земле в момент гибели Игоря Копейко найдено не было. Эльдар Ахадов в новой книге создал замечательный портрет своего друга, художника. Словно бы взамен того, сожжённого автором. Рукописи не горят. Не горит память.

Книга Эльдара Ахадова посвящена не только памяти Игоря Копейко. Поэт также рассказал в новой книге о других близких людях, которые сыграли важную роль в его судьбе – об Анатолии Хлебникове, Николае Стенине, Иване Ушакове, Константине Цитлидзе. В основном это коллеги Эльдара по работе в качестве маркшейдера. А ещё с одним героем книги Ахадова мне посчастливилось быть лично знакомым. Речь идёт о красноярском писателе Михаиле Стрельцове. Михаил часто бывал по литературным делам в Москве. Мы встретились в Музее Серебряного века на вечере Ирины Горюновой. Михаил показался мне человеком весёлым и жизнерадостным, «моцартовского» плана. Естественно, мы заговорили с ним и об Эльдаре Ахадове. Стрельцов попросил меня выделить несколько экземпляров моей книги об Эльдаре – «Взгляд из вечности» – для библиотек Красноярского края. Но книги появились у меня уже после того, как Михаил уехал из столицы. Решили передать их с нарочным – знаменитым красноярским писателем Евгением Поповым, который участвовал в нашумевшем ещё в советское время альманахе «МетрОполь». Попов оказался человеком с большим чувством юмора. Когда я спросил у него по возвращении: «Ну как, довезли книги?», он моментально отреагировал: «А Вы хотели, чтобы я их выбросил из самолёта?». Безвременный уход из жизни Михаила Стрельцова – наша общая утрата.

Новая книга Эльдара Ахадова называется «След». Это книга-поступок, книга-деяние. Достаточно ли мы сделали в жизни для того, чтобы оставить свой след? Каждый вправе задать себе этот вопрос. А закончить эту статью я хочу строчками из раннего своего стихотворения:

И, простят потомки мне за смелость,
Но, идя навстречу звёздной мгле,
Лишь одно
на свете
мне б
хотелось –
След души
оставить
на земле.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НОВАТОРСТВО АЛЕКСАНДРА ЛАЗАРЕВА

(Александр Лазарев, Такие пироги. – М., Издательство «Перо», 2023. – 128 с., ил.)

У Александра Лазарева попеременно выходят книги стихов и прозы, что заставляет читателей гадать, какое амплуа у него – главное. Я думаю, что главные – оба, поскольку в каждом из этих жанров у писателя есть свои козыри. Вот и в этот раз, признаться, Александр удивил меня тем, что «построил» издателя и верстальщика книги в угоду принципиальной своей концепции. В чём она заключается? Александр подробно рассказывает об этом в предисловии к новой книге, которое он написал в форме диалога между Автором и Журналистом. Дело не только в том, чтобы убрать из текста чёрточки переносов. Александр Лазарев ратует за смысловые переносы: «По применяемой мною разбивке строк, они организуют фразу,

обязывают подбирать слова: например, более короткие в написании эпитеты, которые вдруг могут оказаться более точными. Также стараюсь, чтобы в большей части строки и ритм был не хаотичный».

Для чего это всё делается? Послушаем автора: «Книга должна быть максимально удобной для чтения, восприятия, для сопереживания». И ведь трудно что-то возразить! Но если, скажем, я поставлю перед издателем такую задачу, он может вообще отказаться меня печатать. Где-то вёрсткой занимается теперь искусственный интеллект. Как заставить его соблюдать эти правила? Как бы там ни было, я рассматриваю новаторство Александра Лазарева как важный шаг в эстетизации процесса издания прозаических книг. Со стихами, конечно, всё намного проще.

Теперь о самой книге. «Такие пироги» – автобиографическая повесть, раздробленная на лирические фрагменты. Это поезд воспоминаний. Безусловно, это проза поэта. После «Мёртвых душ» Гоголя я бы даже осмелился заявить, что «Такие пироги» – «поэма». Вот как автор описывает звёздную ночь своего детства: «Вспорхи летучих мышей, какие-то вскрякивания, шорох ежей, призывное пение лягушек, и вдруг… звон в ушах от внезапной тишины на четыре такта паузы ночной жизни насекомых и птиц». «Такие пироги» – это гимн прошлому, стремительно уходящей от нас эпохе: «Жалко мне молодых! Никогда они не попробуют живую пшённую кашу на надоенном с утра молоке под пузырящейся корочкой цвета червонного золота, запечённую в древнем чугунке и поданную бабулей на ухвате из русской печи. Не проедутся на телеге, покачиваясь на стожке сена, а то и верхом на спокойной кляче… Не услышат блаженное покрякивание поросёнка, валящегося на бок при почёсывании ему пуза. Не спать им под самой крышей на душистом сеновале, под умиротворяющий летний дождь, и вдруг проснуться ранним утром от суматошного сообщения наседки: «Я раз-ре-ши-лась!». Не слышать задорного хорового пения под гармонь. Не дружить им так искренне и бескорыстно… Всего этого у них уже не будет в этом суматошно-бестолковом и не очень уже родном для людей мире». Согласитесь, это поэма. А у Александра Лазарева, с его фирменной разбивкой строк, текст смотрится и читается ещё лучше!

Это такая проза, которую хочется обильно цитировать – всё «вкусно», с толком и расстановкой, язык великолепен: «интерес к женскому племени у меня был пиковый, запредельный и редкостно ранний». Уменьшенный формат делает книгу очень удобной для чтения. В детстве и юности автор много путешествовал как спортсмен. Сумы, Паневежис, Йошкар-Ола – география спортивных поездок Александра впечатляет. Впоследствии Лазарев работал в спортивной медицине. В новой книге он вспоминает и об этом периоде своей жизни. На приём к нему приходили интересные и своеобразные люди, о которых невозможно забыть. Встречаются в книге и философские рассуждения: «Человечество делится на две несопоставимые доли: не имеющих денег и… редкостных, кого деньги имеют. Увы, среди редкостных критически мало человеков, ибо за лихую возможность вступления в трепетные отношения с деньгами тем обособленным приходится платить частицами, а то и ломтями своей души. Так уж устроен этот свет». Мысли, конечно, не новые, но Александр рассказывает об этом так ярко, такими эксклюзивными словами, что это впечатляет. Можно с уверенностью сказать, что главный герой новой книги – это её язык. О каких-то вещах, о которых и говорить вроде бы «не принято», Лазарев ухитряется рассказать легко и поэтично.

Книга хорошо продумана и структурирована. В ней есть зачин (бабушкина деревня), развитие (спортивные лагеря СССР и врачебная практика в «Спартаке» и «Динамо»), кульминация (для меня это – «Ехал грека через реку», рассказ, посвящённый памяти друга, который был автору как alter ego), и развязка. В целом, «Такие пироги» – это взгляд автора на прожитую жизнь с высоты своих лет. Колесо обозрения, вращаясь, высвечивает разные эпизоды его жизни. В сущности, «Такие пироги» – это продолжение книги «Жисть», которую издавала Дана Курская в «Стеклографе». «Сколько ценного утрачено по недомыслию и рассеянности! – сетует Александр Лазарев, – нет у меня фотографий с Бесковым, Федотовым, Газзаевым, Черенковым… Ну вот зачем я всегда выходил из кадра при появлении фотографа или телеоператора?». Действительно, излишняя скромность не «украшает человека», а вредит ему. Но есть память. И есть слово. Они и противостоят у поэта энтропии, сберегая для современников и потомков его живую «жисть».

«Я ЛЮБЛЮ ТРЕВОГУ И ТРЕПЕТ…»
о поэзии Софьи Паперной

Стихи Софьи Паперной необычны и талантливы, в них есть свой особый мир. Ритмические верлибры позволяют создавать собственную интонацию. В текстах Софьи присутствует то, что Виктор Шкловский называл «остранением»: её поэзия разрушает стереотипы. Это синтетичный стиль письма, в котором есть всё – и размышление, и красота, и гармония. Софья работает в смешанной технике – реалистичные картинки перемежаются у неё с сюрреалистичными. Как это состыкуется в одном произведении – большая тайна. Возможно, это тайна и для самого автора. Однажды познакомившись с её текстами, вы будете всегда узнавать её творческий почерк. Такова магия подлинного искусства. Обычная бытовая картинка у Софьи Паперной может взорваться неожиданной сюрреалистической метафорой. Например, в ярком портрете бабушки: «В её складках на лбу застряли вырезки из газет».

Обвожу реальность пунктиром –
Вырезаю сердечки и черепки.
В это время бабушка встаёт кормить свои мысли видом из окна.
Она поднимает свою тяжёлую косу и наливает в чайник жёлтую воду.
Ей давно уже не снятся сны.
«Чья ты дочь?…», – думает она.
От тела ничего не осталось, а человек есть.
Душа ушла в пятки, натёртые душными туфлями.
Она повторяет –
«Здравствуйте, девочки».
Она знает –
Упадёшь к маме под одеяло и уже не вернёшься.
В её шкафу все вилки заржавели по весне.
В её складках на лбу застряли вырезки из газет.
В ушах зазвенело 3 года назад.
Её ноги в тапочках приросли к паркету около кровати.
«Выложи деньги на подоконник в полнолуние!», –
говорит она.
Ох, бабушка, любимая моя бабушка,
Пусть никогда не застынет твой выдох.

В стихах Паперной привлекает свежий взгляд на привычное и каждодневное. Мелкие детали складываются у неё в большие полотна. Стихи Софьи, с одной стороны, социальны, с другой – космичны. Её старики, окружённые детьми и внуками, одиноки перед космосом. Они должны уйти из этого мира, поскольку всё живое на земле подчиняется единому закону, который хорошо сформулировал философ Анаксимандр: «Из каких начал вещам рождение, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности». Для природы это не трагедия, а вот для человека и его родных – большое несчастье. Никому не хочется покидать мир даже в немощи и дряхлости. Тяжело прощаться. Софья Паперная поэтично рассказывает о таком расставании: «Дети приходят, / Смотрят, / Помнят глаза – / Потому что они прощаются. / Дети приходят, / Они говорят: / «Там облака и / Как во сне – / Невозможно моргать».

Мне кажется, Софья нашла свой личный выход из этой драмы. Этот выход – поэзия. Особенно явственно это ощущается в мистерии о Сергее Ивановиче. Человек ушёл, но каждый вечер возвращается, окружённый звёздами: «Мороз целует Сергея Ивановича в нос и в щёки красной помадой. / Огромное небо и звёзды разбрасывают по коже маленького Сергея Ивановича дрожащие мурашки. / Сергей Иванович набухает от любви. / Сергей Иванович блестит. / Сергей Иванович счастлив. / Сергей Иванович…». Так пишет о неживом человеке Софья Паперная. На мой взгляд, это стихотворение у неё – одно из самых удачных. Поэту удалось найти трансформирующийся стиль, от очень короткой строки – к максимально длинной, практически прозаической. Но чёткий ритм и повторяющиеся периоды подсказывают нам, что это, безусловно, не проза, а поэзия.

Софья пишет о стариках не ради сострадания. Конечно, она им глубоко сочувствует. «Слёзы – моя одежда», – говорит она. Но это не главное в построенном ею мире. У Паперной порой соединяется «в одном флаконе» несоединимое: сон и полёт, жизнь и смерть. «Вырезаю сердечки и черепки», – говорит Софья. «Плачущий смех. Кислая рябина» – совмещённые противоположности звучат у неё как оксюморон. У Софьи Паперной есть склонность к созданию собственных мифов. Вот что говорит о её стихах известный поэт и культуртрегер, руководитель проекта «Культурная инициатива» Данил Файзов: «Софья Паперная делает именно то, что и должен делать поэт, неважно, признанный мэтр или дебютант, – она не просто произносит слова, но берёт на себя смелость демиурга». И здесь я солидарен с Файзовым – она творит так же, как французский нобелиат Сен-Жон Перс, – смешивая реальную действительность с собственной мифологией.

Стихи Софьи словно бы протестуют против того мнения, что у поэта обязательно должна быть судьба, какие-то экзистенциальные испытания. Нет, это не обязательно – можно писать просто о том, что видишь вокруг. Главное – не о чём, а как. Стихи Паперной – поэзия полутонов. Но их гамма создаёт впечатление предельной жизненной наполненности. Многие стихи у Софьи чётко ритмизованы. «Темно. / Седые пальцы перебирают секунды до рассвета. / Он / Развешивает ноты на ветках / Для ранних птиц. / Пойте! / Слеза оттирает след бабки на полу. / Пальцы перебирают секунды до рассвета. / Он / Ждёт её открытые глаза! / Зеленеют деревья, / Падают звёзды, / Киснет молоко под луной, / Которую ночь / Старик смотрит в небо. – «Время…». / Ты не грусти, старик – говорят птицы. / Твой час мимо тебя не пройдёт!» («Седые пальцы»). В силлаботонике, в отличие от верлибра, многие ритмы изъезжены и затёрты до дыр. Сочинишь что-нибудь хореем или анапестом, а музыка стиха будет напоминать кого-то другого, например, Пушкина, словно ты случайно подсел на чужого конька.

Быт у Софьи Паперной космичен, а её космос – не только внешний, но и внутренний. «Всё во мне, и я во всём», как выразился однажды Фёдор Тютчев. Небо и земля у Софьи зеркально отражают друг друга. «На земле разбрызгано небо», – говорит она, – «Небо застыло. / Земля раскачивается на ветру. / Тут, под облаками и дождями растёт моя жизнь, / А вырастают деревья. / Я рассматриваю вечер: / Улетают птицы и листья, / Возвращается голый ветер. / Иду. / Мои следы превращаются в даль, / Туда уходит день / И хранится с другими днями. / Сквозь ночь я вижу время, которого у меня нет. / Пока я хожу до утра, / Меня провожают секунды, / Тёмные, издалека, / Те, в которых звёзды. / Звёзды и я».

Софьи Паперной удалось, на мой взгляд, сказать новое слово. В её поэтике есть элементы, которых я не встречал у других авторов. Это, например, пространные, иногда из нескольких предложений, заголовки стихотворений, которые выглядят как преамбула или увертюра к основному содержанию. Это своеобразное ноу-хау. Среди художественных троп, которые использует Софья, внимание привлекает «обратная» метафора, когда большее по размеру воздействует на меньшее: «Небо опускается на глаза». Не «глаза смотрят на небо», а наоборот. Мы видим здесь обратную перспективу, о которой говорил Павел Флоренский. У Софьи – интересное образное мышление. Метафоры у неё не отвлекают от повествования. Они – точечные, они – «вкрапления»: «Чей-то голос тянет за уши старика». И, конечно, удивляет в её стихах одновременность жизни и смерти: «Мы похоронили собаку, / Там, / Где ты плакал. / Что теперь будет с улицей? / Зайди за угол, / Видишь место? / Там теперь пусто. / Мы похоронили собаку. / Там, / Где ты плакал, / Мёртвая бабочка, / А может, она спит / И летит». Верлибры Софьи могут иногда, в качестве неожиданности, использовать и рифму, как вишенку на торте.

У Софьи Паперной – высокая культура речи, где присутствуют и вкус, и такт. У неё – душа ребёнка, словно бы родившегося с готовым знанием жизни и смерти. Помните, у Высоцкого есть песня «Я не люблю»? У Софьи есть стихотворение, в котором она, наоборот, рассказывает нам о том, что она любит, о своих пристрастиях. Как бы создавая автопортрет. «Я люблю голос, заблудившейся в эхе…». «Я люблю держать замерзшую руку». «Я люблю окунаться в запах воздуха, оставленного дождём». И, в самом начале стихотворения, она говорит: «Я люблю тревогу и трепет, если вынуть их из меня – останутся кожа да кости». Удивительное для молодой девушки признание! Искренность и талант Софьи Паперной позволяют предполагать, что её ждёт большое будущее.

«СКВОЗЬ МЕНЯ ПРОТЕКАЮТ СТИХИ…»

(Ирина Ковалёва, Вечный город. Сборник стихов. – М., РадиоСофт, 2022. – 156 с.)

Многие поэты питают свою лирику несчастьем и словно бы сами его к себе притягивают. Чем хуже, тем лучше: всё вернётся сторицей в творчестве. Ирина Ковалёва, наоборот, всегда настроена на позитив: «Под этой вот плакучей ивой, / Чьи листья сплетены в тесьму, / Я обещала быть счастливой / И буду – вопреки всему». И в её стихах мажор, пожалуй – преобладает. На мой взгляд, это мировоззренческая черта. «Предаваться грусти и тревогам – / Значит пребывать в разлуке с Богом», – говорит Ирина, человек верующий. В стихах Ковалёвой есть певческая свобода. Неуёмность, пассионарность, экспрессивность, доброта к окружающим людям питают её лирику. Ирина умеет останавливать мгновение, словно бы фиксируя его в стихах: «Остановись, застынь, замри, / Дай дух перевести немного!». Каждое стихотворение пишется у неё с нуля, вдохновенно, без привязки к какому-то определённому жанру:

Тесно жмутся к лишайнику мхи
У крылечка без всякой разметки.
Сквозь меня протекают стихи,
Будто дождь сквозь вишнёвые ветки.
Знай, записывай чьи-то слова,
Специально их не подбирая.
А в саду подпевает айва
Мирозданье собой подпирая.

«Жизнь – не вчера и потом, / Жизнь – это здесь сейчас», – говорит поэт. Это не творческий максимализм. Это, пожалуй, черта характера, в котором сплетаются мягкость и твёрдость, трудоголизм, решимость состояться, оставить свой след. «В спине моей спрятан Кавказский хребет» – говорит Ирина. Многие стихи Ковалёвой посвящены судьбе поэта: «Когда поэт влюблён в кого-то, / Взаимность – не его забота». Действительно, даже в любви поэт самодержавен. Он готов проиграть в любви, потому что победа – это его чувства, их высота и подлинность. Чтобы жить в гармонии, нельзя повышать на близких голос, считает Ирина: «Журналы состоят из *по*лос, / А переходы – из пол*о*с. / Не повышай на близких голос, / Чтоб хорошо тебе спалось».

У Ирины Ковалёвой есть своя система ценностей. Многие её стихи внутренне полемичны. Так, например, она спорит с руководством Третьяковки о том, что нужно выносить из галереи в первую очередь при пожаре. «Платон мне друг, но истина дороже», – говорил Аристотель. Ирина Ковалёва мыслит иначе:

«Я не из тех, кто в спорах частных / К победе лезет вон из кожи / И знать не хочет несогласных: / Мне дружба истины дороже. / Пускай Платон или Сенека / Своих идей хотят держаться, / Я выбираю человека, / Который может заблуждаться». Это достаточно популярная сейчас точка зрения, когда в споре с истиной побеждает дружба. Истина часто абстрактна, а дружба – горяча. Дружба – вещь не одноразовая, и предавать её не хочется, особенно если друг – старинный. Другу можно простить ошибочность его взглядов. Тот, кто умеет дружить, как правило, умеет и любить: «Человек человеку – таблетка: / Вспомнишь только – и сил прибывает».

Ты рано встаёшь, а я поздно ложусь,
Мы пересекаемся в точке рассвета.
Я знаю, что странной немного кажусь,
Но, кажется, ты меня любишь за это.
Мы странная пара – не пара вообще,
Да, в общем-то, парой нам быть и не надо,
Чтоб тайно бродить по колено в хвоще
Заросшими тропками райского сада.

Ирина – человек всесторонне талантливый. Школу она закончила с золотой медалью, а Литинститут – с красным дипломом. «Училась на «отлично» и до сих пор учусь», – говорит она. «Вечный город» – книга разнообразная. Особенностью творческого почерка Ирины Ковалевой является то, что она всегда даёт стихотворениям названия. У поэтессы прекрасный звук: «И Тула будто бы сутулится, / И притулиться негде в ней. / Господь от нас очистил улицы. / Ему, конечно же, видней!.. / Кто с Ним сейчас вступает в прения, / Тот разрушает благодать. / Господь решил урок смирения / Всему живому преподать… / В машине, самолёте, катере / Ни в Рим нельзя нам, ни в Тотьму, / чтоб дочь, пути не видя к матери, / Взывала прямиком к Нему».

Это стихотворение называется у Ирины «Урок смирения» и посвящено борьбе человечества с пандемией ковида-19. Где сложно, где происходит драма – там обязательно возникает образ Всевышнего. Люди верят в то, что так задумано и всем управляет Божий промысел. «Любовь сама себе награда», – говорит у Ирины Ковалёвой апостол Павел: «Апостол Павел шёл в Коринф, / Чтоб о любви сказать, / Что в ней Христовой веры свет, / Надежды луч Его, / Что если нет любви в ответ, / То это ничего…». Но любить человека – сложно, тем более – безответно. «Что ни слово, то в глаз, а не в бровь, / Не поспоришь – аж губы немеют. / Все вокруг говорят про любовь, / Но любить, но любить не умеют», – сетует Ирина Ковалёва. Ловлю себя на мысли, что не имею ничего против глагольных рифм в исполнении Ирины. Во-первых, они не банальны. Во-вторых, они очень точные, почти омонимические: немеют – умеют, спел – успел.

Ирина Ковалёва – культуртрегер, президент международных фестивалей искусств «Генуэзский маяк» и «Степная лира». Она родилась во Всемирный день поэзии, 21 марта, в семье врача. Как руководитель фестивалей, она много путешествует. Ирину обожают итальянцы. И она отвечает им взаимностью. В книге «Вечный город» проникновенные строки посвящены памяти итальянского скульптора Эрмано Киезы: «Смахну слезу с опухших век, И как тут не всплакнуть – Ушёл хороший человек, И больше не вернуть… / И кажется, уже вот-вот / И скрипнет ключ в замке, / В дом, как обычно, он войдёт, / Неся батон в руке. / Он прожил свой неполный век, / Как будто песню спел. / Ушёл хороший человек, / Проститься не успел». Поздравляю автора с хорошей книгой, зеркалом её духовного роста.

«ЖИЗНЬ УМНЕЕ НАС»

(Фреда Калин, Три жизни доктора Сигала. Повесть. – Нью-Йорк, Слово/Word, 2023. – 83 с.)

Яркое начало повести Фреды Ямпольской, пишущей под псевдонимом Фреда Калин, захватывает и не отпускает до самого финала. Ритмизованный зачин повести напоминает классическое «Гости съезжались на дачу» или «Всё смешалось в доме Облонских»: «Картина прожитой жизни представлялась Леону в виде двух треугольников: профессионального и женского. Противоположно наложенные друг на друга, они формировали шестиконечную звезду. Её углы пустели постепенно. Сегодня опустел последний». По размаху событий и подробности описаний повесть Фреды Калин близка к роману. Это – маленькая энциклопедия еврейской жизни. Семейные истории, рассказанные в повести Фреды, составляют панораму жизни в исчезнувшей ныне Стране Советов, а затем – в эмиграции. Английские и еврейские слова в русском тексте создают в повести необычную трёхъязычную атмосферу. Фреда делает иноязычные вкрапления умело и тактично, со вкусом. Бросается в глаза лингвистическая одарённость автора.

Необычно и «параллельное» повествование, которое писательница использует в этом произведении. Это настоящая машина времени, на которой герои путешествуют из прошлого в будущее и обратно. Оказывается, силой воображения можно перемещаться так бесконечно. Словно ты едешь по американским горкам из жизни в смерть и обратно: вот маленькая Соня резвится, играет, а вот уже её оплакивают. Только что герои были детьми, а вот уже и финиш, хотя жизнь не была короткой. Как же быстро пролетает жизнь человека! Фреда Калин взяла на себя отважную миссию – донести до читателей мысль о ценности каждого прожитого мгновения. Фреда критически осмысливает жизнь в Советском Союзе, где человек еврейской национальности порой не мог реализовать свои профессиональные амбиции. Сцены прощания уезжающих героев с родиной написаны на высоком эмоциональном накале. Действительно, жизнь прожить – не поле перейти.

Повесть охватывает три периода жизни врача-учёного Леонида Сигаловича.

Фактически, каждый человек за одну биологическую жизнь проживает несколько маленьких жизней. Замечательно сказал об этом поэт Николай Гумилёв в стихотворении «Память: «Память, ты рукою великанши / Жизнь ведёшь, как под уздцы коня, / Ты расскажешь мне о тех, кто раньше / В этом теле жили до меня». Повесть Фреды Калин называется «Три жизни доктора Сигала» – хотя, на самом деле, у человека может быть и больше таких жизней. Просто три – число магическое, и оно соответствует «треугольникам» Леонида, профессиональному и женскому. Синхронно с изменениями в жизни главного героя меняется и его имя: Лёнечка – Леонид – Леон. И это тоже триада.

Повесть Фреды кинематографична. У писательницы есть редкое для прозаика качество – умение маленькой деталью обрисовать характер человека или особенности его внешности. При помощи таких деталей и чувства героев становятся понятными без долгих объяснений. Например: «Он швырнул ключи на столик в прихожей. Их стук о мрамор напомнил лязг пустых бидонов в грузовике, трясущемся по диабазу». И мы ощущаем досаду главного героя. А вот как автор передает особенности роста Леонида – через ходьбу: «Переступая через ступеньку – иначе не позволяла длина ног – Леон поднялся в свой кабинет. Достал из бара недопитую бутылку коньяка, раскурил трубку и упал в кресло». Автор словно бы останавливает кадр с крупным планом Леонида Сигаловича. Помимо прямой речи своего героя, Фреда Калин транслирует его мысли, и мысли «вслух» также придают повествованию объём. Это очень похоже на то, что в пьесах обозначено ремаркой «в сторону». Мысли Леонида – такая реплика в сторону. В результате у Фреды получился взгляд одновременно сверху и изнутри.

Фреда Калин поднимает в повести интересную философскую проблему. Мы привыкли, что человеку всегда есть к чему стремиться. А что делать, если всё, к чему ты стремился, исполнилось, а жизнь продолжается? Менее всего человек защищён там, где он успешен. «Не к добру людям исполнение их желаний», – говорил ещё Гераклит. «Научиться всему и доказать», – таковы были мечты доктора Сигала. И вот он и научился, и всем всё доказал. И оказался в патовой ситуации: «Звенящая тишина? Громкое молчание? Давящая пустота? Пожалуй, такой оксюморон больше всего соответствует моей ситуации…». Кризис подкрадывается к человеку не сразу. Можно даже не сразу почувствовать его приближение. Он начинается тогда, когда последняя капля переполняет чашу – the last straw to break the camel`s back. Это может быть какая-то особо болезненная утрата – такая, как Соня в жизни Леона. Существует не только кризис среднего возраста, но и кризис старшего возраста. Об этом рассказывает в «Трёх жизнях доктора Сигала» Фреда Калин. Что нужно человеку для счастья? «Для счастья надо быть интересным самому себе», – резюмирует Фреда.

Фреда Калин отменно разбирается в мужской психологии и вообще во всём «мужском». Поэтому ей хорошо удаются произведения, где главный герой – мужчина. Писательнице удалось создать глубоко психологичное произведение. Фреда рисует портреты Лёни, Сони, Иосифа, Милы, Джулии с необыкновенной любовью и сочувствием. Ни один герой, при одном главном, Лёнечке, не стал для писательницы второстепенным. Все герои – живые, легко представить их среди нас. «Жизнь умнее нас», – говорит в критическую минуту мама Леонида. Нужно довериться жизни, её течению – и она выведет нас к свету. Доверие к жизни – важная вещь для человека.

Фреда Калин – не новичок в писательском деле. Однажды её произведения обратили на себя внимание Людмилы Штерн. Той самой, которая писала о Бродском и Довлатове. Фреда считает Людмилу Штерн своей крёстной, которая дала её путёвку в мир литературы. «Три жизни доктора Сигала» интересны не только по персонажам и сюжету. Повесть афористична, её герои то и дело говорят такое, что хочется взять на карандаш. Когда Мила мучается сознанием своей вины, ребе говорит ей: «Если ты виновата, Он даст тебе знать, иди и живи». Или вот такая фраза: «В молодости чувства безвозвратности не существует». Прекрасно работает в тексте и цитата из Анатоля Франса: «Случай – это псевдоним Бога, когда он не желает подписываться своим именем».

Герои Фреды Калин обладают отменным чувством юмора – даже людей из разных социальных слоёв объединяет умение остро пошутить. Лишённая мужской помощи, Зина, женщина из низов, обращается к рукастому, сметливому Лёнечке – с просьбой гаечку на кране подтянуть: «А то ж оно капаит и капаит –

уже в башке дырка». А вот шутка от Иосифа: «Нос с горбинкой, как у него и у папы, це-ле-со-о-бра-зен для шахматистов и фехтовальщиков. А, например, для боксёров такой нос – опасный а-три-бут, потому что им его непременно сломают».

Повесть Фреды Калин – «бенефисная»: в ней всё вращается вокруг главного героя. В повести много диалогов, что больше свойственно не прозе, а драматургии. Герои произведения персонифицированы, они обладают яркой индивидуальностью, неповторимым языком и своеобразной манерой изъясняться. Например, Леонид, когда волнуется, немного заикается, а когда не волнуется, говорит без заикания. Особенности речи каждого персонажа писательница часто передаёт графически, по слогам. А какие чудесные у Фреды пейзажи – жаль только, что их в повести не так много. Хочется наслаждаться природой подольше.

Порой писательница достигает глубины, работая на контрасте. Когда Леон ощутил эйфорию от предельной полноты бытия, начинается болезнь его жены. Это происходит почти одновременно – хорошее и плохое. Холодный воздух устремляется навстречу тёплому, и возникает атмосферный фронт. Жизнь по природе своей – неоднородна, радость часто сменяется горем. И с этим ничего нельзя поделать. Жизнь учит стоицизму и смирению в ожидании следующей белой полосы.

Треугольники Леона, образующие гексаграмму Звезды Давида, образуют ещё и символистический пласт повести Фреды Калин. Главный герой повести Фреды не случайно – врач. Профессия врача помогала людям выжить в непростое время, поскольку была везде востребованной – на всех уровнях, в любой социальной группе. Однако в этой профессии заложена мина замедленного действия: врач часто не может исцелить своих близких – либо потому, что у него совершенно другой профиль, либо потому, что болезнь запущена и лечению не поддаётся.

«Три жизни доктора Си гала» – это история одной семьи. Однако один из персонажей повести выбивается за рамки семейной истории. Это Джулия. Она внезапно появляется в океанском круизе, когда Леон, утомлённый жизнью, планирует выброситься в океан во время шторма, замаскировав самоубийство под несчастный случай. Беседуя с Джулией на палубе лайнера, Леон пересказывает ей эпизоды своей биографии. Он страдает морской болезнью, поэтому действует по принципу «чем хуже, тем лучше». Фреда Калин использует в повести сразу несколько зеркал, в которых отражается главный герой, и одно из таких зеркал – это Джулия. Диалог Леона с Джулией на корабле – философское осмысление жизни героя. На корабле возникает момент равенства жизни и смерти. Судьба Леона, подобно мифологической амфисбене, могла двинуться как в одну, так и в другую сторону. Но внезапно умирает Джулия, «смертью смерть поправ», и это не даёт возможности Леону, срочно востребованному в качестве врача, осуществить задуманное. Такую остросюжетность специально не придумаешь. В биографическую повесть вторгаются элементы детектива. И с этого момента, после неудачной попытки самоубийства, для главного героя наступает «вита нова». Появляются дети и внуки, о существовании которых Леон даже не догадывался, и он возрождается к жизни. Фреда сохраняет интригу до последней страницы: непонятно, чем всё закончится. Ложный финал на корабле по-гоголевски перетекает в театральный разъезд: в эндшпиле главный герой не должен остаться один.

«Три жизни доктора Сигала» – повесть умная и поучительная. Ей присущи совершенство драматургии и высокая культура образного мышления. Она показывает жизнь выдающегося человека как в его силе, так и в его слабости. Повесть захватывают до такой степени, что с героями не хочется расставаться. В финале повести у читателей возникает надежда на союз Милы и Леонида. Теперь им никто и ничто не мешает быть вместе. Но нужно ли это им самим? Нельзя два раза войти в одну реку. Но для этих двоих всё, в сущности, впервые, ведь юношеские влюбленности «не считаются». Под одной крышей, вместе они ещё не жили, и всё для них может быть в новинку. Мудрый автор не ставит точку. Фреде удалось и произнести волшебное слово, и не произнести его, даря читателям надежду на четвёртую жизнь доктора Сигала. И поэтому – браво, Фреда Калин! С её героями хочется жить. И, в заключение, хочу сообщить заинтересованным читателям, что с повестью Фреды теперь можно ознакомиться в журнале «7 искусств», который начинает публиковать её, начиная с октябрьского номера нынешнего, 2023 года.

ДВЕ ДУШИ, ДВА ЯЗЫКА, ДВЕ РОДИНЫ
о поэзии Андрея Грицмана

Лирика Андрея Грицмана исповедальна. У Андрея есть, по его собственному выражению, «право говорить». Поэту удалось объять почти необъятное: он реализовался и как верлибрист, и как силлаботоник, и в русской, и в американской лирике. Более того, ему удалось создать стиль-трансформер, хорошо подходящий для обоих языков. Казалось бы, Грицман разбрасывается, добавив ещё один язык. Но нет, стремление писать и по-английски вывело его, на мой взгляд, на новый уровень, новую орбиту. Brilliant ability! Стремление развиваться, идти «за флажки», за пределы самого себя, «за терпенье своё» достойно самого глубокого уважения. «Ничего не понять, не ведая, / где те струны, что за пределом / цвета, звука.

Но, с тьмой беседуя, / вдруг поймаешь звук между делом». Мы видим, что поэт не отказывается окончательно от звука в пользу аритмии. В этом же стихотворении есть такая фраза: «две души за пределом истины». Разнородные составляющие обогащают поэта. Но важно правильно выстроить между ними баланс, чтобы сотворчество двух начал не превращалось в полемику. Двуязычие Грицмана идёт ему в плюс. Это не хобби, не развлечение – поэт учился на литературном факультете университета Вермонта, получил степень магистра по американской поэзии. Работа над английской поэзией помогла ему сделать шаг вперёд и в русскоязычной лирике, сформировать уникальный голос. Многомерность творческих исканий делает Андрея Грицмана по-настоящему интересным автором. Особая стилистика стихов Андрея, нестандартность его лирического мышления напрямую связаны с двуязычностью. У меня в девяностые годы тоже была возможность писать одновременно по-русски и по-английски. Но я посчитал, что погружение в один язык приведёт к постепенному отмиранию другого языка и побоялся идти по этому пути. Вот почему мне интересен положительный опыт Андрея Грицмана.

Знакомство с творчеством Грицмана началось для меня с его прозы. Я читал книгу «Поэт и город». Меня поразили культурологические статьи Андрея, ошеломил очерк о трагическом наводнении в Нью-Орлеане. А творчество Пауля Целана я стал рассматривать с тех пор именно сквозь призму взгляда Грицмана. Стихи Андрея Грицмана более камерны, чем его проза. В прозе и в эссеистике он – общественный деятель и философ, который ставит перед собой культурологические задачи обобщения творческого опыта других писателей. А стихи у Андрея – тихая, тонкая, подспудная лирика, где он всматривается во внутренний мир. Русскоязычной поэзии Грицмана вторит его англоязычная поэзия – столь же камерная, тонкая и деликатная. Можете заглянуть в его английские стихи и убедиться в этом сами. Они такие же по стилю и духу, как и его русские стихи. Постмодернизм Грицмана не атакует читателя аллюзией в лоб. Аллюзии из прочитанного и давно усвоенного проговариваются у поэта вскользь. Например, вот у него Пушкин: «Когда-то я здесь пиво пил и в ближний парк гулять ходил». А вот – Есенин: «Не жалею, не зову, а лучше / ты включи компьютер, посмотри». Есть и Набоков. Но это – естественная вещь для лирического постмодерниста. У Грицмана чужая строчка – только зачин, только искорка для разговора – нередко совсем о другом, чем у классиков, чьи крылатые строки помогают разгореться поэтическому костру.

Облако, озеро, только нету башни.
Дышу в пронизанном солнечном срубе.
Сосед Тургенев пройдёт на охоту с ягдташем.
Зайдёт, присядет за стол, Earl Gray пригубит.

Головой покачает: постмодернисты!
А потом вздохнёт: Бедная Лиза.
Перед нами обоими лист стелется чистый,
Посидит, уйдёт, вспомнив свою Полину.

Он уйдёт, и стих его тает белый,
Как следы января в холодящей чаще.
Незримый джип затихает слева.
Слава Богу, Сергеич заходит всё чаще.

Слава Богу, вокруг гудит заповедник,
И здесь, в глубине, нету отстрела.
Пусть это будет полустанок последний,
Где душу ждёт небесное тело.

Летит оно, скорей всего, мимо.
Висишь среди крон в деревянном кресле.
Вокруг леса шелестят верлибром,
Да ветер гудит индейскую песню.

В лирике Андрея Грицмана присутствует нечто неуловимое, что связывает между собой Россию и Америку. Две родины соединились в сердце поэта. Многие рецензенты отмечают необычность творческого почерка Грицмана. Друг Бродского Евгений Рейн отметил, что стихам Андрея присущи «напряжённый лиризм и изысканная наблюдательность». «В стихах Грицмана не видно никакой очевидной зависимости. Поэт сам изобрёл свой самолёт и прилетел на нём в Россию», – остроумно заметил Рейн.

Вадим Месяц пишет, что Грицман – «поэт ветра». Ветер – сквозная тема его творчества. И «хамсин», и много-много других разновидностей ветра. Что ещё важно знать об Андрее Грицмане? Он – потомственный врач. «Здоровые люди стихов не пишут», – говорит Андрей. Поэт много времени проводит за рулём автомобиля, и это также отражается в стихах. По собственному признанию Андрея, стихи он пишет «с голоса», по-мандельштамовски. «Это – азбука Морзе, / разбросанная бисером / по страницам. / Каждая единица / обозначает молекулу дыхания, / а обозначив, исчезает, / тает на языке, как мята, / оставляя меты тут и там, / не заметные никому, кроме / членов тайного общества, / никогда не вышедшего на площадь».

Безусловно, жизнь, особенно в непривычных условиях эмиграции, не всегда улыбается человеку солнечной стороной. Но у Андрея Грицмана есть внутренний стержень. «И тогда пошёл не в разнос, в себя», – вспоминает поэт. Рильке говорил, что стихи – это опыт. Поэзия Андрея Грицмана подтверждает сказанное Райнером. Ей свойственна эстетическая бескомпромиссность: «Горечь, переплавленную в слова, – / плеснуть в лицо – умникам, умозрителям», – с болью в душе говорит поэт. Андрей Грицман выступает против войны: «Вот и хватило на век наш / Беспамятный / Крови текучей / Горючего чёрного / Жовто-блакитного от возгорания / Рваное жовто-блакитное знамя / Реет над нашим обугленным зданием».

Пожалуй, главное сокровище поэта – это его душа. Он умеет убегать из одной полноты бытия в другую – на поиски неизведанного: «Ощутить счастье обитаемого / острова в океане. / Дождаться момента наступления / твоего лёгкого женского сна, / плывущего всё дальше от меня / к берегам девичьего детства. / Улучив момент, выскользнуть из постели, бесшумно выломать дверь счастья, / выскочить наружу, / бежать куда глаза глядят / мимо чужих фосфоресцирующих окон, / оставляя клочья шкуры / на ветвях деревьев» («Господи, как я хочу начать сначала…»). На мой взгляд, это очень важное для поэта качество. Многие наши классики не умели ладить со счастьем и норовили его разрушить. Чем хуже, тем лучше, тем больше «звенящих» стихов. Андрей Грицман умеет творчески преобразовывать состояние счастья. Оно не разрушает его изнутри, не заставляет самоуспокоиться и топтаться на месте.

Судьба Андрея Грицмана необычна. Поэт рассказал о своём творческом пути в авторском предисловии к книге «Вариации на тему» («Время», 2009), в интервью Владимиру Коркунову для «Литературной газеты». Андрей обладает аналитическими способностями, которые позволяют ему взглянуть на своё творчество одновременно «со стороны» и изнутри. Многие истины открылись ему благодаря эмиграции. Так, в Нью-Йорке похоронена его мама, тоже москвичка по месту рождения. «Право на землю, – говорит Грицман, – человек получает, когда в неё ложатся его близкие». По сути это очень правильные мысли. И ностальгия у этого поколения эмигрантов – принципиально другая – они в любой момент могут вернуться на историческую родину. Вот что об этом сказал Андрей Грицман: «Лирическая поэзия – ностальгия по времени, сжатому в кристалле стиха. У нашего поколения переселенцев ностальгическая нота не обязательно имеет отношение к стране, к земле и т.п., а скорее к прустовскому „утраченному времени“, ощущаемому «перемещённой душой».

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА РУДНЕВА

«ВЫ ПОМНИТЕ, ВЫ ВСЁ, КОНЕЧНО, ПОМНИТЕ…»

(Александр Раткевич. «Женщины Есенина». Цикл документальных новелл. – М., «Серебряные нити», 2023. – 134 с.)

О Есенине написано чрезвычайно много – целая библиотека литературоведческих исследований, биографических и мемуарных книг, а в ИМЛИ РАН давно уже издано полное академическое собрание его сочинений. Как известно, различные авторы уделяли много внимания личной жизни великого поэта. Возможно, это связано с тем, что Есенин был и есть один из самых популярных в стране поэтов. Его жизнь возбуждала и продолжает возбуждать нездоровый интерес – на самые разнообразные лады муссировались в обывательской среде его неоднократные женитьбы, многочисленные романы, пьянство, хулиганство и т.д. Так же, как, впрочем, и подробности жизни других, не менее известных поэтов, на что в своё время, в далёком 1974 году, в разговоре с автором этой статьи сетовала Ирина Валентиновна Щеглова-Альтман, вдова художника Н. Альтмана, похороненного на Комаровском кладбище рядом с А.А. Ахматовой, – разговор этот происходил в Комарове под Ленинградом.

Что же, спрашивается, можно написать ещё нового об этом? Однако автору из Белоруссии, из Полоцка, Александру Раткевичу удалось всё же сказать своё, пусть и не совсем новое, но бесспорно интересное слово о частной жизни Есенина, вполне объективно и, главное, не потакая низкопробному обывательскому вкусу и любопытству, написать популярное историко-биографическое повествование, сугубо документальное и потому абсолютно достоверное. И несмотря на то, что книгу составляют отдельные очерки, публиковавшиеся автором ранее в других изданиях, они всё же воспринимаются вполне целостно. Женщины, имевшие наибольшее значение в жизни Есенина, прошли, по выражению автора предисловия Ст. Айдиняна, как своего рода «фоновые персонажи его трагической судьбы» (с. 3). В этом предисловии под заглавием «О Есенине и самовольно ушедших поэтах-современниках», говоря об изначально в определённом смысле обречённой судьбе Есенина в ряду таких поэтов, как М. Цветаева и В. Маяковский, Ст. Айдинян замечает, что «быть поэтом в России – трагический жребий. Слово своё поэт утверждает невольным закланием себя на алтарь жизни, истории, литературы» (там же). Но главное заключается, по мнению Ст. Айдиняна, в том, что в Есенине – поэте и человеке «была особенная русскость, особый ореол души русского поэта, он угадал своим творчеством темпоритм души России» (с. 5).

Итак, в книге представлены очерки о пяти женщинах, оставивших очень заметный след в биографии Есенина – это Анна Сардановская, дочь священника, рязанская «епархиалка». О ней, замечу кстати, мне в своё время рассказывали мои близкие родственницы, учившиеся одновременно с ней в Рязанском епархиальном училище и слыхавшие от неё тогда имя «Серёжка Есенин», которому тогда, ко времени тех разговоров, было 15-16 лет. Несмотря на столь юный возраст, у Есенина, по всей видимости, всё же был серьёзный роман с А. Сардановской. За ней следует Анна Изряднова, первая жена Есенина, от которой у него был сын Юрий, репрессированный в конце 1930-х годов. По свидетельству некоторых лиц, например, поэта Родиона Берёзова (Акулышина), Есенин впоследствии не слишком интересовался судьбой сына и при редких встречах заставлял его называть себя не отцом, а «Сергеем Александровичем».

Затем выступает на сцену константиновская помещица Лидия Ивановна Кашина, которой посвящена поэма «Анна Снегина», бывшая на девять лет старше Есенина и явно ему не ровней по происхождению, хотя тогда это было вполне в духе времени. Следующая в этом ряду – Галина Бениславская, безответно любившая Есенина и бесконечно ему преданная, с которой у него, по- видимому, не было близких отношений – хотя этот вопрос спорный, ведь он был к ней глубоко равнодушен, по его собственному признанию.

О Зинаиде Райх, матери двоих детей Есенина, сына Константина и дочери Татьяны, сказано очень скупо. Центральное же место в книге, несомненно, принадлежит Айседоре Дункан – автор очень подробно рассказывает о бурном романе и дальнейшей совместной жизни в Европе и Америке, об амораль-

ном и асоциальном поведении уже очень известного тогда поэта, который даже поднимал руку на свою избранницу, бывшую старше его на восемнадцать лет и беззаветно его любившую. Но существенным пробелом, с нашей точки зрения, стало то, что почти ничего не сказано о Софье Андреевне Толстой (1900-1957), которая, несмотря на то, что была женой Есенина в течение всего трёх месяцев, имела очень большое значение в его биографии последнего года жизни, а также и в его посмертной судьбе. Внучка Л.Н. Толстого, энергичная, властная и деловая женщина, директор всех Толстовских музеев, не могла забыть его никогда, до конца носила его фамилию, заботилась о его сёстрах и, главное, очень много сделала для его памяти – пыталась, и не безуспешно, сохранить в памяти людей его творчество, долгое время, как известно, объявлявшееся политически вредным.

Мне вспоминается, как хранитель Яснополянского музея Л.Н. Толстого Николай Павлович Пузин в моём присутствии болезненно морщился при любом упоминании имени Есенина, называя его «подонком», утверждая при этом, что он будто бы мог ударить С.А. Толстую ногой в живот во время её беременности. Что ж, не так уж и неправдоподобно! С другой стороны, это категорически отрицал литератор, некоторое время – директор московского Гослитмузея Александр Дмитриевич Тимрот, состоявший в браке с С.А. Толстой-Есениной в течение около 10 лет, в 1940-х – 1950-х годах. Из частных разговоров с ним, происходивших в основном в Коломне, в Бобреневом монастыре, где его сын был иеромонахом, запомнилось, что он, Тимрот, всегда с глубоким трепетом относился к Есенину.

В книге А. Раткевича очень убедительно, с несомненным чувством меры и вкусом выстроены те биографические, мемуарные материалы, которыми он оперирует. Поэтому образ Есенина получился правдивым и достоверным, без всяких слащавых приукрашиваний и сантиментов, но и в то же время без той достаточно беспардонной дискредитации, надрывной кабацкой лирики, являющейся также неотъемлемым атрибутом Есенина, так что некоторые авторы выдвигают её на первый план. Жизнь и творчество Есенина даже в своих наиболее одиозных проявлениях показана автором взвешенно и объективно. Пусть А. Раткевич и не сказал ничего особенно нового о Есенине, его книга очень традиционна, не содержит особых новаций – это именно популярная биография, или материалы к биографии Есенина – факты, лица и свидетельства размещены автором так, что создаётся совершенно беспристрастная картина «грешной и трудной», по выражению Ст. Айдиняна, жизни поэта, со всеми её негативными и малоприятными сторонами, что даже эти его стороны в определённой мере дополняют его огромный и подлинный талант. Избранный автором принцип подбора и подачи материала плодотворен (при этом не можем не отметить и того, что книга написана очень хорошим языком – простым, ясным и доступным), и в конце каждой главы помещены обязательные отсылки на источники, что представляется безусловно удачным, это делает книгу интересной как для профессионалов-литераторов, так и для школьников-старшеклассников.

Гениальный поэт, истинный Божий дар, человек с необузданными страстями был в общем-то глубоко одиноким и несчастливым, и не отсюда ли происходили постоянные всякого рода эксцессы, с ним связанные? Но Есенин, ушедший из жизни так до сих пор и невыясненным образом почти сто лет тому назад, для нас – навсегда живой и тёплый, молодой и красивый, он как будто наш современник. В Есенине (и это отмечали многие) каким-то причудливым образом *совмещался* гениальный поэт, часто добрый, заботливый, преданный друзьям, по-детски наивный человек и порой, с другой стороны, этакий разухабистый самодурный деревенский кулачок, никогда не упускавший своей выгоды и могший себя вести самым хамским и безобразным образом, в том числе и с близкими ему женщинами. Автор этой статьи, должен признаться, никогда не был большим поклонником Есенина, хотя, конечно, отлично понимал его место в истории литературы, а некоторые его вещи («Песнь о собаке», «Чёрный человек» и особенно предсмертное «До свиданья, друг мой, до свиданья…») могли вызвать у него слёзы.

Мне пришлось «на заре туманной юности» пожить некоторое время на даче в старом есенинском селе Константинове, познакомиться со здравствовавшими тогда сёстрами Есенина – Екатериной Александровной и Александрой Александровной, с её дочерью Светланой, захаживать к ним в гости на чашку чая или чего-нибудь ещё, вести разговоры на самые разные темы, особенно, с младшей, любимой сестрой Есенина Шурой, «Шуршёнком», как он нежно и ласково её называл. Однако когда разговор касался Есенина, а это, понятно, было центральной темой наших общений, всегда следовало быть настороже: они не допускали никаких, даже самых безобидных критических высказываний о своём знаменитом брате и дяде и тут же прекращали разговор. И все, по мнению их, в том числе и С.А. Толстая-Есенина, были неповинны в его бедах и страшном конце. Для них Есенин был иконой и ничем более. И, кажется, их можно было понять.

Екатерина Александровна Есенина-Наседкина была женщиной с довольно острым и находчивым языком. Когда ей докучали многочисленные праздные посетители, которых в Константинове всегда хватало, и в те времена, когда там уже существовал очень широко известный есенинский мемориал, тоже, многие заходили к ней в дом (сёстры жили на разных половинах и, по словам упомянутого нами Н.П. Пузина, ужасно «грызлись» между собой), стремясь увидеть живую сестру Есенина. Она же всегда, выходя к ним, говорила, что сестры Есенина нет дома, а на вопрос: «А вы кто?», неизменно отвечала: «А я домработница». И праздношатающиеся оставались, что называется «с носом». Ко мне же они относились вполне как

к человеку своего круга, несмотря на то, что я был тогда в очень юном возрасте – считали меня своего поля ягодкой, что называется. Мне всё это очень запомнилось, хотя с тех пор прошло почти полвека – запомнились посиделки в их хорошем, чистом, уютном доме подле высокого берега чудесной голубой Оки, где на противоположной луговой стороне были видны беспрестанно движущиеся, пасущиеся стада. Рязанский же деревенский народ, который, по многим свидетельствам, в частности, А.Б. Мариенгофа, Есенин недолюбливал, с раздражением относясь к своим односельчанам, у меня остался в памяти как простой, приветливый, радушный и участливый. А ведь известно, что Рязанская губерния до революции была одной из самых отсталых и тёмных в средней России, но здесь, среди бескрайних, печальных полей и перелесков, особенно чувствуется именно есенинская Русь, хотя, скорее всего, это уже трюизм.

В заключении скажем, что мы не ставили себе целью подробно проанализировать книгу А. Раткевича, а просто стремились поделиться с читателями своими далеко не праздными размышлениями и дорогими для нас воспоминаниями о давних встречах. А книга, как мы уже не раз сказали, представляется нам большой и несомненной удачей автора. Поэтому наша нижайшая благодарность и признательность издательству «Серебряные нити» во главе с И.Н. Сиренко, а также автору предисловия Ст.А. Айдиняну. Это книга, несомненно, войдёт в ряд наиболее удачных, увлекательно написанных книг о величайшем из русских поэтов, которого называли, особенно после его ухода из жизни, достойным преемником пушкинской славы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВИКТОРА ГРОССМАНА

(В.А. Гроссман, Избранные сочинения в двух частях. – Вологда, «Древности Севера», 2023, части 1, 2 – 707 с., 631 с.)

Виктор Азриэлевич Гроссман (1887-1978) не принадлежит к плеяде классических, первостепенных пушкинстов, биографов, исследователей творчества А.С. Пушкина, каковыми запомнились его двоюродный брат Л.П. Гроссман и такие выдающиеся пушкинисты, как П.Е. Щёголев, Н.О. Лернер, В.В. Вересаев, М.О. Гершензон или И.А. Новиков, и также не принадлежит он к числу сугубо учёных академических пушкиноведов, как М.А. Цявловский, Т.Г. Цявловская-Зенгер, Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, Н.Л. Бродский, С.М. Бонди, но тем не менее является интереснейшей, талантливой, своеобразной фигурой.

Справедливость должна быть восстановлена, и вологодские учёные и издатели совершили в своём роде подвиг, представив читателям объёмный двухтомник, в самых различных аспектах освещающий жизнь, деятельность и творчество этого несомненно выдающегося человека в истории культуры XX века. Инициаторами, составителями, редакторами, авторами биографического очерка и научных комментариев в издании в первую очередь стали главный библиограф Вологодской областной библиотеки Л.Н. Солодухина и кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Вологодского государственного университета Е.В. Титова.

Судьба В.А. Гроссмана сложилась очень трудно, можно сказать, трагически: 15 лет с небольшим перерывом он провёл в ГУЛАГе, начиная с 1946 года был преподавателем в очень авторитетном, хотя и удалённом от обеих столиц Вологодском пединституте, где его, по многим свидетельствам, очень полюбили студенты.

А до рокового в его жизни 1938 года Виктор Гроссман, европейски образованный и интеллигентный человек, знавший несколько иностранных языков, высококвалифицированный юрист, а также театровед и драматург, преподавал в ГИТИСе русскую литературу и историю театра, был своим человеком во МХАТе, хорошо знал его основных деятелей, особенно Немировича-Данченко, участвовал в знаменитых «Никитинских субботниках» – словом, был одной из примечательных фигур на культурном небосклоне столицы.

Он стал автором книги «Дело Сухово-Кобылина» (1936), до сих пор, к сожалению, не переизданной, в которой, как профессиональный юрист, неоспоримо доказал, что убийцей француженки-модистки Симон Деманш был не А.В. Сухово-Кобылин, а его крепостные слуги, – и доказав это, опроверг концепцию работы на эту же тему Л.П. Гроссмана «Преступление Сухово-Кобылина». Версия Виктора Гроссмана оказалась очень убедительной и блестяще аргументированной.

В 1937 году В.А. Гроссман как ответственный редактор и автор вступительной статьи подготовил к печати двухтомник «Спутники Пушкина», содержащий статьи и рассказы, очень увлекательно написанные опытнейшим литератором В.В. Вересаевым о современниках, друзьях, родных и знакомых великого поэта. Этот сборник, так же, как и знаменитый «Пушкин в жизни» того же Вересаева, стал книжным раритетом и не переиздавался вплоть до 1990-х годов.

Впоследствии В.А. Гроссман в других своих работах многое добавлял к так называемому «Донжуанскому списку» Пушкина, а в период подготовки «Спутников Пушкина» близко общался с В.В. Вересаевым и многое почерпнул для себя у одного из самых интересных, блистательных, хотя в чём-то и не безупречных знатоков, биографов и исследователей Пушкина и его эпохи.

В середине 1930-х годов Виктором Гроссманом для столичных театров были написаны инсценировки некоторых произведений А.С. Пушкина: «Повести Белкина», «Метель», «Барышня-крестьянка», «Выстрел». Он также создал пьесу-инсценировку повести «Дубровский», которая была поставлена тогда на 24 сценических площадках и имела большой успех. В наше время она была возобновлена в Казахстане в 2022 году.

Е.В. Титова, имея в виду произведения этого жанра, справедливо замечает: «…в отношении В.А. Гроссмана к тексту, который переводил на драматургический язык, (…) чувствуется любование, преклонение и благодарность» (с. 476). Да и как оно могло быть иначе?

И уже на склоне лет, находясь в Вологде, автор вновь обратился к пушкинской теме в драматургическом жанре, написав пьесу «Пушкин в Москве» (1965), а незадолго до смерти создал пьесу «Ахилл», посвящённую одному из наиболее значимых поэтов пушкинской поры – К.Н. Батюшкову, долгие годы жившему в Вологде и болевшему неизлечимой душевной болезнью.

О пушкиноведческих работах В.А. Гроссмана уже в 1930-х годах высоко отзывались такие столпы отечественной филологической науки, как профессора Н.К. Гудзий, Н.Л. Бродский, Г.О. Винокур, А.К. Дживелегов.

Основной научный труд В.А. Гроссмана «Этюды о Пушкине» создавался в разные периоды, в том числе и во время пребывания Гроссмана «в местах не столь отдалённых»: без книг, материалов, при опоре на одну лишь свою чрезвычайно сильную память. Не будет преувеличением сказать, что это было главным делом всей жизни исследователя – и только теперь этот труд полностью и по-настоящему пришёл к читателям.

Несомненно, В.А. Гроссману удалось сказать новое слово о Пушкине – и это в области, где казалось, уже невозможно сказать ничего нового. В его работах – «этюдах» о «Евгении Онегине», о «Пиковой даме», о задуманной Пушкиным поэме «Агасфер» («Еврейская попадья»), о стихотворениях «Птичка божия», «Для берегов отчизны дальней…» столько новых «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», что просто диву даёшься!

Особенно интересны, например, его наблюдения, уточнения по поводу, казалось бы изученной вдоль и поперёк «Пиковой дамы», где автор нашёл некий второй план, не замеченный прежними исследователями и позволивший ему прийти к выводу о том, что «это повесть о самом поэте, его жизненной драме, которую он тщательно скрывал от посторонних глаз. Она автобиографична и в ней поэт сам для себя раскрывает трагедию семейной жизни» (ч. 2, с. 55).

Несомненно, элементы новых прочтений содержат работы В.А. Гроссмана, посвящённые и другим произведениям Пушкина: прежде всего роману в стихах «Евгений Онегин» и стихотворению «Памятник», которым, как известно, «заканчивался» творческий путь Пушкина.

«Совершив свой поэтический подвиг, Пушкин довольствуется осознанием выполненного великого дела, и для него нет другой награды, как только свой приговор самому себе» (ч. 2, с. 67), о чём он сказал в последней строчке стихотворения «Поэт»: «Ты сам свой высший суд».

В статье о «Евгении Онегине» В.А. Гроссман показывает, что содержание и смысл гениального пушкинского творения гораздо шире и глубже ставшего на долгое время классическим и обязательным толкования В.Г. Белинского, не знавшего черновиков и, как давно уже принято говорить, «творческой лаборатории» Пушкина. Многое, по мнению исследователя, здесь и нельзя было понять тому, кто не знал Пушкина в жизни, не чувствовал его неповторимую гениальную человеческую личность.

«Пушкин был предметом моих изучений более полувека, – писал В.А. Гроссман. – Трудна правда о Пушкине, та большая правда, которая сплошь и рядом затеняется либо мелкими правденками, либо условной ложью, необходимой, по мнению многих, чтобы не снижать в глазах обывателя „образ величайшего русского поэта“» (ч. 2, с. 7).

«Этюды о Пушкине» написаны с исчерпывающим знанием предмета, что признавали даже недоброжелатели В.А. Гроссмана; они написаны пером высококультурного и высокообразованного человека с неповторимым изяществом стиля – и это более всего привлекает в нём. Не случайно В.А. Гроссман был и автором чисто художественных произведений, например, рассказа-очерка об А.П. Чехове «Почётный академик» и автобиографических рассказов «Когда-то в Кремле», «Старое доброе время», которые впервые публикуются в двухтомном издании.

В 1960-х годах В.А. Гроссманом был написан роман о Пушкине «Арион» – в этом произведении наиболее ярко выступили все наиболее характерные черты автора как исследователя и писателя. Абсолютная компетенция в этой области идёт здесь рука об руку с очень выразительным художественном слогом и стилем – и этим В.А. Гроссман, безусловно, выгодно отличался как от Ю.Н. Тынянова с его академической сухостью, так и от И.А. Новикова, создателя романа «Пушкин в изгнании», где давались, по существу, только иллюстрации к известным эпизодам жизни Пушкина периода южной и михайловской ссылок. В.А. Гроссман был также против искусственного преувеличения идейной близости Пушкина к декабристам, что в те времена было совершенно идеологически обязательным мотивом в пушкинистике. Он показывает в «Арионе», что Пушкина с декабристами больше всего связывали дружеские, приятельские отношения, общие «грехи молодости».

В.А. Гроссман был, несомненно, литературно одарённым человеком, а ведь этого не скажешь об очень многих учёных литературоведах, в частности пушкинистах!

А вот о мытарствах, которые автору пришлось пережить в связи с продвижением своей книги в печать, красноречиво говорит его переписка с такими людьми, как его близкий приятель Д.И. Постолов, с писателями, критиками и литературоведами, среди которых К.Л. Зелинский, Е.Н. Коншина, Л.Г. Бать, И.Л. Сельвинский, Т.Г. Цявловская-Зенгер и др.

В первом томе издания впервые полностью публикуется и мемуарное произведение В.А. Гроссмана под названием «Минувшие дни», где он рассказывает о своём детстве, юности, учёбе в Одессе, Лейпциге, Париже, встречах со знаменитыми современниками – К.И. Чуковским, учившимся в Одесской гимназии на несколько классов старше Гроссмана, Б.С. Житкове, авиаторе Е. Уточкине, затем об А.М. Горьком, М.Ф. Андреевой, А.В. Луначарском, Вл. И. Немировиче-Данченко, Л.М. Леонидове, О.Ю. Шмидте и т.д.

Кроме того, несомненный интерес представляют собой впервые публикуемые протоколы допросов В.А. Гроссмана, которые велись в управлении МГБ по Вологодской области при его повторном аресте 23 июня 1948 года. Конечно, это одновременно и один из выразительных документов эпохи.

Таким образом, главные организаторы издания Л.И. Солодухина и Е.В. Титова во многом «воскресили» эту очень колоритную и значимую фигуру, и за это им низкий поклон.

Однако мы считаем необходимым указать и на некоторые мелкие шероховатости, допущенные составителями. Во-первых, переписка В.А. Гроссмана, и, прежде всего, с Д.И. Постоловым, даётся без особого учёта удельного веса многих писем, что приводит к повторам, в сущности, одного и того же. Нам думается, что эти письма надо было бы публиковать более избирательно – по школьному принципу: «один пишем, два в уме».

Кроме того, во 2-ой части двухтомника наблюдается определённый перебор комментариев, где также допущено немало повторов. Есть также ошибки в библиографическом оформлении ссылок и просто опечатки и другие мелкие небрежности.

В целом же, повторим, немногочисленные, к сожалению, читатели (издание вышло тиражом всего 300 экземпляров, как это сейчас, увы, принято) получат исключительно ценное и важное издание. Вологодские филологи, библиографы, издатели и добровольные помощники проекта «Неизвестный Гроссман», осуществлённого в рамках гранта «Президентского фонда культурных инициатив», выполнили свой долг перед памятью человека, который четверть века жил и работал в их городе. Издание должно заинтересовать не только искушённых специалистов, но и просто культурных читателей, интересующихся историей русской литературы и русского искусства в трагическом XX веке и, конечно же, пушкинистикой. Поэтому оно никак не должно пройти незамеченным. История отечественного литературоведения – это довольно молодая область филологии, и, хотя и в ней было уже достаточно интересных прецедентов, издание, посвящённое В.А. Гроссману, – несомненно ценный и весомый вклад в эту сферу.

НА КРУГИ СВОЯ

(Григор Апоян, Плоть и кровь. – М., «Серебряные нити», 2022. – 163 с.)

Книга, которую мы держим сейчас в руках, не совсем обычная, хотя не исключено, что она может кому-то показаться и достаточно традиционной по тому направлению, которое творчески «исповедует» её автор Григор Апоян.

В самом деле, что, спрашивается, нового можно придумать и изобразить на тему плотских отношений мужчины и женщины – ведь эта проблема стара как мир. Тем не менее, по-видимому, достаточно опытный автор находит какие-то свои, неизбитые, свежие интонации и обертоны и в этой донельзя заезженной теме. Что несомненно, нужно иметь много таланта и вкуса, чтобы изобрести здесь что-то новое, показать какой-то иной угол зрения. Надо признать, автору удалось выстроить сюжет, хоть и не без некоторых изъянов, но достаточно увлекательный, читабельный, быть может, могущий задеть читателя за живое.

Нельзя не согласиться с автором предисловия Станиславом Айдиняном, что эта повесть написана в достаточно традиционном русле современной реалистической прозы, в ней мы видим напряжённый и даже, можно сказать, изощрённый психологический анализ, но наряду с этим есть в этом произведении и элементы (быть может, и не столь выраженные) художественной условности, а главное, повышенной экспрессивности, которую диктует в свою очередь та чрезвычайно высокая эмоциональная струна, на которой написана эта вещь – иногда появляется ощущение, что она вот-вот может оборваться.

Главным героем этого повествования, по выражению Леонида Андреева из его нашумевшего в своё время рассказа «Тьма» (1907), становится человеческая «бунтующая плоть», которая требует своего, невзирая на все морально-этические и другие запреты, в наибольшей мере принятые у восточных народов, в частности, у армян, которые в данном случае находятся в центре внимания автора и являются главными

героями произведения. Эти герои своего добиваются, хотя и проходят на выпавшем им пути сквозь несбывшиеся надежды, отчаяние, трагедии и все прочие известные атрибуты человеческой жизни вообще.

На этом пути им встречается масса всевозможных, часто непреодолимых и *трагических препятствий*, как то бывает сплошь и рядом в реальной жизни, что особенно остро ощущают тонко чувствующие люди.

Но, как хорошо всем известно, без всех этих препятствий стала бы невозможной никакая живая жизнь. Тут именно и проявлено то, что является неугасимым и неиссякаемым источником жизни, её радостей, но и трагедий.

Живую жизнь и показывает автор на примере судеб своих героев, вначале несчастного инвалида и «обрубка» Картула, которому любовь однако придаёт силы и смысл жизни, а затем и других – и мужчин, и женщин, которые оказываются втянуты в безудержный, бешеный, испепеляющий круговорот страстей, превращающий, по верному наблюдению Ст. Айдиняна, сюжет повести вначале из спокойно-эпического в предельно центростремительный.

География повести не широка – действие происходит в основном в Армении, а затем в Америке, куда попадают герои. Но этого оказывается вполне достаточно, чтобы выразительно и художественно убедительно показать судьбы героев, значение плотской страсти в их жизни.

И автор совершенно прав, утверждая, что некоторые люди проживают жизнь, так и не познав настоящей любви. Поэтому подлинная любовь с большой буквы, как в свою очередь верно отмечает автор предисловия, искупает грешные, «низовые» страсти героев, которые показаны Г. Апояном предельно реалистично, можно сказать, даже безжалостно. И вслед за автором погружаясь всё глубже и глубже в водоворот жизни и любви героев повести, невольно вспоминаешь, что в подобного рода коллизиях нередко понятия «любовь и смерть» становятся как бы равноправными и равнозначными. Вспомним, к примеру, заглавие известного романа Ги де Мопассана «Fort comme la mort» («Сильна, как смерть»). Или, допустим, коллизию повести Л.Н. Толстого «Дьявол», в которой «плотская похоть» ведёт человека к преступлению и гибели…

В повести же Г. Апояна у его армянских героев всё происходит по-другому. Поэтому нам представляется верным вывод Ст. Айдиняна о том, что истинно главным героем повести становится сама жизнь в её «простом, человечески страстном течении», что, с нашей точки зрения, особенно ярко заявляет о себе в истории интимных отношений молодого человека Мики и женщины далеко «забальзаковского» возраста, сорокалетней Карины, что в определённой мере напоминает сюжетную коллизию знаменитого романа Сомерсета Моэма «Театр», а также многие другие литературные прецеденты. Но если у Моэма показаны европейцы, то здесь, как замечает Ст. Айдинян, «характеры героев исконно армянские», исконно восточные.

Повесть «Плоть и кровь» читается с очень напряжённым неослабевающим интересом – и самое главное, на наш взгляд, что автору всегда и везде удается удержаться в рамках благопристойности в изображении эротических, сексуальных сцен – эротика нигде и ни в коей степени не становится вульгарной порнографией. Это предоставляется нам очень важным моментом и несомненной творческой удачей автора. Однако в повести Г. Апояна, по нашему мнению, есть и определённые идейно-художественные просчёты – некоторые герои, говоря словами А.С. Пушкина, «начертаны неясно» (так Пушкин в письме к Вяземскому сказал по поводу образа Софьи в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума») и не вполне поэтому завершены. Кроме того, некоторые главы повести явно не очень связаны между собой и поэтому также возникает ощущение некоторой неясности. Кроме того, ещё наблюдается обилие отвлечённых рассуждений, характерных для философских изысканий автора, известных нам по другой его книге, «Благовест от тебя. Твои вопросы, твои ответы».

Отмечаются и некоторые стилистические и языковые погрешности – так, например, автор часто употребляет довольно безвкусное словечко «волнительно», принятое в былые времена преимущественно в актёрской среде, в то время, как следовало бы сказать «волнующе» и др. Но всё-таки это несущественные мелочи по сравнению с тем, что повесть Г. Апояна в целом вполне состоялась как художественное произведение и, несомненно, способна вызвать живой читательский отклик. Тем более, что «бунтующая плоть и кровь» показаны здесь не в обнажённом, а достаточно одухотворённом виде и неразрывно связаны с душевной жизнью, психологическими переживаниями героев, особенно женских персонажей, поэтому всё это, хоть и трудно, а подчас трагически, всё же приходит к некоторой гармонии. Мы уверены, что книга «Плоть и кровь» может и должна заслужить читательский интерес и спрос.

«ШКАФ»

МАРИНА ЧИРКОВА

ЕДИНСТВО ВОСПРИЯТИЯ И ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ В ПОЭЗИИ ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

(Елена Севрюгина, Раздетый свет. – М.: Синяя гора, 2023. – 68 с.)

Привет, книга! Какая ты новенькая!

А давай с тобой, книга, погадаем на поэзию? Потому что всё преходяще, а поэзия вечна. Погадаем на жизнь, потому что жизнь хоть и не вечна, но живётся так, как будто была всегда и перманентно «всё ещё будет».

Доверимся автору и посмотрим, на какие вечные вопросы придёт ответ.

Ведь почему и для чего мы читаем? Возможно, наше читательское любопытство состоит наполовину из желания открывать миры, путешествовать в прошлое и обратно, а наполовину – уже из области предчувствий и стремления оберегать будущее…

Книга Елены Севрюгиной «Раздетый свет» производит сильное впечатление и интригует с первого же стихотворения:

нас извлекут из пустоты,
не сразу всех – поочерёдно,
и вспыхнут грустные цветы
на коже памяти подводной,
и вспомнит вечная вода,
вращая времени спирали,
о том, чем были мы тогда,
когда ещё не умирали

когда в бесплотной высоте
мы были лепетом и летом
и, не имея глаз и тел,
срастались голосом и светом,
когда, оставшись за дверьми
не нами созданного рая,
внезапно сделались людьми,
себе судьбу не выбирая

Нас извлекут из пустоты – это рождение или смерть и посмертная переоценка потомками? Финал не поясняет, нет, но даёт примечательный синтез, ощущение одновременности того и другого. Если вдуматься – очень верное чувство: родился – значит, смертен, живёт – значит, уже умер где-то в далёком будущем, умер – значит, рождался и жил.

Читая далее, понимаешь: всё совершенно не случайно, и этот синтез – не разовая прихоть автора, но концепт, мировосприятие и, не побоюсь этого слова, парадигма. Новаторская, как мне представляется, парадигма. Пожалуй, если выделять основной посыл книги, достигший меня как читателя, он и заключается в этом новаторстве.

Для стихов, собранных в «Раздетый свет», универсально отсутствие традиционной для лирики дихотомии – чёткой границы между собственным «я» лирического героя и «другими», окружающими его. Авторская подача Елены представляет собой неразрывное единство восприятия и воспринимаемого, целостность без деления на объект и субъект. Герой и мир вокруг него срастаются в одно, в организм сиамских близнецов. И, что важно, внутренний конфликт при этом не только не исчезает, но напротив, предельно обостряется. Несогласие со взбесившейся реальностью, где внезапно не осталось места разуму и состраданию, где реки радиоактивны и жестокость заразительна, не угасает, но наоборот достигает максимальной интенсивности.

на приводе на привязи у припяти
стоим и ждём до срока нас не выпейте
нам так милы ромашки маки лютики
но мы не знаем люди-мы / не-люди-мы

небесные морские земноводные
но кажется счастливые свободные
идём себе от пристани до пристани
а припять в нас всё явственней и пристальней

Такова уж сила эмпатии, сиамские близнецы объединены судьбой, но это взаимопроникновение не приносит спокойствия. Неприятие зла, сгустившегося в мире, не даёт автору безмятежно быть в настоящем, но побуждает заглядывать в будущее. И это несогласие столь велико, что даже когда лиргерой уже почти принял самый неизбежный из исходов, даже когда он (без вины виновато, что называется) почувствовал мировое зло как часть своей человеческой натуры, в нём нет смирения, он знает, что свет и добро в конечном итоге непобедимы. Даже если сам не застанет их возвращения в искажённый, скомканный мир начала XXI века, свет всё равно придёт и, возможно, тогда настоящее станет стоящим. И эта сила неусмирённой души убеждает в её правоте.

а пока за чертой самой призрачной из якутий
неболи голова причитает болиголов
открывается глаз анютин
шелестит трава рождённая из огня
стебли-пальцы вонзая в тело
где-то там на совсем другой стороне меня
всё случится как я хотела

И это превосходный ответ на вечный вопрос, легко ли сказать новое старому (пресыщенному/вредному) читателю? Легко ли сказать новое вообще на бог знает каком веку существования поэзии? Новое неисчерпаемо. То, что ново и цветно для самого автора, не боящегося потрепать/поранить собственную душу, то ново, свежо и захватывающее для читателя.

Думаю, этот новаторский подход, эта цельность восприятия и неизживаемость внутреннего конфликта – главное в книге Елены. Но, разумеется, не единственная её сильная сторона.

Елена Севрюгина – мощный лирический поэт, внимательный к деталям и богатый россыпями их. Лирическая героиня Елены – весьма яркая личность, она чувствительный и деятельный собеседник своего читателя.

на иных непохожи но кажется чем-то жива
корневая основа сверставшая годы в слова
опустившая веки веков в золотые порталы
ворожбой краснотала
полынной латынью сильны
голоса прирастают смешеньем вины и войны
серебрится сократовым смехом
безымянное эхо
в этой точке любой из ушедших
как прежде живой

Тут мне долго смотрелось, как Шиве, тысячью внезапно выросших глаз. Настолько ярким было именно зрительное впечатление, где все краски как будто против солнца, на просвет. И проступающие сквозь музыку цвета совсем иные темы… Знакомо и знаково это обморочное состояние провала в читаемую книгу, когда ты уже и здесь и не здесь. И отрешённое «возвращение», и внезапное тревожное прозрение. Когда современность вдруг подбросит такое, что вздрагиваешь и понимаешь, как хрупка жизнь. А мы – что мы делаем? Проживаем дни если и не беспечно, то наугад… И это превосходный ответ на вечный вопрос, что такое литература и зачем она вообще.

Отличительная примета автора – выраженный собственный голос, неповторимый и узнаваемый. Такая же важная примета, как и прозрачный, ясный слог, которым написана книга.

Мне кажется, *раздетый свет* – это не трепетная свеча, но устремлённый вперёд прожектор, и одновременно калейдоскоп и витраж, разноцветье, разбиение луча на составляющие и обратный синтез белого.

Этим и привлекает поэзия Елены: честностью чувств, достоверностью быта и бытия:

и в какой-то момент
реальность начинает казаться вымыслом
и наоборот
просто все работники фитнес-клуба
это скромные люди
стыдящиеся своих идеальных тел
боящиеся своих неидеальных душ
ты и сам как будто меняешься
становишься улучшенной версией самого себя
и уже наплевать что тот
кто внушил тебе необходимость
ежедневного посещения клуба
сам не очень верит
что всё закончится красивой сказкой
со счастливым концом
ведь известно каждому
реклама это двигатель
очевидно неизбежного
надо же кому-то верить в мечту

И ярким солнечным колоритом! Лиргероиня знает кое-что тайное и о лукавой женственности, и о стеклянной призме искушённости в глазу, и о восприимчивости души, и кое-что о любви…

выбегаю в жизнь, почти одетта,
вот уже сквозь веки поплыла
трясогузка солнечного света,
стрекоза сезонного тепла

Воздушный язык, объёмный и лёгкий. Антураж красоты и одновременно неисчерпаемая человеческая теплота. Остановленное прекрасное мгновение, размах от скрипучей вечности до цветного-вспыхивающего «здесь» и «сейчас». Это Еленин мир такой, быстрый, сильный и разнообразный. Щедрый, увлекающий из осени обратно в лето, в свет и цвет, дух и запах, в сочное и густое «виноградное мясо» стихов:

эти ласковые фрески
счастье призрачно но близко
если ты умеешь видеть
света хрупкие холсты
на забытом арамейском
на неведомом эльфийском
расскажи что миром правит
безупречность простоты

И это превосходный ответ на вечный вопрос: что такое поэзия и зачем она именно такая, какая есть.

Зачем мы пишем вот так музыкально-красиво? Пожалуй, говорим стихами, когда силы обычных слов недостаточно. Одевшись в ритм, слово уже не речь, это – заклинание, сила, властно передающая эмоции. Что знаю я о бабушке в торговом центре?

на втором этаже
местного торгового центра
бабушка-кореянка
вяжет внуку белые русские варежки
рядышком палки для шведской ходьбы
милота да и только

Как получается, что – всё знаю, всё нужное, чтобы считать эту историю чуточку своей, уже небезразличной? Эмпатия в чистом виде, – почувствуй, как. Отмечу ещё мастерский штрих автора, добавляющей стиху объёма – переход от скандинавской ходьбы к скандинавской же мифологии, к обобщению через неё, в присутствии которого картинка совершает мгновенный кинематографический «отъезд» кадра, сюжет мгновенно и бесповоротно расширяется, частности ностальгически рассыпаются сквозь пальцы, и многое ясно о судьбе… и – парадоксально – о счастье.

если настроить зрение
к миру лежащему в сфере неочевидного
можно увидеть лестницу
ведущую прямо к асгарду
к исполинскому ясеню
к дереву игдрассиль чьи могучие корни
соединяют небо землю и преисподнюю
сохраняют хрупкое равновесие
пока звон спиц в морщинистых пальцах
перекрывает набат самых громких колоколов

Отдельно хочется отметить приятное чувство юмора автора – уютное, бархатное. Мягкое.

сумерки слепого заоконья,
дни меланхолически-пусты,
пасхой, доходящей на балконе,
причастились грешные коты

А вот ещё:

на реке спросил у грека грек
век ли прорастает в человеке
или человек врастает в век
кто кому опора корни крона
где причинно-следственная связь
удивлённо каркнула ворона
кое-как на ёлку взгромоздясь

Это из детства сделано. Только вспомнить – и сразу поплывут, как отражение сквозь отраженье, полупрозрачные лепестки былого и дум… И засветится сердце, улыбнётся и подобреет лишний раз к тем, кто рядом.

И это превосходный ответ на вечный вопрос, откуда мы приходим в литературу, какие мы до неё и зачем мы.

Мы были настроены на эти чувства тогда, в детстве, и не забывать бы теперь.

Щедрый язык Елены Севрюгиной довольно-таки быстро разбаловывает читающих. Но всё-таки каждый раз автору удаётся удивить. Вот и здесь – подкупило слово «потрепаться», неочевидная такая аллюзия. И сразу, конечно, возвращение чуда:

но стоит только сыну улыбнуться
и ветру потрепаться с занавеской
и даже просто доброму случиться
на улицах недобрых и пустых –
во мне опять звенит моя кремона
которая совсем не исчезала
и песня о которой позабыла
рождается в заветной немоте

Хорошая, осязательная звукопись, сочный словарь и красивая ритмика – чувство движения, прорастания живого из текста. И превосходный ответ на вечный вопрос, велика ли сила уязвимых и нежность играющих. И превосходный ответ на вечный вопрос, что же всё-таки ЕЩЁ нам нужно – не то от поэзии, не то от судьбы…

В общем, если и говорить стихами, то для того, чтобы сказать невозможное в прозе. Размашисто, музыкально, ностальгически. Влажными, свежими крупными планами, а может быть, вышиванием оберега… Чтобы плакалось и улыбалось и одновременно. И Елене Севрюгиной в её новой книге «Раздетый свет» это полностью удалось.